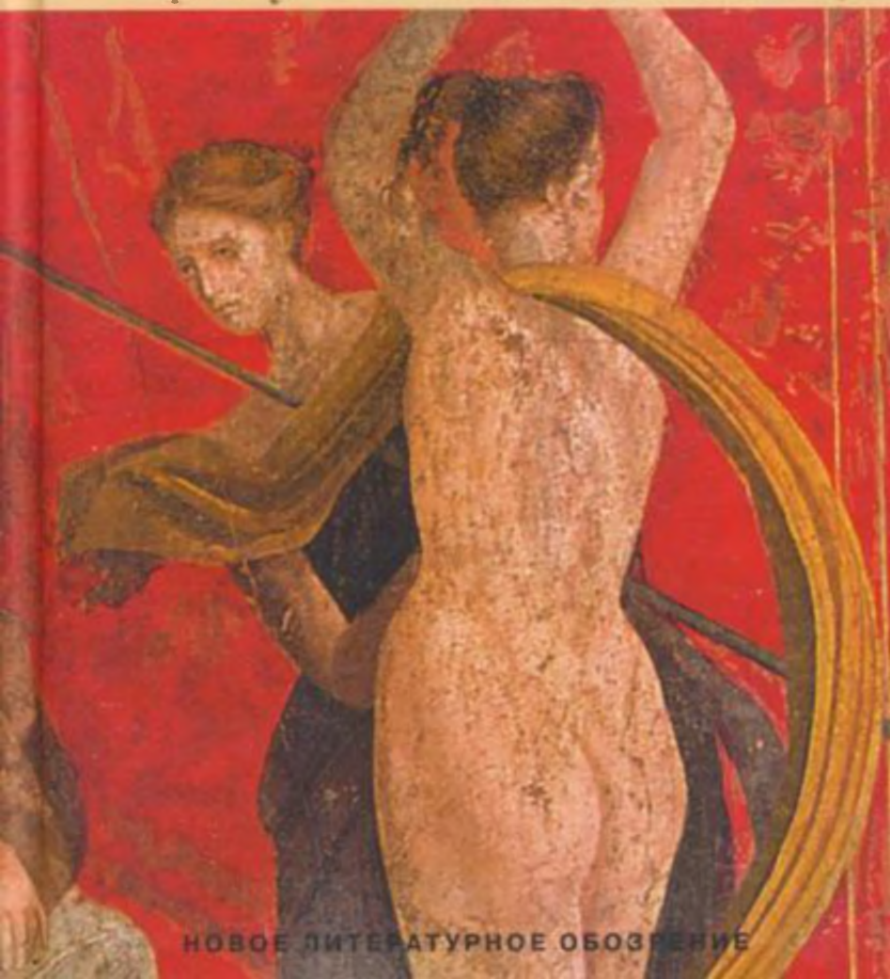
КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Робер Жан-Ноэль

РОЖДЕНИЕ РОСКОШИ

Древний Рим в погоне за модой



НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Jean-Noël Robert

Les Modes à Rome

Жан-Ноэль Робер

Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой

Новое Литературное Обозрение

УДК 94(37):7
ББК 63.3(0)323-7
Р 58

Робер Жан-Ноэль

Р 58 **Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой / Пер. с франц.** — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 400 с., ил.

Древнеримская цивилизация предстает в книге в неожиданном ракурсе. Рассказ полон подробностей, которые не встречаются в учебниках или энциклопедиях. Живость изложения не лишает книгу серьезности. Мода не сводится только к одежде. Автор весьма убедительно показывает, какое подчас неожиданно большое влияние мода оказала на древнеримские архитектуру, игры, литературу, экономику и даже религию.

Книга удачно сочетает в себе занимательность и научность, а потому адресована самому широкому кругу читателей.

УДК 94(37):7
ББК 63.3(0)323-7

ISBN 5-86793-284-2

Les Modes à Rome © Les Belles Lettres, 1988
© Новое литературное обозрение, 2004

Над модой хотели посмеяться,
Но с ней не пошутишь.
Даже человеческий разум,
Исполненный духом высокомерия,
Прежде всего повязывает галстук.

Ален

ВВЕДЕНИЕ

Супруга консула была уверена, что званый ужин обернется катастрофой. Краска гнева проступала сквозь толстый и уже смазанный слой румян на лице сидящей у зеркала аристократки. В мстительном порыве она хотела уколоть длинной шпилькой руки служанки, которая не могла совладать с ее чересчур непослушными кудрями. Вскрикивания и невольные жесты супруги консула не упрощали задачу трепещущей от страха рабыни. Туалетная комната превратилась в театральную сцену, на которой разыгрывалось пышно поставленное и продолжающееся уже несколько часов представление, его внутреннее напряжение не ослабевало ни на миг. Хореография спектакля была неплохо поставлена домоправительницей, поочередно выпускавшей на сцену всех рабынь – специалисток в той или иной области науки о нарядах. Но сегодня все шло не так. Полученная из красной селитры киноварь была слишком яркой и слишком выделялась на фоне белой мази, приготовленной на основе экскрементов крокодила. К тому же галльское мыло для обесцвечивания волос (смесь золы бука и крокодильего жира) было, по-видимому, некачественным: ужасный черный отблеск от него грозил оставить пятна на сияющих волосах супруги консула. Стоит добавить, что, как и все ее соотечественницы, она была

брюнеткой. Но мода словно назло требовала превращения в ослепительную блондинку, а супруга консула боялась насмешек! Какая жестокость!

Наконец, наведя красоту, супруга Аппия Клавдия не обрела спокойствия. Она продолжала гневаться: богатый купец обещал ей первой привезти с Востока моток необычайно тонкой ткани. Откуда именно? Она не знала, но знала наверняка, что хотела показать себя во всем блеске во время роскошного званого вечера, утереть нос всем дамам-аристократкам, которые пытаются перещеголять друг друга, облекаясь каждый раз в новую невероятную тунику. Она могла бы первой прошествовать в наряде из восточной газовой ткани среди зеленых от зависти соперниц из высшего света, каждая из которых потом закажет себе такую же, дабы не остаться с носом. Но этот мошенник еще не прибыл в Италию! Судя по всему, супруге консула придется надеть что-нибудь менее необыкновенное. И она выбрала расшитую золотой нитью пурпурную (самый модный цвет в то время) тунику. Платье это было равно по стоимости небольшому состоянию, но она уже как-то надевала его, и ее подруги обязательно будут смеяться над ней.

В перистиле виллы атмосфера была не менее напряженной. Консул нервничал, ходил взад-вперед и думал о предстоящем пиршестве: управляющий только что принес ему новости о ходе подготовки, и новости эти были неутешительными. Самосских павлинов не привезли, груз попал в руки пиратов. Устрицы из озера Лукрин испортились. На этот раз была жаркая погода. Аппий знал как никто другой, что именно роскошным застольем, редкостью и дальним происхождением яств люди утверждали себя в качестве лидеров правящего класса, а съедобная живность из соседнего подворья не отвечала требованиям моды. Даже улитки ввозились из Африки! Консул попытался утешить себя мыслями о развлечениях, которые он распорядился приготовить для гостей. Сладострастные телодвижения самых

лучших римских танцовщиц должны были пробудить в высоких гостях не только охоту к вкусовым изыскам. Также консулу пообещали пригласить одного поэта-вольнодумца, приятеля некоего Катулла, безрассудная смелость которого ввела в моду игривую и беспутную поэтическую форму в духе александрийских поэтов. О, Александрия! Как же, наверное, сладка была там жизнь! Аппий гордился еще одним сюрпризом, который он приготовил гостям, — юным рабом родом как раз из Александрии, красота которого могла сравниться разве что с живостью его ума. Консул был уверен, что красавец-юноша способен дать ответ тем высшим должностным лицам государства, кто осмелится запустить руку под его тунику. Подобное умение не лезть за словом в карман всегда отличало сынов Александрии. Да к тому же этот раб и стоил прилично! Не каждый мог позволить себе такую покупку.

Эта мысль заставила Аппия улыбнуться. Главенствовать, всегда главенствовать, быть первым и быть примером для подражания! Какое чувство собственного величия! Ну, хватит мечтать! Нужно еще распорядиться, чтобы домашняя серебряная утварь была выставлена на всеобщее обозрение. Нужно самому проверить чисто ли в саду, выставлены ли напоказ недавно приобретенные предметы искусства. Да!.. Консула также захватило сладкое увлечение: он собирал шедевры, втридорога доставшиеся римским богачам, которых очень волновало, все ли предметы искусства греческих и италийских краев перевезены под сень имений патрициев, новых завоевателей Средиземноморья...

Вы скажете, что эти портреты мужчин и женщин, которые, желая соответствовать уровню, следуют общей моде или, скорее, изобретают новую — карикатуры?

Это не так легко доказать. Посмотрите на Хрисогона, которого нам описал Цицерон: он выходит из своей виллы, расположенной в лучшем районе Рима на Палатинском

холме, и твердым шагом спускается к Форуму. Посмотрите, «как он, с прекрасно уложенной и благоухающей духами прической, прогуливается из стороны в сторону по Форуму, окруженный толпой клиентов, одетых в тоги горожан. Посмотрите, как презрительно он смотрит на всех вокруг, – он же не выносит сравнения с кем-либо, ощущает себя на гребне славы и на вершине счастья». «Для личного удовольствия он располагает загородным дворцом в окрестностях Рима», не считая прочих многочисленных и великолепных имений. «Его дом переполнен коринфскими и делосскими вазами», а среди них есть и самонагреватель воды (наподобие нашего электрочайника), столь дорогой, что свидетели сделки подумали, что тот торговался «о цене земных недр». И не упоминает ли все тот же Цицерон «о несметном количестве чеканного серебра, ковров, картин, изделий из мрамора...[1]».

Без сомнения, Хрисогон – «высший судья моды». Он испытывает очевидное удовольствие от самовыставления напоказ, оттого, что привлекает внимание своих соплеменников. Он хочет быть замеченным, хочет и ослеплять, и обольщать. Чтобы добиваться этого, чтобы ошеломлять, необходимо всегда придумывать что-то новенькое. Он заставляет других считать себя выше остальных. У него вид могущественного человека, и этим он обязан деньгам и моде. Деньги служат его престижу, помогают подчеркнуть его положение в обществе и социальное превосходство. Но деньги сами по себе ничего не решают. Если уж они призваны возвысить его над остальными, их нужно вложить в излишество, необходимое для его социальной представительности обрамление – другими словами, в моду.

Мода долгое время казалась ничтожным, поверхностным и недостойным предметом изучения для настоящего историка. По мнению философов, мода столь незначительна, сколь и вездесуща, и это самое большее, на что она

могла рассчитывать. Мода удостаивалась лишь их презрения, философы обвиняли ее в сокрытии личности, в уязвлении самолюбия в игре сущего и кажущегося, когда она заставляет считать, что избыток «казаться» восполняет недостаток «быть». Короче говоря, моде благодарны за умение приукрасить реальность, но при условии, что у нее хватает вкуса заставить нас забыть о ее ухищрениях.

В наши дни, напротив, историки и социологи готовы видеть в моде гораздо более серьезный предмет изучения, может быть, слишком серьезный. Они ее изучают, хотят свести к предустановленным положениям или, еще того лучше, установить дату ее возникновения. Но не означают ли эти попытки, что ученые забывают, что мода очень тесно соприкасается с человеческой природой, а потому невозможно, чтобы она во всем своем многообразии и естественности могла быть заключена в рамки какой-либо системы.

Мода постоянно меняется, и ее проявления часто парадоксальны. Она вездесуща и вторгается в самые разные сферы жизни. Мода занимает даже почетное место в жизни цивилизации, если она является продуктом общества и служит его развитию. К жизненно важным и первостепенным нуждам, с рождения испытываемым человеком, культура каждого народа добавляет прочие нужды, которые являются следствием данных условий существования и присущи этой культуре. Задача человека – приспособиться к нововведениям в рамках одной вечной эволюции. Отсюда проистекает конфликт и разделение надвое одной социальной группы: на консерваторов и сторонников прогресса. Мода всегда современна, ее ориентированность на молодежь, прогрессивность и требовательность к обновлению выступают своеобразным оправдательным документом этой эволюции. Мода также мотор экономики: создает у человека новые потребности, поощряет торговлю,

увеличивает спрос и, следовательно, способствует росту производства.

В то же время мода представляет собой нечто более значительное, нежели одну из опор экономического развития общества. С точки зрения психологии, мода — это проявление индивидуальности одних по отношению к остальной части общества, что наглядно показано на примере Хрисогона. Она утоляет жажду власти человека, согласного играть роль и противопоставлять себя другим. И в этом феномене кроется еще самый малый из парадоксов моды. Главный состоит в необходимости того, чтобы некоторое число индивидов стремилось следовать модели для подражания, предложенной несколькими смельчаками. Мода ведет к социальной игре в имитацию, у которой находится множество причин. Следящие за модой люди стремятся и к самоопределению, и к определению своего положения в обществе. Люди эти хотят доказать самим себе, что не отстали от прогрессивных течений. Покупка обновки, ультрамодной вещицы позволяет им изображать себя именно теми, кем они себя воображают или хотят быть. По отношению к остальным мода служит оружием обольщения. Постоянно изменяя «look», внешний вид, люди выставляют напоказ молодость и, по меньшей мере, приверженность новаторству, желание добиться признания собственного положения хотя бы внешне. Они стремятся заставить слушать себя или хотя бы изображать послушание. Открещиваясь от общепринятых норм, люди начинают играть роль лидеров, на которых направлены взоры остальных.

В подобных условиях мода не может не просачиваться и в сферу политики, где противоборствующие стороны зачастую выбирают аргументы искусственные, но признаваемые обеими сторонами конфликта. Некоторые историки высказывали мнение, что античный мир не знал подобных эфемерных прелестей, которые вовлекают людей в безостановочную гонку за обновлением и чрезмерной рос-

кошью. Но утверждать такое — значит отрицать существование самого Рима, поглощавшего все приобретенные завоеваниями богатства. Почтение к обычаям предков не стало лекарством от лихорадочного стремления к обновлению, от желания блистать, от забот о собственном соответствии времени, например, в период Римской республики и особенно Римской империи, когда гражданин пытался восполнить потерю действительного политического веса игрой в социальные условности.

В Риме, как и везде, мода заключает в себе самоубийственное начало: доказательством ее успеха служит ее общепринятость, которая, в свою очередь, ведет к утрате модой собственной неповторимости. Это постоянная «игра на повышение». Лишенный оригинальности, объект моды тает, и те, кто его создал, должны лепить новый, согласно новым запросам, новому желанию сохранить более или менее явную видимость власти. Мода осуждена на постоянное обновление и потому авторитарными методами приводит к новым тратам. Идти не в ногу с модой означает приговорить себя к осмеянию и потере общественного положения. Но ее неослабевающая требовательность порождает разврат, способствует процветанию коррупции и ведет к духовному упадку целого народа. В свое время Катон и Саллюстий видели в моде лишь этот путь. Однако даже они, самые ожесточенные хулители моды, не могут поставить себя вне этого явления. И именно в данном примере заключена еще одна правда: мода не искусственна, а неизбежна и неустранима. Она является катализатором присущей человеку «эпидемии подражания», которая отражает эволюционную динамику развития общества, затрагивает все сферы не только повседневной жизни, но и тех областей человеческой деятельности, где проявление моды не столь ожидаемо: политику, экономику, литературу, искусство...

Можно ли избежать соблазна свести значение моды к субъективной оценке, условностям узкого определения, занимаясь поиском ее точек соприкосновения с различными типами общества, в том числе и античного? Рассматривая все аспекты моды изучаемого общества, необходимо не упускать из виду особенности каждой цивилизации, каждого временного отрезка. В наши дни, когда изменилось соотношение между классами общества и процессом индустриализации, мода наделена иными, нежели в античности, функциями. Сейчас мир оказался в роли жертвы моды. В Древнем Риме мода затрагивала интересы только наиболее обеспеченных людей. Высокий уровень жизни и затрат исключал бедняков и, естественно, рабов из жизни в следовании моде. В этом заключается важное отличие по сравнению с сегодняшним днем. К примеру, в античности невозможно допустить ситуацию, когда народные массы становятся зачинателями определенной моды для всего общества, что произошло в современном мире с потомком ковбойской заокеанской одежды — с джинсами. В короткие сроки эти рабочие штаны стали символом свободы, равенства и были утверждены привилегированными слоями в качестве торговой марки целой эпохи. Для современных экономических систем весьма характерно такое продвижение снизу вверх. Но в Древнем Риме не было общедоступной моды, и право на следование ей оставалось за избранными; они подчеркивали свою принадлежность к правящим кругам, пользуясь модой в качестве привилегии.

Итак, мода в Древнем Риме была роскошью. Но это нисколько не мешало ей, как и сегодня, проникать в самые разнообразные, не близкие ей, на первый взгляд, сферы жизни. У римлян не было точного термина для определения моды. Чаще других использовались термины «*ritus*» или «*mos*» (нередко в сопровождении прилагательного «новый»), которые обозначали манеру вести себя в обществе, предписанную не законом, а особым обычаем. Теми же сло-

вами можно обозначить и обычай, и традицию. Но их новоприобретенное значение вызвано еще и тем, что чрезмерного употребления этих слов становится достаточно для передачи вызванного модой состояния увлеченности. Таким образом, мы сможем проследить всевозможные проявления моды, рассмотрев различные модели поведения жителей города в повседневной (за стенами их имений, в домашней обстановке, в манере одеваться, принимать пищу или же развлекаться), общественной, духовной, культурной жизни. В то же время, какой бы беззаботной ни была жизнь римских граждан, простого описания моды и ее экстравагантных проявлений будет недостаточно для осмысления роли моды в разрастании небольшого городка Лациума до необъятных размеров Империи. Интересно проанализировать, благодаря каким экономическим факторам возникла мода в античном Риме, а еще интереснее — каким образом мода постепенно внедрилась в жизнь римлян. Иначе говоря, представляется любопытным перебрать детали общего социоисторического механизма, способствовавшие упадку Империи. Эта работа, конечно, не имела целью каталогизирование всех направлений моды Древнего Рима за двенадцать веков его существования. Это было бы скучно и бесполезно. Предпочтение было отдано некоторым временным отрезкам, нагляднее всего иллюстрирующим рассматриваемые проблемы, как то причины зарождения и процветания моды в Риме. Вот почему именно период Римской республики вызывает особый интерес. И, может быть, столь незначительная на первый взгляд тема покажется заслуживающей большего внимания при попытке раскрыть загадки истории римского общества в целом.

Глава I

МОДА И ИСТОРИЯ

Уже было сказано, что мода рождается и развивается, поскольку некоторое число людей нуждается в самовыражении посредством обновления внешнего вида. В то же время мода появляется на свет только благодаря свойственному роду человеческому заразительному желанию подражать. С точки зрения исторического развития мода возникла одновременно с цивилизацией и способствовала ее эволюции. И, следовательно, стремление выявить все преломления моды бесполезно. Более содержательным будет вопрос о том, как исторически обусловлено возникновение моды. Наиболее наглядным примером для анализа ее зарождения служит эллинистический характер моды Древнего Рима во II веке до н.э.

II век до н.э. проходит для Рима как в духовной сфере, в сфере интеллектуальной деятельности, так и в быту под знаком греческой культуры. Мода на все греческое присутствует в таком избытке, что это наблюдение позволяет некоторым историкам говорить о культурной подчиненности Рима Греции, как если бы римская культура не обладала собственным творческим потенциалом. Но ко II веку до н.э. римляне уже перестали быть варварами и не случайно вновь, как будто впервые, столкнулись с цивилизацией Древней Греции. Так чем же было это увлечение и что послужило его причиной?

На самом деле в описываемое время в развитии Древнего Рима произошло некое подобие надлома. Представля-

ется справедливым утверждение, что население с берегов Тибра вело торговлю с Грецией еще до основания Рима. Меж зловонных болот пасли пастухи свои стада, облюбовавшие соседние с Капитолием холмы. В то время как юг Апеннинского полуострова изобиловал греческими поселениями, на севере, по другую сторону Тибра, этруски покидали свою территорию и колонизировали новые земли в Кампании. Все эти народы ведут торговлю, а на месте, где будет заложен Рим, археологи находят фрагменты ваз, относящихся к VII веку до н.э. Согласно письменным источникам[1], правдоподобным представляется утверждение, что греки также являлись частью неоднородного населения Рима в первые века его существования. Утверждение это основано на легенде о Эвандре, который, как пишет Вергилий, прибыл из Аркадии основать город на Палатинском холме[2].

В свою очередь, острая борьба за возможность управления Римом развернулась внутри племени этрусков, которое немало способствовало становлению города Ромула. Этруски осушили Форум, который был до того всего лишь большим болотом и прибежищем для комаров, и создали первый канализационный сток (*cloaca maxima*), преподав римлянам основы градостроительства. Племя этрусков представляло собой значительную часть городского населения. Этруски завязали всевозможные связи с греками, людьми с Востока, карфагенянами. Приезжавшие со всего восточного Средиземноморья деятели искусств, достигая Этрурии, открывали там школы, и можно говорить о расцвете в этих краях греческой моды. Можно также предположить, что вместе с национальными традициями и образом жизни они привнесли в местную жизнь и самые модные веяния из своих отечеств.

Уже со времен своего основания благодаря посредничеству этрусков или прямым связям с греческими выходца-

ми культура Рима стала неотделима от традиций эллинизма. Мало того, во времена угасания колонизаторского пыла греков Рим увидел в этих землях объект своих имперских притязаний и начал проводить союзническую и протекционистскую политику в отношении множества греческих поселений на юге современной Италии перед лицом угрозы со стороны осков и карфагенян[3].

В 272 году до н.э. римские войска входят в Тарант и завершают этой победой завоевание греческих земель на юге Италии. Контакты с эллинистической культурой стали носить более тесный характер. Рим становится городом-маяком полуострова. В духовной жизни наступила эпоха расцвета благодаря притоку людей с юга страны, где, по мнению некоторых историков, зародились основы римской литературы. Среди них Ливий Андроник, Невий и Энний, которые новой манерой письма выразят в литературе дух могущества Рима.

Но, несмотря на указанное греческое влияние, должно быть, еще не полностью изученное нашими современниками, все же еще нельзя говорить об увлечении Грецией и ее модой: властвующая в Риме эллинистическая культура не была обязана своим влиянием бурному и внезапному модному интересу. Эллинизм проникал в культуру Рима постепенно, по мере продвижения римских завоеваний, затрагивал все слои населения, становился частью повседневной жизни. Элементы эллинизма настолько проникли в сознание людей, что казались им частью национальной культуры, и никто не осуждал этого влияния. Рим еще не был многонациональным сплавом, в нем не было столько рабов – живых трофеев восточных кампаний. Проникающая всюду эллинистическая культура стала самостоятельной культурой Апеннинского полуострова.

Полвека спустя ситуация меняется. С начала II века до н.э. в Риме разгораются страсти вокруг культуры эллинизма. Одни так увлечены ею, что вновь изобретают моду на

эллинизм, которая поможет им подчеркнуть свою власть, демонстрировать собственное могущество и возможность менять что-либо по своему желанию. Другие принимают в штыки модную культуру, которая своей самодостаточностью может представлять угрозу целостности Рима. Что же произошло за это время?

Эллинизм начала II века до н.э. уже совсем не тот, что был описан выше и который способствовал увеличению числа греческих поселений на юге страны. Новый тип эллинизма был открыт римлянами непосредственно на греческой земле. В ту же эпоху анналы истории Рима пополнились одним знаменательным событием: при помощи оружия, надежного тыла и слонов Апеннины захватил Ганнибал. В повторной войне против Карфагена Риму был нанесен непоправимый ущерб: несмотря на то что римляне с трудом одолели войска противника, после мирного договора в Заме обратного пути к Риму прошлых лет уже не было. Это событие стало началом разделения римской и эллинистической культур. Прежде всего в 216 году до н.э. Ганнибал не встретил препятствий, когда после битвы при Каннах настроил против Рима достаточное число южных городов. В Риме посчитали себя обманутыми, верноподданническая связь между южными землями и столицей была расторгнута. Затем в 215 году до н.э. Ганнибал заручился поддержкой перешедшего на сторону карфагенян царя Македонии Филиппа V. В один миг эллинистический мир превратился в опасного врага, тем более что сближение Македонии и государства селевкидов было чревато коалицией, опасной для Рима. В это же время престиж всего греческого падал в глазах римлян. Аппетиты победоносных римских военачальников простирались отныне и за пределы римских территорий: ведь что является лучшим доказательством могущества Рима, как не неудачная попытка Ганнибала завоевать Италию? А если в Греции видели потенциального противника Рима, то отчего же не преподать

ей урок? Амбиции победителей при Заме заставили римлян по-иному взглянуть на греческий мир.

Началась война с Македонией. Необходимо отметить, что Рим побаивался имперских замашек Филиппа V, который атаковал союзника римлян, Пергамское царство. Конфликтующие с Филиппом Пергам и Родос договорились с Римом об оказании поддержки. Детали военных действий имеют второстепенное значение: Тит Квинт Фламиний, выбранный Сенатом в 198 году до н.э. по причине явной симпатии ко всему греческому, был тем человеком, имя которого осталось в истории благодаря описанному конфликту. Ему было лет тридцать, он был многообещающим и жизнелюбивым молодым человеком. Плутарх пишет, что честолюбие Фламиния соединялось с чувством собственного достоинства и справедливости. К тому же он прекрасно владел греческим языком и внушал грекам искреннее уважение. В планы Фламиния входило освобождение Греции от гнета Филиппа, что ему удалось сделать в 197 году до н.э., разбив противника при Киноцефалах. Через год, под радостные и благодарные возгласы толпы Фламиний выступил с речью на Истмийских играх и торжественно даровал Греции свободу. Но могла ли Греция сохранить независимость? Она представляла собой своеобразную мозаику из россыпи небольших поселений, которые были лакомым кусочком от яблока раздора между любыми враждующими сторонами. И римские солдаты снова должны сражаться: могущественный вождь селевкидов Антиох III высадился на побережье Греции по призыву одного из греческих племен. В 189 году до н.э. римское войско заставило его повернуть обратно и преследовало врага до Малой Азии, где разбило армию Антиоха при Магнесии. Впервые римляне оказались хозяевами положения на территории Азии, их очарованным взорам открылся неведомый мир.

Почти в это же время, в 179 году до н.э., умирает восстанавливавший силы и вынашивавший планы мести Фи-

липп V. Его сын Персей весь свой юношеский пыл направил на отвоевание потерянных земель. Целью его было воспользоваться недовольством оппозиции в греческих поселениях и найти себе там сторонников. В ответ на эту угрозу в 171 году до н.э. Сенат объявил о начале военной операции. После некоторых осложнений в 168 году до н.э. при Пидне римляне празднуют победу над армией Персея, поредевшей на две трети. Успешным военачальником оказался еще один, вслед за Фламинием, любитель Греции — Эмилий Павел. Он был образованным аристократом и ценителем прекрасного. После одержанной победы он отправился в настоящее паломничество из Дельф в Афины через Олинф, находившийся на полуострове Халкидики. Эмилий Павел был тронут красотой Акрополя и городских стен. Он посетил Коринф, Аргос, Эпидавр и Спарту. По свидетельству Тита Ливия, на священной горе Олимп он не мог скрыть восхищения перед Зевсом Фидия, как если бы само божество восседало перед ним[4]. Потерпев поражение при Пидне, Персей бежал из Македонии. Но его схватили и препроводили к Эмилию Павлу. Еще одним доказательством восхищения перед Грецией главнокомандующего армии победителей было хорошее обращение с пленным, потомком Александра Македонского. Эмилий Павел радушно принял его, разделил с ним трапезу и вел беседу на греческом. Он также проследил, чтобы с пленным обращались не слишком грубо, и взял на себя заботы о его семье[5]. Эти поступки напомнили многим о предшественнике Эмилия Павла, Фламинии-освободителе: тот также пленял греков знанием их языка и культуры, защищал их перед лицом Сената. Но когда дело доходило до этого органа власти, Эмилий Павел становился менее сговорчив. Он прежде всего четко выполнял вверенные ему обязанности. Решение по статусу Македонии он зачитывал на латыни, доверив переводчику чтение на греческом[6].

У Эмилия Павла был сын, которого, согласно распространенному в то время обычаю, взял в свой дом на воспитание сын Сципиона Африканского, прославленного победителя войск Ганнибала в решающем сражении при Задаре в 202 году до н.э., произошедшем после долгих лет ожесточенной Второй Пунической войны. Сын Эмилия Павла стал, таким образом, приемным внуком легендарного полководца и был наречен Сципионом Эмилианом. Этот молодой человек был связующим звеном между двумя знатнейшими и пропитанными эллинистической культурой семьями. Впоследствии он стал не только одним из самых видных политиков II века до н.э., но и зачинателем эллинистической моды в Риме. Именно ему Рим обязан окончательной победой над Карфагеном по итогам Третьей Пунической войны, результатом которой стала полная недееспособность армии противника. Спустя некоторое время, в 146 году до н.э. Карфаген будет разрушен, а земля, на которой он стоял, проклята.

Жизненный путь молодого поколения начала II века до н.э., его воспитание и обучение позволяют понять, почему, почти что против воли этого поколения, оно было настолько очаровано и пропитано греческой культурой, почему это поколение было проводником эллинистического мышления, образа жизни и моды. Впрочем, далее будет показано, что описанный процесс проходил со стороны политиков новой волны не бесконтрольно и полностью укладывался в рамки политической перспективы развития государства. Ведь для тех, кто заинтересован в появлении и развитии моды, она является действенным орудием власти.

Эллинистическая мода зародилась в особых условиях слома традиций италийского эллинизма, неразрывно связанных с римской культурой. Рим быстро научился не считаться с Грецией и в итоге завоевал ее. Для власть имущих Рима, для аристократии этот шаг был началом непрекра-

щающегося культурного обмена. Начиная рассказ о македонских войнах историк Полибий писал о постоянных посольских миссиях из Рима в Грецию и обратно. То восхищение перед мраморными храмами, статуями и живописью, что испытал Эмилий Павел, овладело и римскими послами. Греция привила им вкус к прекрасному. Они стали ходить в театры, знакомиться с другими гранями греческого искусства.

Спустя несколько десятков лет, вслед за триумфом в войне, наградой Риму стали произведения искусства. Во время триумфальных шествий всю добычу провозили перед очарованной публикой. А победы над греческими поселениями приносили удивительную добычу совсем иного рода, нежели войны с нарбоннскими галлами или сабинами. Например, в 272 году до н.э., после взятия Таранта, вместо унылого зрелища в виде «прогона» скота и нагруженных примитивным оружием телег зрители увидели «золото, пурпурные мантии, статуи, картины, все изыски, которыми был богат Тарант»[7]. То же великолепие царило при триумфе по случаю сдачи последнего этрусского города Вольсинии в 265 году до н.э. – две тысячи статуй провезли по Риму. После взятия Сиракуз в 212 году до н.э. Марцелл, желая ошеломить римских граждан во время своего триумфа, свез в Рим огромное количество предметов искусства[8]. По свидетельству Плутарха, если у римских завоевателей предыдущих поколений разграбление храмов и святых мест было не в почете, то «полководческая молодежь» была признательна грекам за облагораживание облика Рима с помощью греческих ценностей. Нетрудно представить триумф Фламиния в 194 году до н.э. – шествие продолжалось два дня: чеканные серебром вазы, предметы из бронзы сменялись статуями из бронзы и мрамора. Тит Ливий даже уточнил, что вес всех серебряных изделий составлял 270 000 ливров[9].

Во II веке до н.э. подобные сокровища служили не только для украшений храмов и публичных мест. Полководцы-триумфаторы приобрели привычку украшать ими свои частные поместья, сделав трофеи визитной карточкой престижа и власти. Военные достижения дали им право заказывать у греческих живописцев полотна с изображением своих побед, воздвигать собственные статуи, похожие на греческие образцы. Так, Фламиний отдал приказ поместить свое изображение на написанном по-гречески посвящении в книге, — точно так же, как он поступил с дарственными надписями на жертвенных подношениях в Дельфийском храме[10]. Искусство становится в Риме привилегией высшего класса. Новое понимание искусства порождает желание аристократической молодежи по-иному трактовать его сущность.

Новый тип образования четко обусловлен влиянием эллинистической культуры и не совпадает со старым, который отцы семейств давали *mos maiorum*, по обычаю предков. До середины III века до н.э. молодой римлянин воспитывался за стенами собственного дома или же у близкого друга отца, который, помимо основных предметов, преподавал юноше право и постепенно вводил его в сферу политики. И вот уже в 250 году до н.э. один аристократ поручил воспитание и обучение греку-рабу из Таранта. Раб этот отлично справился со своими обязанностями, поскольку в благодарность ему была дарована свобода. Впоследствии он стал знаменитым драматургом Ливием Андроником. Именно эта история явилась прообразом новой моды в образовании: аристократы стали брать рабов в наставление детям. Нужно отметить, что с завоеванием всей территории Греции в Рим попало множество рабов-греков, с той поры увеличивавших численность римского плебса. Миграция не могла не привести рано или поздно к изменению менталитета римлян. С конца III века до н.э. почти каждый

второй вольноотпущенник открыл свою школу, — так появилась система общественного образования. Даже если некоторые римские граждане еще не доверяли своих детей грекам, будучи не в силах мириться, что раб может стать учителем, то мода требовала выполнения новых предписаний. Новоявленные учителя прежде всего обучали чтению, грамоте и счету. Естественно, греческий язык входил в обязательную программу. И многие рабы-учителя вели занятия исключительно на своем родном языке, в особенности для детей аристократов, поскольку, как уже было сказано, люди, подобные Фламинию, Эмилию Павлу, Сципиону, прекрасно владели языком Платона. Представляется чрезвычайно интересным проследить, каким образом греческий язык проник в культурную жизнь Рима и какие социальные слои испытали его влияние. Нет сомнений, что римляне впервые услышали греческую речь гораздо раньше, если учесть их постоянные контакты с греческими торговцами и ремесленниками с первых дней существования Вечного города. Но не это основная причина того, что римляне говорили по-гречески. Возможно, решающим фактором были тесные связи Рима с греческими поселениями на юге Апеннинского полуострова. По легенде, в 292 году до н.э. Марк Кассиан Постумий был направлен с дипломатической миссией в Тарант, где хотел объясняться на греческом, но его корявая речь спровоцировала смех и издевки носителей языка[11]. И даже век спустя, в 155 году до н.э., посетившие Рим греческие философы наняли переводчика. Быть может, римские аристократы владели родным языком не в совершенстве. В то же время каждый посол Рима в Греции прекрасно владел греческим языком, так как македонский царь Персей жаловался на предполагаемую слежку со стороны Сената[12]. Греческий язык уже не был загадкой ни для Сципиона, ни для Эмилия Павла или Фламиния, который воспользовался знанием этого языка

для захвата Фив в 197 году до н.э. Плутарх писал, что император пешком вошел в город, ведя беседу с неким греком так, что даже носитель языка не увидел в римлянине чужеземца и врага! Подобных историй про римских политиков, прекрасно владеющих греческим языком во II веке до н.э., очень много. Например, Гракх Старший общался с родосцами на их родном языке, или консул, а затем проконсул Публий Лициний Красс в 131 году до н.э. вершил суд на греческом языке, используя в случае необходимости один из четырех диалектов. В знатных римских семьях первостепенное значение греческого языка было уже не в диковинку, учитывая новую роль рабов-учителей, с которыми дети учили греческий, еще не освоив латынь. Древо новой традиции пустило глубокие корни: Цицерон на греческом преподавал риторику своим детям[13], а позднее Квинтилиан оправдал его выбор языка[14]. В то же время низы общества вообще не говорили на чуждом им языке, за исключением рабов и вольноотпущенников греческого происхождения. Точнее, в народ вошло некоторое количество слов и выражений с греческой этимологией, которые усвоились благодаря контактам с рабами и торговцами и которые можно было встретить в произведениях Плавта. Греческий язык стал культурной разграничительной линией между классами и, следовательно, достоянием высшего общества. Причины потребности аристократии в скорейшем введении в моду греческого языка лежат на поверхности. Греческая письменность являлась отличительным признаком превосходства аристократии над плебсом, который в борьбе против засилья греческого языка отстаивал свои политические интересы. Но и это еще не все. Греческий язык надолго вошел в жизнь римской знати. В письмах доходило до взаимных уколов по поводу владения собеседником новым модным языком, даже многомудрые римлянки, забывшись, стремились быть физически похожими на гречанок. Ювенал жаловался, что, сверх того, «все тревоги, вспышки

гнева, радости, заботы, дела сердечные выходили наружу, облекаясь в греческую словесную форму. И любили теперь тоже на греческий манер»[15]. Великий сатирик готов простить это увлечение модой молодой девушке, но никак не восьмидесятишестилетней старухе!

С модой на греческий язык в систему обучения вошло и изучение греческой литературы. В конце III века до н.э. молодым аристократам открывалась новая культура мышления. Они стали отдавать себе отчет, что их отцы не знали или пренебрегали интеллектуальным богатством Греции. Рассказывая юным умам о лучших образцах греческой литературы, рабы-учителя пробуждали в учениках желание создать нечто подобное. Новые культурные и духовные возможности римлян, доступность красот Греции и знание ее языка сказались на настроении умов и на характере замыслов молодого поколения.

Представим, что представляли собой обучение и воспитание юного Сципиона Эмилиана. Покоритель Пидны Эмилий Павел конфисковал библиотеку царя Персея и подарил ее сыновьям. В один миг все сокровища греческой литературы оказались в руках томившихся в ожидании новых знаний римских аристократов. Там были и исторические хроники, и сочинения по философии, и поэзия. Сципион познакомился с творчеством Ксенофонта и, скорее всего, попал под влияние его идей. «Киропедия» и «Анабазис» подогревали пыл его юношеской впечатлительности, по-новому подпитываемой искренними и благородными чувствами героев. Как тут было не замечтаться при чтении произведений, заставлявших мечтать Александра Македонского, когда маленький Сципион (согласно принятой тогда системе усыновления) носил имя двух наиболее прославленных и овеянных героизмом семей.

Но обучение Сципиона касалось не только интеллектуальной сферы. Эмилий Павел пригласил сына объезжать охотничьи колесницы и охотиться на дичь из заповедни-

ков македонского царя. Необходимо уточнить, какое значение придавал охоте римлянин. До описываемого периода охота была лишь развлечением, или же ей занимались крестьяне, которые убивали вредивших им в сельском хозяйстве животных. Были еще браконьеры, но к аристократии они не принадлежали. Совсем по-другому к ритуалу охоты относились на Востоке. Персы и парфяне привили народам восточного Средиземноморья вкус к охоте. Прежде всего она была забавой знати, и Александр Македонский сумел соединить персидскую и национальную традиции. Селевкиды располагали огромными заповедниками, названными «райскими местами» и предназначенными для большой царской охоты. Дикие звери прогуливались там среди посаженных деревьев, орошаемых потоком воды. Охота считалась царской привилегией. В Египте ловчий занимал почетное место в свите фараона. В Македонии заповедные зоны кишели дичью, и сопровождаемый царскими ловчими Сципион начал осваивать новый вид спорта, ставший отличительным признаком его величия и (почему нет?) источником радости жизни.

Нельзя также не упомянуть о прочих повлиявших на Сципиона людях. Он обучался у многих артистов, грамматиков и философов. Среди них нужно выделить историка Полибия, одного из множества доставленных в Рим «живых трофеев» за победу при Пидне. Он также был заядлым охотником и играл заметную роль в жизни двора македонского царя, по мере сил стараясь не прерывать размышлений о собственном месте и месте современников в историческом процессе. В Риме ему посчастливилось быть принятым в поместье Эмилия Павла, где он беседовал с двумя хозяйскими сыновьями, младшему из которых, Сципиону, шел восемнадцатый год. Между этим подростком и тридцатилетним греком завязалась тесная дружба. В лице Полибия Сципион Эмилиан обрел друга и советчика на всю жизнь.

Конечно, королевское воспитание, дополняемое традиционным следованием обычаям предков (*mos maiorum*), давало возможность проследить, как желание некоторых людей эксплуатировать эллинистическую моду отвечало их политическим интересам. Неизменные амбиции этих людей сочетались с новыми идеями, что привело к мечтам о диктатуре, или же, проще, о монархии, что было невозможно во времена Римской республики. Греческая культура пропитала аристократов духом жажды единоличной власти, поскольку наделила их чувством собственного превосходства.

Уже Тит Ливий обвинял в царских замашках Сципиона Африканского, который не упускал возможности заявить о себе как о потомке самого Юпитера! Сципион не стеснялся также выставить напоказ свою любовь к греческой культуре и ввел новую греческую моду, вызвавшую, благо такова была воля полководца, одновременно и нарекания, и некоторую долю восхищения. Теперь цирюльник был ежедневным гостем в его доме[16], что не могло не войти в противоречие с национальными традициями: римляне старой закалки носили бороды и длинные волосы. Моду на гладко выбритое лицо попытался ввести около 300 года до н.э. некий цирюльник-сицилиец. Спустя примерно одно столетие попытка Сципиона оказалась куда удачнее. Но на этом он не остановился и в 204 году до н.э. в Сиракузах предстал совершенным греком: на прогулке он был одет в греческую одежду, на ногах были греческие сандалии, он играл в палестре и беседовал о литературе. У противников Сципиона, верных хранителей строгой морали, еще не было большего повода для обвинений в аморальном поведении и требований свергнуть такого правителя. Но Сенат никак не отреагировал на эту инициативу, что подтверждает мысль о том, что мода на все греческое упала на благодатную почву. Законодателем мод был Сципион. Его прельщенная греческой роскошью жена обожала богато

наряжаться, а ее карета для особо торжественных случаев была украшена золотыми и серебряными жертвенными вазами или же сопровождалась целым эскадроном рабов. Полибий считал, что это приличествовало жене такого человека, как Сципион[17]. Он смотрел на роскошь глазами не ортодоксального старого римлянина. Можно догадаться, что дамы из высшего света пролили немало слез по утерянной античной простоте, но тем не менее с увлечением приняли новое веяние моды. Брат Сципиона, дабы не оставаться в стороне, также носил греческие одежды и также заказал свою статую на Капитолии. Мало того, он еще и поменял имя на Сципион Азиатский, чтобы оно гармонично сочеталось с именем брата, Сципиона Африканского. Победа над войсками Антиоха, конечно, давала ему такое право, но он пошел еще дальше, изменив латинский вариант *Asiaticus* на греческий *Asiagenes*. Его потомки ревностно считали себя потомками именно последнего. Наконец, не пышущий здоровьем сын Сципиона Африканского посвятил часть жизни занятиям литературой и, естественно, писал на греческом языке[18].

Влечение к греческой культуре объяснялось стремлением к роскоши и последующим соревнованием среди богачей. Богатство стало синонимом власти. Основная причина – победители не хотели жить беднее побежденных. Дух соперничества приводит к погоне за роскошью уже среди римских семей. Как раз в эту эпоху мода стала более разнообразной и, следовательно, быстро устаревавшей и носившей разве что подражательный характер. Далее будут рассматриваться те эпизоды, которые в корне изменили стиль жизни римлян. Преходящая сущность моды привела к изменениям не только в материальной стороне жизни Рима, но и в духовной сфере.

Так произошло с поэзией, которая, следует признать, не была частью национальной культуры Рима. До знаком-

ства с греческой литературой римляне даже презирали ее. Исчезло ли презрительное отношение к поэзии в начале II века до н.э.? К этому времени поэты заняли свою нишу в кругу аристократических семейств. Поэт считался внешним украшением жизни, и, если семейство не хотело безнадежно отстать от моды, его приходилось брать на содержание. Был ли он рабом? Лучшим решением было даровать ему свободу, как это было с Ливием Андроником. Ярчайшим примером является также фигура Энния, поскольку Сципион Африканский испытывал к нему редкую привязанность. Цицерон приводит анекдот о дружеских взаимоотношениях Энния со своим знатным покровителем. Однажды двоюродный брат Сципиона пришел к поэту и заявил о своем желании взглянуть на него. Служанка ответила, что поэта нет дома, но очевидно солгала. Когда Энний в свою очередь зашел к двоюродному брату Сципиона, то тот сам прокричал ему, что хозяин вышел. Вот где истинные границы мести[19]. Поведанная Цицероном история свидетельствует о приближенности поэта к кругу его хозяев и даже о его равенстве с ними. Энний был очень модным поэтом. Член семьи Фульвия Нобилиора без колебаний направил его в свои поместья в провинции и доверил ему управление ими. Поэт мог быть очень полезен: он слушал, наблюдал, а затем воспевал увиденное в хвалебных речах своему покровителю. Энний не упустил возможности, прославляя подвиги Сципиона Африканского, упомянуть, что лишь Гомер был бы достоин подобного хозяина. Но во II веке до н.э., за неимением творца «Илиады», Сципион был вполне согласен ограничиться автором строк о нем: «Здесь покоится тот, для которого любой благодарности соотечественника или врага будет мало»[20]. Другое изречение Энния[21] позволяет считать, что он был наперсником знатного правителя, с которым тот мог запросто побеседовать и отвлечься, отдыхая от официальных церемоний или

встреч. Можно говорить о степени его влияния на хозяина, сознание которого в течение их бесед подчинялось поэту.

Итак, для зарождения и процветания эллинистической моды в Риме были все необходимые условия. Большинство власть имущих было подвержено влиянию этой культуры, они знали все о Греции и были поражены красотой празднеств в Македонии или в Малой Азии. Эта мода соответствовала их амбициям. Кроме того, в Риме они всегда находили культурную поддержку и понимание в лице всех греков-иммигрантов, крайне заинтересованных в триумфе эллинизма. Послы из греческих поселений регулярно посещали Сенат, рассчитывая на его помощь или ожидая его справедливого решения. Эти послы обычно были прекрасными риторами или философами, которые в ожидании быть принятыми в Сенат щеголяли познаниями перед римской молодежью. В Риме также можно было встретить продолжающих жить по национальным обычаям плененных греков царских кровей, которые к великой радости своих римских сверстников быстро сводили с ними дружбу. Как уже было отмечено, Полибий сыграл определяющую роль в воспитании и обучении Сципиона Эмилиана. Вместе с греческим историком на следующий день после победы при Пидне тысячи ахейцев наводнили Рим, там можно было повстречать и греческих царей, и их отпрысков, пытавшихся устроиться и завязать полезные знакомства на будущее. Нельзя отрицать тот факт, что, будучи принятыми в знатные римские семьи, они впитывали чужую культуру, но в не меньшей степени они прививали римлянам свои традиции. В то же время купцы привозили с Востока модные вещицы, ремесленники, актеры, художники и архитекторы, лекари и те, кто назвался таковыми, предсказатели, спекулировавшие на наивности римлян и прекрасных римлянок, учителя, использовавшие возмож-

ность сколотить состояньице на открытии школ и подчинении им жизни города (Полибий писал об учителях, что «пришли они из Греции большим числом»[22]), рабы, которых победы римских войск на территории Греции и Малой Азии пригнали к порогам римских домов и которые донесли греческие обычаи и нравы до самых низов общества, — огромная разрозненная и иждивенческая по своей природе людская масса привнесла новый стиль жизни и тем самым оказала, по мнению многих, пагубное влияние на Римскую республику.

В начале III века до н.э. греки без стеснения наводнили Рим: государство приняло и взяло их под свою защиту, что являлось важным социальным изменением. Уже в 207 году до н.э. в знак благодарности на официальной церемонии передачи власти Ливию Андронику, греку по происхождению, исполняли греческий религиозный гимн! Незадолго до указанного события пелопоннесский врач Архагат был принят с почестями и ему была дарована построенная на общественные деньги больница[23]. Под покровительством власть имущих увеличилось число навеянных греческими образцами драматических постановок и при поддержке государства создается школа для актеров. Сенат решил перевести на греческий язык все касающиеся Греции постановления, что было, с политической точки зрения, оказанием высокой чести эллинистической культуре, тем более что не существовало законодательных актов, переведенных на галльские или германские наречия. Одним словом, государство узаконило и признало стремление аристократии к эллинизации и внесло свой вклад в развитие греческой культуры в Риме.

Эллинистическая мода привела к бурным изменениям в жизни римлян, однако было бы удивительно, если бы она стала диктовать свои условия всему без исключения населению Рима, в особенности мода, которая пита-

ла амбиции и жажду власти молодых аристократов. Народные массы не только не проявляли подобной симпатии к греческой культуре, но у них были веские причины ненавидеть ее. Главная из них – дестабилизация структуры римского общества. Плебеи почувствовали, что лишились многих преимуществ, социальных завоеваний целых столетий. В давний спор патрициев и плебса о социальном равновесии вмешалось третье лицо. Изящная греческая культура стала утверждающим началом превосходства богатых, которое не устраивало бедняков. Греческая утонченность расширила ров классового неравенства и насторожила низы общества. Плебеи посчитали, что владение тонкостями греческого языка являлось настоящим оружием в руках приобщенных к новой культуре людей. По словам Плутарха, знание греческого языка подразумевало желание «вложить необходимые сведения» в чужую голову так, что никто не смог бы подобрать нужных слов для ответа[24]. Таким образом, народ отверг новый тип власть имущих, поскольку воспринятая аристократами мода стала поводом для беспокойства.

Большинство историков связывают вкус к роскоши с контактами с Грецией и Востоком. Соприкосновение с этими культурами нанесло непоправимый урон старой римской морали и укладу. Тит Ливий[25], равно как и Полибий[26], Дион Кассий[27], Флор[28] и Плиний Младший[29], говорил «о появлении восточных роскошеств в Риме по возвращении войск из походов». Иными словами, греческая мода, главное последствие военных экспедиций, изменила жизнь Рима, но не явилась настоящей причиной дестабилизации социального равновесия. Для установления греческой культуры в Риме сложилась благоприятная обстановка, а политические и экономические факторы в конце III века до н.э. способствовали ее быстрому усваиванию. Действительной причиной социальных противоречий в римском обществе

была, скорее, Вторая Пуническая война. В начале республиканского периода истории Рима еще не было классового неравенства. В большинстве случаев правители находились на одной имущественной ступени с остальными землевладельцами, которые сами возделывали свой участок между двумя военными походами. Всем был известен пример Цинцинната, которого коллеги-патриции оторвали от сохи для спасения Отечества, или Курия Дентата, победителя Пирра, который отказался от полагающегося ему золота под предлогом, что лучше командовать теми, кто владеет золотом, чем иметь его самому. Вот те столь далекие для времен Сципиона идеалы человечности! Римлянин был прежде всего землепашцем, а большие угодья давних лет показались бы крошечными по сравнению с обширными владениями II века до н.э. Все изменили войны с Карфагеном. Значительная часть Апеннинского полуострова разорена. Непрерывность и жестокость военных действий и угроза новых вторжений карфагенян на римские земли заставили римское командование вербовать людей на длительные сроки службы. Даже бедняки не могли избежать отныне воинской повинности. В 218 году до н.э. Сенат укомплектовал шесть легионов, в 213 году до н.э. – двадцать три, что повысило численность армии до ста тысяч воинов и такого же числа союзников. Потери постоянно росли и к концу войны пропорционально равнялись количеству жертв Первой мировой войны. Вырисовывалась следующая картина: опустошенные деревни, бежавшие в Рим солдатские семьи, неухоженные пахотные земли. Случалось, что видный землевладелец обрабатывал свои земли руками рабов, но и эти меры проблему разорения не решали. По окончании войны вернувшиеся должны были или вновь возделывать свой участок, хотя затраченные усилия превосходили урожайность, или же выплатить издержки взявшемуся обрабатывать их землю

доброму соседу, и единственной возможностью погасить долги было отдать участок в соседское пользование. У бедного крестьянина не было иного выхода, кроме миграции в город и приобщения к праздному, несчастному, набирающему силу и одновременно нищающему плебсу. В это же время крупные землевладельцы обогащались, что ускорило темпы социального расслоения. Стоит добавить, что сложившаяся экономическая ситуация и Вторая Пуническая война породили доселе невиданный и благословленный государством класс мытарей, быстро набивший свои кошельки. Впервые бюджет государства столь остро нуждался в финансовой помощи частных лиц, что явилось неким прообразом капитализма и создало новую форму недвижимого имущества, потеснившую традиционное землевладение. Богатеющие богачи и нищающие нищие образовали две касты с четко очерченными рамками: толпу отверженных и стремящуюся к власти аристократию, осознающую собственное величие, для которой эллинистическая культура стала знаком преуспеяния и желания выделиться.

Исполненное спеси поведение знати и явилось причиной неприятия эллинизма человеком, который первым выступил против этой тенденции. Речь идет о Катоне Старшем. Его доктрину можно определить тремя понятиями: патриотизм, величие Рима, строгая мораль... Очевидно, что такой человек не мог смириться с фактом, что римские правители используют чужеземную культуру для самовыражения и отстаивания собственных взглядов. Катон принадлежал к числу так называемых «старых» римлян и до последнего оставался поборником традиций республиканского Рима. Жизнь Катона была образцовым отражением его доктрины. Он родился в провинции, в Рим перебрался много лет спустя, где жил в скромности на сабинской ферме неподалеку от участка вышеупомянутого

Курия Дентата. Катон не гнушался сохи и собственноручно возделывал отведенный ему надел земли. И в семнадцатилетнем возрасте в течение Второй Пунической войны, и много позже, во время подавления восстаний на Иберийском полуострове, он также был образцовым защитником Отечества. В период военных походов он жил одной жизнью с солдатами, гордясь тем, что государство обеспечивало его только продовольствием. Скромность и цельность натуры этого «нового человека» привели его (первым в роду) в курульную магистратуру. К его мнению многие прислушивались. Ход блестящей, но несколько запоздалой карьеры привел Катона к высшим должностям: консула – в 195 году до н.э., цензора – в 184 году до н.э. Общественное положение дало ему право высказываться о падении нравов, вызванном греческим влиянием, и ратовать за возвращение к порядкам и традициям предков. Он развернул целую кампанию по борьбе с мытарством, с политикой «империализма» и против любителей греческой культуры, начиная с рода Сципиона. Именно Катон выступил в Сенате с осуждением приверженности Сципиона греческим традициям, осудил его манеру одеваться или брить бороду во время сицилийской кампании. Обвинения эти потонули в славе и военных успехах правителя Рима, хотя Катон и пытался вновь прибегнуть к ним, когда встал вопрос о командующем военными операциями на территории Испании. Он потребовал у Сената, чтобы именно ему, а не пресыщенному почестями Сципиону было доверено командование. На самом деле Катон опасался, что амбиции перекормленного новыми подвигами властителя Рима перестанут соответствовать интересам Римской республики. В 189 году до н.э. Катон велел предъявить счет двум членам семьи Сципиона по их возвращении с Востока. Разозленный подобным поступком, победитель войска Антиоха приказал доставить ему эти счета и прилюдно разорвал их, вос-

кликнув, что нельзя предъявлять счет спасителю Отечества. Катона такой оборот не смутил, но и дело он проиграл. Между тем поведение Сципиона раздражало консерваторов: назревали перемены. Став цензором, Катон вновь предпринял нападки на изнеженных, по его мнению, государственных мужей. Так, он вычеркнул из сенатского списка патриция, который обнял жену на глазах у собственной дочери. Он также выгнал из Сената брата освободителя Греции Фламиния, не устоявшего перед чарами молодого и красивого молодого человека.

Навязчивой идеей Катона было опасение, что чрезмерное изобилие богатств после побед римлян в Греции и в Азии непоправимо испортит общественные нравы и что Республика потеряет себя в этом нескончаемом потоке. Будучи консулом, он слишком хорошо понимал пагубность воздействия моды и был одним из немногих, кто выступал против отмены закона Оппия. В 215 году до н.э. в разгар Пунической войны, когда экономическое положение было наиболее шатким, сенаторы приняли закон, ограничивающий статью расходов гражданина, за счет которого они надеялись пополнить государственную казну. В законе говорилось о запрете на ношение разноцветной одежды, на владение более чем пол-унции золота, на въезд в город на запряженной двумя лошадьми повозке, при этом закон касался только женщин, так как именно их стремление к роскоши подрывало римские финансы. К 195 году до н.э. ситуация изменилась. В казну стали прибывать греческие сокровища. Римские женщины потребовали отмены закона Оппия: им явно хотелось с выгодой использовать появление новой моды. Речь Катона была сурова. Помимо того, что он пристыдил их за недостойное римских матрон поведение, он также напомнил и об опасности такого поведения: «Боюсь, как бы из ценителей восточных предметов роскоши не превратиться в их рабов». Далее Катон пожа-

ловался на дурное влияние обильных украшений на жизнь города: «Я слишком часто слышу воспевание богатого убранства Коринфа и Афин и высмеивание глиняных антефиксов римских храмов»[30]. Катон даже обрисовал путь, по которому общество обречено было следовать за модой: «Если мы будем потакать нашим женщинам в излишествах роскоши, на богачах будут украшения, которые не могут себе позволить менее состоятельные люди. А бедняки рискуют разориться во избежание унижения. Что до тех жен, которые сочтут, что мужья не могут отвечать на их запросы, то они станут искать другого мужчину». Несмотря на речь Катона, закон был отменен, и ворота всем видам излишеств были открыты. По замечанию Валерия Максима, сделанному два века спустя: если бы в те времена «мужчины были способны читать мысли женщины, следить за модой, требовавшей ежедневного увеличения расходов, то они бы сразу же перекрыли все пути проникновения роскоши в Рим».

Но Катон не падал духом и продолжал непрерывную борьбу. Он отрицал все, что пришло с греческой стороны. В своей доктрине он доходил до нелепости. Катон осуждал привитый греческой культурой и принятый Римом вкус к прогулкам. Он даже предложил вымостить площадь перед Сенатом острейшими камушками! Говоря серьезно, Катон понял, что все эти греческие педагоги, все эти ожидающие аудиенции в Сенате послы, ведущие беседы более или менее философического свойства, все эти щебечущие обо всем на свете демагоги, – все они являлись отображением главной опасности: помимо быта, они могли навсегда изменить национальный менталитет Рима. А римский народ был готов слушать любые красивые речи, особенно если не до конца понимал смысл сказанного. Катон ополчился именно на подобных людей с недержанием речи. Он пытался доказать, что у этих людей нет системы убеждений,

что «за кусок хлеба их можно купить, приказывать им открывать рот или закрывать его». К тому же, как сельский житель, он был уверен, что «каждый отдельно взятый баран слушаться не будет, но в стаде он уже слепо последует за пастухом. Римляне поступают точно так же: человек, которого каждый в отдельности не взял бы в советчики, становится вашим властителем дум, если вы слушаете его сообща». Катон считал греков болтунами, а болтуны не способны на поступки. И для Рима, по его мнению, было очень опасно данное существование культуры ради культуры и любовь к поверхностным размышлениям, поскольку они ничего в себе не несут. Занятия эти были способны пошатнуть убеждения римлян, их религиозные представления и стать причиной социальной катастрофы. Новый греческий гедонизм подрывал основы римской морали, построенной на убеждении каждого гражданина, что он — нерасторжимая часть целого. Греческая мораль научила римлянина эгоизму. Катон был убежден, что людей должны направлять не смутные идеалы, а простые и ясные истины, дающие человеку чувство уверенности в правильности совершаемого поступка. Он ставил в пример себя: в сабинском доме, где он жил, стены даже не были побелены, не было ни единой ценной вещицы. Катон упрекал римлян, которые строили себе роскошные загородные резиденции, использовав «тонко выделанное лимонное дерево, слоновую кость и напольные плиты из нумидийского мрамора»[33]. «Мне ставят в вину то, что я располагаю не многим; я же готов укорять других за то, что они не могут обойтись без какой-либо вещи»[34]. Прогуливаясь по Форуму, Катон, казалось, гордился своей поношенной одеждой, вызывавшей смех. Он повсюду находил мишень для критики. Он ополчился против постоянно растущих цен на модные товары, стоимость которых несоизмеримо выше цен на остальные вещи. «Как можно спасти от разо-

рения город, где рыба стоит дороже быка»[35], — печалился Катон и вспоминал те времена, когда повара нанимали за умеренную плату только по случаю, тогда как «стоимость следования кулинарной моде сравнима с содержанием лошадей». Он обвинял многих в излишней изощренности в одежде и открыто потешался над теми, кто торжественно выставлял на всеобщее обозрение свою приверженность эллинистическим модным канонам, наподобие «некоторых господ, не успевших еще слезть с лошади, но уже расточающих любезности»[36], или «еще один персонаж, который волен петь, когда вздумается, урывками декламирует греческие стихотворения, сыплет остротами, меняет тембр голоса и ведет себя манерно»[37]. Катон также нападал на философов, дошедших, как он считал, до вершин лицемерия, роняющих бессмысленные слова, напоминавшие ему напрасные и жеманные причитания профессиональных плакальщиц[38]. В глазах Катона Сократ предстал неким болтуном, единственной заботой которого было новыми мыслями отвлечь граждан от соблюдения национальных традиций и законов. Все эти шарлатаны испортили молодежь и представляли для нее вечный источник опасности. Поэтов же Катон держал за слоняющихся мечтателей и шутов, паразитирующее влияние которых лишает их возможности стать членами римского общества[39]. Куда опаснее литераторов были безапелляционно проклятые обвинителем медики. Катон писал сыну: «Когда этот народ (т.е. греки) дадут свою литературу, они испортят римское общество. Но еще хуже, если наводнят Рим своими врачами. Они дали клятву истребить варваров с помощью медицины»[40]. Со слов Плиния, Катон ратовал за изгнание всех греков из Италии[41].

Сколь искренний, столь и ограниченный консерватор Катон, возможно, не ополчался бы так на культуру эллинизма, если бы против него не выступал весь стиль жизни той

эпохи. Сильная личность Катона стала заложницей «не своего» времени, когда развитие общества вышло из под контроля старого и действенного кодекса поведения. Катон родился около 234 года до н.э. Его молодость прошла под знаком всеобщего воодушевления от первых контактов с Грецией. Катон прожил на свете девяносто лет — срок достаточный, чтобы проследить все произошедшие под влиянием Греции и Востока изменения. Выдающееся долголетие отчасти объясняло его взгляды. Зная об отношении Катона к современной ему общественной жизни, можно ли представить, что он с малолетства учил греческий, хотя потом всю жизнь пользовался латынью? Однако же Плутарх повествовал, что в 209 году до н.э. во время взятия Таранта Катон находился под началом Фабия Максима. В Таранте жил один философ пифагорейской школы, которого с большой охотой прилежно посещал Катон. Известно, что Неарх проповедовал идеалы скромности и терпения, т.е. те добродетели, которые не могли не прийтись по душе молодому римлянину. Но тем не менее Катон разделял точку зрения греческой философии и к тому же был окружен носителями греческого языка и не мог не воспользоваться данным ему случаем. В 204 году до н.э. проезжавший по Сардинии Катон переправил в Рим поэта Энния[42]. В 191 году до н.э. он занимал должность командующего греческим военным округом и в то время постоянно проживал в Афинах, чьи красоты он описывал сыну: «Сын мой Марк, как-нибудь в более подходящий момент я расскажу тебе о греках. Расскажу тебе обо всем, что нахожу прекрасным в Афинах. Расскажу, какое это благо, хотя бы поверхностно или глубоко познакомиться с их литературой»[43]. Известен факт, что и в конце жизни Катон продолжал свое знакомство с греческой филологией, хотя порой, по словам Цицерона, ему и не хватало уважительного отношения ко всему иностранному[44].

Тогда откуда же подобное резко негативное, доходившее до смешного отношение? Почему по окончании военного похода Катон продавал своего коня, желая возместить казне дорожные расходы? Какова причина, побудившая продать доставшийся по наследству богатый вавилонский ковер?[45] Такое поведение могло быть оправдано только верным служением идеалам. Нет сомнений, что Катон был человеком умным, образованным, умеющим ценить истинные дары Греции Риму. Но дары эти казались представляющими опасность величию Рима, один из которых — мода — победителя превращал в побежденного. Катон оставался беззаветно предан ценностям республиканского Рима. Его личные биографы настаивали на его законопослушности, уважении прав и обязанностей, связывавших Рим с присоединенными странами, иными словами, на одной из главных добродетелей настоящего римлянина — *fides* — «гражданской верности». Сделав ставку именно на нее, Рим установил свое владычество на территории Италии, а затем и в остальных завоеванных странах. Катон был крайне обеспокоен имперскими аппетитами некоторых господ, сомневался в целесообразности имперской захватнической внешней политики. Он считал, что военное вмешательство оправдано только тогда, когда речь идет об установлении мира между двумя странами, а конфликтная ситуация между ними представляет угрозу для суверенитета римского государства. Каковы же были причины восточных походов? Катон видел основной причиной захватнической политики лишь удовлетворение личных амбиций отдельными власть имущими римлянами. Дошедшие до современного историка обрывки речей Катона подтверждают его неприятие военных походов с единственной целью набить кошельки. Он не разделял амбиций людей, подобных Сципиону, для которых каждая победа считалась очередным шагом к осуществлению за-

мысла о великом Риме-примирителе, не обязанного считаться со счастьем малых народов. Но могли ли считаться со «старорежимной» политической доктриной Катона во времена столкновения римской и греческой цивилизаций? Ведь он предлагал обратиться к опыту прошлых лет, когда взоры остальных были обращены в будущее.

В то же время бой, данный Катоном новому мышлению, не был боем обреченного, — у него были и сторонники. И их было больше, чем можно предположить. В их числе — консерватор Манлий Торкват, который в 210 году до н.э. отказался быть избранным в консулы на третий срок из-за неприятия новых нравов. Пять лет спустя, герой Второй Пунической войны Фабий Максим упрекает Сципиона в желании «увести собственную армию за тридевять земель, т.е. туда, куда в соответствии с приказом, погонит ее гордыня главнокомандующего»[47]. Это мнение разделял и Валерий Флакк. Кстати, именно по его совету Катон выдвинул свою кандидатуру на пост цензора, при условии разделения полномочий с советчиком. Тиберий Семпроний, отец семейства Гракхов, находясь в должности цензора, придерживается столь же жесткой линии, что и Катон, и старается вести борьбу за очищение нравов. Плутарх писал, что каждый раз, когда Гракх Старший возвращался домой после ужина, его соотечественники гасили у себя свет, чтобы он не застал их за продолжавшимся пиршеством[48]. Самое удивительное, что к списку сторонников Катона могли быть причислены и Сципион Эмилиан, и Эмилий Павел. Победитель войск Персея почитал старинные римские добродетели, а его добропорядочность стала легендой. К золоту, найденному в сундуках македонского царя, он не притронулся и все содержимое сокровищницы отдал в государственную казну. Затем Эмилий Павел выдал дочь за сына Катона! Что касается Сципиона Эмилиана, то он, хотя и обучался в эллинистическом духе, оставался

сыном своего отца, Эмилия Павла, который наказал ему прислушиваться к мнению Катона. И последний сильно повлиял на Сципиона Эмилиана[50].

Помимо Катона, против нового общественного уклада взбунтовался чувствующий себя маргинализованным плебс. Однако именно новое поколение не только выбрало Катона на должность цензора, несмотря на всю его жесткость, но и воздвигло ему памятник «за преумножение богатств и радение о благополучии клонящейся к закату Римской республики»[51]. Народ тоже почувствовал опасность изменений, вызванных экспансией греческой культуры. На самом деле у разнообразной и всезаполоняющей греческой моды был двойной эффект. Во-первых, она навсегда ломала старую структуру римского общества. Во-вторых, мода четко противопоставила два типа общественной морали, труд и удовольствие, две взаимоисключающие модели воспитания и обучения личности. Мода сыграла роль запала в конфликте поколений.

Римский народ плохо понимал греческую речь и испытывал к чужой культуре граничащие с ненавистью чувства. Вот лишь несколько примеров. Самая распространенная римская поговорка «Греки — отцы всех пороков». А полководец Гай Марий хвастался незнанием греческого алфавита и оправдывался тем, что «его не заботит образование, которое не привило учителям добродетель»[53]. Дед Цицерона любил сравнивать римлян «с выставленными на продажу сирийскими рабами, которые чем лучше говорят по-гречески, тем меньше стоят». Грубость высказывания объяснялась неприятием греческой культуры, вызванным непониманием. Римляне были сбиты с толку людьми, подобными Карнеаду, которые могли сегодня доказать одно положение, а назавтра опровергнуть его и доказать обратное со вчерашней убежденностью. Софистические игры представляются для римлян шарлатанством, — Греция же

родина комедии! «Если вы рассмеетесь, грек будет смеяться вместе с вами. Если он увидит плачущего друга, он зарыдает, не испытывая горя. Если вы захотите обогреться в холод, он наденет пальто. Вы скажете, что вам жарко, вспотеет он!»[55] Практицизм римлян плохо уживался со склонностью греков к умозрительным размышлениям, «которые могли иметь место везде, в отношении всякого человека, приводить к спорам или обсуждениям тонкостей самых сложных или самых незначительных вещей[56]. Описанная склонность к болтовне считалась слабостью, а главным занятием греков — праздность. Самым страшным оскорблением, нанесенным Крассу, было сравнение его «с эрудированным и мудрым, но праздным и болтливым злобным греком»[57]. Можно представить, каким ударом по римскому патриотизму было прогреческое поведение некоторых аристократов, которые ставили личные интересы выше государственных.

Многое известно и о свидетеле настроений народных масс в период борьбы Катона с влиянием греческой моды и падением римских нравов. Свидетелем этого был комедиограф Плавт, живший во времена, когда римляне начали осознавать опасность падения общественной морали и предпринимать меры против засилья греческих обычаев в жизни Рима. Очевидно, что Плавт испытывал значительное влияние греческой традиции Невия, и он не отрицал этого факта. Он даже хвалился этим в прологах ко многим комедиям, наверное, чтобы понравиться власть имущим и привлечь внимание публики модными веяниями[58]. Но карикатурные портреты греков из стилизованных под греческие образцы произведений вызывали у ликующей публики чувства шовинизма и гордости за национальные традиции. Обрадованный зритель видел на сцене бесцельно прогуливавшихся «мелких жалких греков», (*graeculi*), на все готовых ради наживы и напыщенных от самодоволь-

ства, и греческих плутов-философов. Как раз о них повествовал в одной из комедий тунеядец Куркулий, «о греках в коротких плащах, не выходивших из дома без головного убора, корзин и книг, в стельку пьяных, беседовавших друг с другом; об этих ссыльных рабах, кидавшихся вам под ноги и преграждавших вам дорогу, шатавшихся и разглагольствовавших, вечно под хмельком просиживавших в тавернах. Если греки эти что-то стянули, то тогда наступал черед веселья, а затем, они, угрюмые и пьяненькие, убирались прочь»[59]. Плавт даже ввел словцо, охватывавшее весь спектр привнесенных греками нравов, – *pergraecari*, что значило «жить на греческий манер» и было приравнено к жизни в излишествах. По тому же образцу в комедиях Плавта изображены и многие рабы, которым их знатными хозяевами вменялось в обязанности воспитывать и обучать сыновей, доучившихся до потери морального облика. Так, например, один из персонажей, Транион, осыпал бранными упреками управляющего: «Всякий раз, когда почувствуешь желание, пей и пропивай родовое поместье, развращай лучшего юношу, сынка твоего хозяина, пейте дни и ночи напролет, живите по-гречески, покупайте все лучшее, что есть на рынках! Не это ли тебе приказывает исполнять твой хозяин?!»[60] А ведь молодежь быстро наматывала на ус подобные уроки! Они не хотели больше, чтобы учитель воспитывал и обучал их дисциплине и добродетели. Лидий, учитель юного Пистоклера, горько жаловался отцу своего питомца: «В молодости ты должен был слушаться своего учителя и в городе следовать за ним повсюду. Если ты опаздывал в гимнасий, он строго наказывал тебя. Вернувшись домой после спортивных упражнений, ты прилежно читал, и стоило ошибиться хоть в одном слоге, твоя кожа становилась более пестрой, чем корсаж кормилицы». Но отца эти слова не убедили, и он заявил, что «нынешние нравы тоже сильно изменились». Лидий не сдавался и во

всем обвинял тлетворное влияние современных нравов: «Стоит педагогу лишь прикоснуться к семилетнему мальчику, как тот разломает школьную доску о его голову!» Педагог начал жаловаться своему хозяину, а тот, довольный поведением сына, вскричал: «Сын, ты будешь достойным нашего рода, только когда найдешь, чем ответить на оскорбления!» Поруганный и отруганный учитель шел прочь, «а голова его, подобно светильнику, была перемотана масляными повязками»[61]. Греки, эти не внушавшие никакого доверия безбожные чужаки, научили римскую молодежь бесстыдству и страсти к удовольствиям. Цицерон, хотя и признавал превосходство греческой литературы, отмечал интеллект и словоохотливость греков, все же считал, что у них нет «точности свидетельств, веры», — тех качеств, которые никогда не отличали греческую нацию. Грекам не были знакомы понятия осмысленности, мужества, самоценности каждой вещи»[62]. Таким предстал Периплектомен, персонаж комедии Плавта «*Miles gloriosus*». Он без конца болтал, восхваляя свои достоинства. Речи этого разнузданного болтуна были апологией изнеженного индивидуализма, распущенного эгоизма и неумело прятали отчетливое осознание собственного превосходства под маской вежливости. Если его приглашали на ужин, Периплектомен использовал весь арсенал записного обольстителя: он никогда не перебивал, не сплевывал, не сморкался за столом, не волочился за чужими спутницами. Кроме того, он не бросался жадно на блюда и даже спьяну не завязывал горячих споров. Как все признают, его стоило приглашать, ибо он «тише спокойного моря, мягче дующего ветерка», он был не только желанным гостем, но и самым умелым танцором. Его единственным богом была свобода. Он говорил, что «хочет жить для себя». Жена? Ошибкой было бы допускать эту «шавку» к домашним шароварам. Конечно, он смог бы полюбить женщину, способную сшить ему к зиме теплую и

мягкую одежду, но такая птичка была редкостью для той эпохи, а те женщины, кого он знал, истратили бы все серебро на подарки себе любимым или прочим людям. Периплектомена вполне устраивали подруги, которые сами дарили бы ему подарки.

Дешевое эпикурейство этого персонажа органично вписывалось, по мнению Плавта, в общую картину морального облика наводнивших Рим греков. Действительно, иностранцы и их уклад оказали значительное влияние на перемены в римских нравах. К примеру, состоятельные женщины в мгновение ока прельстились модными новинками, что и было предсказано Катоном в его речи в защиту закона Оппия. Любая новая вещица означала тягу к роскоши и деньгам. Герой комедии Плавта «Скупой», старый скряга Эвклион почитал за счастье, что он не был женат на женщине с приданым, поскольку дорогие свадебные кольца и свадебные подарки привели бы «к спесивой жизни, к властному восседанию в отделанных слоновой костью, тканями и пурпуром повозках», т.е. ко всем тем атрибутам роскоши, что низводили супруга до прислуги»[63]. Когда невеста отдавала жениху приданое, она заявляла свои претензии на «жизнь в пурпуре и золоте, среди служанок, мулов и погонщиков мулов, ливрейных лакеев, ловчих, повозок», а за перечисленными людьми и вещами уже следовал целый отряд поставщиков модных вещей: «сукновал, вышивальщик, ювелир, ткач-специалист по изделиям из льна, ткач-специалист по бахроме, белошвейка, красильщик в розовый, оранжевый, фиолетовый, желтый цвета, торговцы нижним бельем, обувью, сапожники и закройщики сандалий, не говоря уже о торговцах бюстгальтерами и корсетами». Подобные женщины были разорением и погибелью своих мужей[64]. Но чужеземное пагубное (по убеждению сторонников Катона) влияние моды распространялось не только на материальную сторону жизни. Подверглось изме-

нениям и умонастроение римлян, которые поначалу радушно приняли греческую философию и отнеслись к ней с интересом. Скорее, именно философия стала неким нравственным оправданием новоприобретенной тяги римлян к всевозможным удовольствиям. Первым, кто извлек из этого выгоду, был Эпикур. Философская доктрина его афинской школы не предполагала разнузданных удовольствий, а лишь предлагала искать высшее наслаждение в отсутствии страданий. Эпикур писал, что «достичь предела высшего наслаждения можно только путем полного отречения от страданий». Умение владеть собой противопоставлялось эпикурейским учением одержимой погоне за наслаждением. Но необходимо учесть, что те римские философы, которые первыми стали разбирать доктрину Эпикура, принадлежали к народу, почти не приученному к анализу мыслительной деятельности, и, наверное, несколько неверно восприняли его учение. Эпикурейство захватило не только учеников философа. В результате вот в каком виде доктрина дошла до римлян: «Вкусная еда является источником и основой всякого блага» или «Конечно, нужно уважать порядочность, чтить добродетели и прочие человеческие положительные качества, если они способствуют нашим наслаждениям; если же нет, то о них и вспоминать нет необходимости»[65]. Если сравнить эти положения со строгой старой римской моралью, провозглашавшей идеалы энергичности и труда, то становится ясно, какой шок вызвало новое философское учение и какой находкой оно стало для римлян, искавших новые идеалы счастья. И уже никого не волновало, что эпикурейство было неверно истолковано и свелось, по сути, к размытому и вульгарному гедонизму, наглядным последователем которого был упомянутый Периплектомен.

Упадок старой римской морали в конце III века до н.э. сопровождался колебаниями религиозного курса государ-

ства. Под влиянием новой греческой философии или без него духовная жизнь Рима пропитывалась сомнением. Нужно отметить, что уже тяжкие годы Второй Пунической войны породили скептическое отношение к действенности силы богов. История Рима знает немало примеров неприятия власти богов или даже презрения к ней. Самые высокопоставленные лица государства обращали все меньше внимания на предзнаменования и все реже совершали жертвенные обряды. Когда в день битвы при Пидне произошло лунное затмение, Эмилий Павел совершил торжественный обряд жертвоприношения. Плутарх по достоинству оценил уважительное отношение правителя к воле богов и подчеркнул: «Эмилий Павел совершил прекрасный поступок, согласно взятой на себя роли жреца, тогда как остальные увидели в этом поступке проявление честолюбия»[66]. На самом деле жреческие обязанности обременяли аристократию. Чаще религиозные полномочия передавались молодым людям и были знаком продвижения в карьере. Народный религиозный пыл также остыл. Процесс вымирания деревень и перемещения сельского населения в город не был случайным. Ни для кого не секрет, что деревня всегда была обителью традиционных верований и морали, а город постоянно находился в эпицентре влияния чужеземных культур. Влияние это подчеркивалось тем фактом, что Рим воспринял греческую систему почитания богов наравне с греческими религиозными традициями. В 204 году до н.э. в связи с нанесенным войнами ущербом Сенат решает призвать на помощь греческих богов. Различные восточные верования также получили распространение на Апеннинах, как, например, проповедованный неким греческим жрецом оргиастический культ Вакха. В Риме вокруг вакханалий разгорелись настоящие страсти. Служители Вакха обещали приобщенным бессмертие через сублимацию страданий. Во времена безвластия многих

привлек мистический путь поиска любви и братства, путь от пьянства к коллективному помешательству. Эротический характер культа воплощал искомое счастье. Не понимавшие смысла верования неприобщенные смотрели на кричащих и пророчествовавших на ночных улицах мужчин и женщин со спутавшимися волосами, с факелами в руках. Мужчины и женщины бежали к водам Тибра, ныряли и выплывали с непогаснувшими факелами, так как на серу попадала известь. В лесу на берегу Тибра, неподалеку от Авентинского холма монахи приобщали к новому верованию юношей и девушек. Там, вызванные сексуальным насилием крики новообращенных заглушались общим воем и звуками ударных инструментов. И подобные церемонии случались пять раз в месяц![67] Разврат грозил крахом политической и духовной стабильности Рима, и власть имущие сразу же подумали о готовившемся заговоре под личиной обрядов крайней степени разнузданности. Дело было предано огласке благодаря одному случаю. Молодая вольноотпущенница прослышала об этой секте от третьих лиц. К тому же любимый ею юноша объявил, что и она должна совершить обряд приобщения. Она испугалась за его судьбу и предпочла найти консула и выложить ему все, что знала. Ее поступок послужил поводом для начала судебного разбирательства, которое и привело к получению полной информации о деятельности секты.

Греческая культурная экспансия вполне могла представлять опасность для Римской республики. Иноземные верования и философские учения подрывали религиозные основы римского общества и даже само понятие патриотизма. Так, многими разделялось заявление Сократа о том, что он был гражданином мира. Распутная молодежь, плутоватые рабы, свободомыслящие старики, женщины легкого поведения, сводни и прочие герои комедий Плавта были иллюстрацией разврата на греческий манер. Гречес-

кая мода и ее тлетворное воздействие на жизнь Рима привели к появлению реакционно настроенных кругов. В административной среде также принимались меры, законы против увлечения римлянами роскошью. Один из законов ограничивал число ужинающих за одним столом и расходы на званые трапезы[68], другой закон, рьяно защищаемый Катоном, урезал права женщин по наследованию имущества, чтобы те не могли владеть значительным личным состоянием, что неминуемо привело бы к росту расходов[69].

В 186 году до н.э., согласно итогам проведенного консулом Постумием Альбинием расследования, Сенат принял сенатус-консульт, запрещавший проведение вакханалий, и начал преследовать приобщенных к культу Вакха, что привело к единовременному задержанию семи тысяч человек, а остальных — спустя месяцы и годы после вступления решения Сената в силу. Также было принято решение о сожжении религиозных сочинений, приписываемых Нуме Помпилию: речь шла о свитках, написанных религиозными «совратителями», имевших целью видоизменение римской религии в духе пифагорейства.

В описываемую эпоху незавидная доля досталась и философии. Стала очевидна политическая подоплека борьбы против греческой философии: боролись с ней те, чьими врагами были аристократы-любители эллинистической культуры. Уже в 182 году до н.э. на холме Янникул были сожжены книги, содержавшие философские рассуждения. В 173 году до н.э. эпикурейцев вообще изгнали из Рима, поскольку они «проповедовали доктрину наслаждения»[70]. В 161 году до н.э. «риторы и философы должны были покинуть Рим простым постановлением Саната, так как им нельзя было там более находиться»[71]. В 155 году до н.э. Катон попросил Сенат о скорейшей высылке из страны философов (среди которых был и Карнеад), остававшихся в Риме в качестве послов. Здесь следует упомянуть, что

Карнеад оказался в центре скандала, когда в течение двух дней представил две взаимоисключающие теории о правосудии, что заставило Катона задуматься о последствиях такого шага для незыблемости убеждений сограждан. Даже Катон выбрал латынь для написания труда о происхождении Рима в знак протеста против прецедентов, подобных написанным по-гречески сочинениям римского историка Фабия Пиктора.

Наконец, засилье греческой моды и борьба с нею наиболее явно сказалась в театре. Влияние эллинизма на рубеже III–II веков до н.э. только росло. Театр был объектом всеобщего интереса. В 240 году до н.э. Ливий Андроник познакомил римскую публику с греческой драмой, и, начиная с этой даты, роль сценических представлений становилась все больше. В 194 году до н.э., по предложению Сципиона Африканского, цензоры должны были резервировать первые ряды для сенаторов. В 179 году до н.э. по приказу цензора Эмилия Лепидия было построено здание со сценой с украшенным задником, которая располагалась перед амфитеатром зрительного зала без кресел[72]. В 174 году до н.э. по распоряжению цензоров стали возводить каменные сцены для всевозможных игр[73]. Однако Сенат воспротивился этому и принял решение о разрушении театров под предлогом, что театры служили разложению общества и были школой разврата. По приказу цензоров большинство театров разрушили[74]. Историкам известен случай, когда в 155 году до н.э. консул велел разрушить построенный по приказу цензора Кассия театр, который казался консулу центром пагубного воздействия греческих соблазнов на римскую публику[75].

В ту эпоху реакционное отношение к греческой культуре уже укоренилось в сознании римлян благодаря непримиримой позиции некоторых влиятельных, подобно Катону, людей и глубокой неприязни ко всему чужеземному со

стороны римского плебса. Но добились ли своего противники греческого засилья?

Ответ на поставленный вопрос окажется очевидным, если проследить отношение римлян к греческой моде в целом в середине II века до н.э. Почти сразу становится ясно, что принятые законы и прочие меры, направленные против распространения греческих нравов были крайне неэффективны. В последующих главах будет показано, что маниакальное влечение знатных господ к роскоши, их жадность и желание походить на хваставшихся прогреческим поведением аристократов с годами лишь усиливалось. От случая к случаю изгонявшиеся из Рима волею властей риторы, грамматисты, философы непременно возвращались, еще более жадные до обогащения, при этом число их постоянно росло. Новая волна популярности ожидала стоиков. Естественно, что полученное юными аристократами образование не могло так скоро выветриться, – теперь оно основывалось на иных, ставших им родными, ценностях. Поведение знатной молодежи сильно отличалось от поведения их предшественников и уже не могло поменяться. Философам удалось сформулировать вызывавшие сомнения проблемы, и ничто не могло вернуть римлянам религиозную убежденность их предков. Происходившие в жизни процессы уже не объяснялись одним провидением богов. «По желанию, наличием божественной воли или игрой случая объяснялось все, что не могла (или это было крайне сложно) объяснить умственная деятельность человека, как то бури, сильные ливни, засуха, заморозки, неурожаи... Конечно же, находясь во власти случая, легче всего было опираться на общественное мнение, проводить время в молитве, совершать жертвенные обряды с целью умилостивить богов, прислушиваться к довольно предсказуемому мнению оракула в надежде на скорейшее завершение стихийных бедствий. Но когда человеческий ум способен

постигнуть причину или догадаться о происхождении явления, тогда представляется неразумным относить его существование на счет воли богов». Приведенная речь Полибия[76] была обращена к юному Сципиону, и отныне скептицизм прочно засел в мозгах римлян. Век спустя, именно эту точку зрения полностью воспринял почувствовавший призвание прорицателя Цицерон, написавший затем два труда о божественной власти[77]. Политика Рима тех лет была обильно пропитана подобным отношением к божественному началу, поскольку молодые аристократы, призванные впоследствии к управлению государством, воспринимали при обучении схожую систему ценностей. Выше уже было охарактеризовано воздействие дружбы Полибия на Сципиона Эмилиана. Также на него повлияли идеи предшественника Диогена, философа Панеция, одного из трех упомянутых философов, наделавших столько шума в 155 году до н.э. Весь круг приспешников Сципиона, например Лелий, прошли курс обучения у этого уроженца Родоса, стоицизм которого отчасти основывался на учении Платона. Даже после победы над Карфагеном Сципион посещал его. Римского правителя поражала мудрость Панеция и его знание региона, которые помогали полководцу разрешать связанные с восточными походами проблемы. Доктрина Панеция легла в основу римской модели стоицизма. Его моральная концепция была идентична римской: следование основным добродетелям, приверженность поступку, воспитание в человеке гражданских чувств и чувства долга, желание служить отечеству. Он говорил, что «любое общество должно базироваться на правосудии». Такое мировоззрение не могло не прийтись по вкусу многим, нашедшим в нем прямое наследование старой римской морали, что и явилось причиной популярности взглядов Панеция. Сципион нашел это учение весьма привлекательным и потому, что родосский философ говорил о неоспоримом превосходстве человека действия, а точ-

нес, вождя (*dux*), над остальными. Подобное убеждение соответствовало проповедовавшемуся в роду Сципионов культу человека-героя и оправдывало римские завоевания. Неприятным следствием стоицизма для жизни Рима было то, что эта доктрина подпитывала и провоцировала серьезные политические разногласия в конце II века до н.э., в частности несогласие с действиями властей Тиберия Гракха. Различающиеся взгляды стоиков на роль правосудия раскололи это течение на два лагеря: один образовался вокруг Диогена Вавилонского, рассматривавшего спорное понятие с утилитарных позиций; второй – вокруг Панеция, который впервые ввел для характеристики правосудия понятие гуманности. Расхождения эти привели к столкновению на политической арене двух линий, представленных соответственно Тиберием Гракхом и Сципионом. Приведенный пример позволяет понять, насколько эллинистический тип мышления воздействовал на умы правителей Рима.

Эллинизм необратимо изменил римскую культуру. Люди, равные по величине Сципиону Эмилиану, стали играть принципиально новую роль в историческом развитии Рима, они также по-новому осмыслили и свою деятельность. Благодаря изменению значения понятия «*otium*», или культурного и прибыльного досуга, призванного служить моральному и умственному облагораживанию граждан, стал необходимым пересмотр соотношения между долгом и правами. Сложился новый тип человека, общественные функции которого более не ограничивались политической деятельностью, отбыванием воинской повинности и совершением религиозных обрядов. Гражданин отныне стремился жить со вкусом. Римляне старой формации понимали под новым искусством жить стремление к разврату, обвиняя живущих на новый лад сограждан в том, что те стояли у истоков растления общества. Люди старой

закалки часто не делали различия между приобщением к культурной жизни одних и простым стремлением к роскоши других. В их глазах достижения эллинизма составляли одно целое с излишествами роскоши, заслуживавшими порицания. Действительно, граница прослеживалась далеко не всегда. Один римлянин изучал греческий язык, движимый чистым желанием обогатить свою личную культуру чтением греческой литературы; другой занимался тем же с единственной целью кичиться своей образованностью и выставлять свои знания напоказ. Итак, был ли познавательный пыл первого вызван именно произведениями прочитанных философов, или же он только рисовался, следуя моде, и не желал компрометировать себя в чужом мнении? Примеров такого поведения предостаточно. Так, Гракх Старший, гордясь произнесенной на греческом языке речью на острове Родос, решает опубликовать ее[78]. Альбуций старался жить в Афинах жизнью истинного грека; и Луцилий подтверждал, что слова в его речах были подобраны, словно элементы мозаики (Луцилий в шутку сравнивал построения его речей с «пестрой мозаикой или плиточным настилом»). Сципион Эмилиан также заразился этой эпидемией. По свидетельствам Диодора и Плутарха, он декламировал отрывки из Гомера перед руинами Карфагена[79], а также тогда, когда получил известие о гибели Тиберия Гракха[80].

Римляне писали на греческом языке: в частности, так делали большинство историков. Самое забавное, что римлянам приходилось переводить на латынь произведения своих соотечественников![81] Хорошо еще, что некоторые литераторы соглашались с Катоном и продолжали писать на родном языке. Но даже для Катона не существовало прививки от эпидемии эллинизма. Известно, что он был образованным человеком и знал греческий язык и литературу. Мало того, Полибий писал, что в конце жизни он

позволял себе цитировать «Одиссею»! В 149 году до н.э., в последний год жизни, Катон, желая выразить в словах славу покорившего Карфаген Сципиона, прибегнул к стиху, в котором Цирцея рассказывала Одиссею о всемогуществе богоподобного Тиресия: «Он один обладает мудростью. Другие лишь колыхающиеся тени»[82]. И вот уже сам Катон поддался влиянию моды! Он осознавал это и все более примирительно относился к греческой культуре, не находя сил для продолжения борьбы с захлестнувшим Рим новым валом эллинизма. Он признавался, что, «прожив жизнь с одним поколением, невыносима была сама необходимость защищать свои позиции и взгляды перед другим»[83]. Несмотря на внутреннее сопротивление, установленные новой модой манеры коснулись и его, и кто бы ни занимался изучением жизненного пути сурового консерватора, некоторые противоречия не могут поразить. Так, Катон отказался отдать своего сына на обучение греческому учителю. Он не выносил, чтобы учительствующий раб мог в наказание ударить сына римского гражданина. В то же время Катон содержал некоего раба-грамматиста Хилона, дававшего уроки детям прочих римлян, который отдавал заработанное своему хозяину, Катону![84] Еще один пример: Катон подготовил труд по сельскому хозяйству, где он напоминал, что римлянин прежде всего являлся хорошим крестьянином и что хороший гражданин был одновременно и хорошим земледельцем. Он отметил, что для нормального функционирования поместья был необходим неусыпный надзор хозяина. Он ополчился на новых владельцев, живших в городе, лишь время от времени наведывавшихся в свои угодья и заставлявших своих рабов работать с веревкой на шее. Из его труда видно, как привязан был Катон к своему участку на землях сабинского племени. Но что же произошло? Он заметил мизерность и нерегулярность приносимого этой землей дохода. Тогда Катон ре-

шился переселиться в Рим и вложить деньги в более надежные и прибыльные предприятия: он скупал водоемы, термальные источники, сукновальни, пастбища и леса и постепенно стал крупным собственником в ущерб небогатым и не выдерживавшим конкуренции крестьянам, вынужденным бежать в города[85]. К тому же, как тут не вспомнить вторую женитьбу Катона в семьдесят лет? В те годы он жил у своего сына, того самого, что взял в жены дочь Сципиона Эмилиана. В доме жила также молодая рабыня, дочь секретаря суда, хорошо знакомая Катону. И вот, суровый и безупречный цензор растаял словно какой-то юнец. Ночью он тайком пробирался в ее комнату. Маневры Катона не остались незамеченными к великому неудовольствию сына и невестки. Плутарх рассказывал, что сыну было стыдно за отца. В конце концов Катон решился на разговор с отцом девушки, чтобы объявить тому, что он подыскал для нее хорошую партию и что препятствием был лишь почтенный возраст жениха. Отец служанки полностью доверился хитрому старику. Каково же было его удивление, когда он узнал, что женихом-то и был сам Катон! И свадьба состоялась...[86]

Катон умер в 149 году до н.э. Три года спустя, Карфаген пал к ногам Сципиона Эмилиана, достигшего вершины славы. Значило ли это, что эллинизм и греческая мода одержали верх над спесивостью и косностью римлян-консерваторов? Это было не совсем так. Скорее наоборот, многие любители греческой культуры так повлияли на управление Римом, что правители принимали ограничительные меры по отношению к эллинистической экспансии. Греческие нравы уже тесно переплелись с жизнью римлян, но энтузиазма ко всем ввозимым новшествам поубавилось. Середина II века до н.э. мало чем напоминала эпоху правления Фламиния, великодушного освободителя греческих земель, когда он в честь собственного триумфа приказал

провести по Риму сто четырнадцать золотых корон, отданных в дар Грецией. Толпа уже не приходила в исступление от вида шедевров греческой культуры, от изысканности манер, готовая во всем подражать поразившему ее новому образу жизни. Греки находили вполне естественным, что римляне освободили их и не давали им права формально считаться хозяевами положения. Римляне в свою очередь ждали от новоприобретенных «друзей» знаков признательности. Существовавшие размолвки открыли римлянам глаза на глубокую пропасть между греческим и римским сознанием, а также на опасность греческого образа жизни для римской морали. Противники греческого влияния во главе с Катоном не шли ни на какие уступки но все же были обречены на поражение. После победы римских войск при Пидне греческие нравы стали неотделимой частью нравов римских. Но даже те, кто был рад привнесению греческой культуры в жизнь Рима, начали осознавать опасность, которую представляла эллинистическая культурная экспансия для старых национальных устоев, и усилили бдительность относительно влияния Греции на Рим. Будучи избранным на должность цензора в 142 году до н.э., Сципион сказал: «Я буду полезен Отечеству, так же как усыпанный гвоздями ошейник полезен для собаки». За сорок три года до произнесения этой речи те же слова говорил Катон, непримиримую строгость которого Сципион ставил всем в пример[87]. Новоявленный цензор также начал вести борьбу против растления нравов и упадка воинской дисциплины. Вот чему научила римлян греческая культура! Как бы эллинизм не наплодил в Риме слишком много прогречески настроенных граждан, готовых забыть традиции предков. Именно перед такой позицией Сципиона преклонялся Цицерон, считавший его идеалом среди тех, «кто сумел сочетать семейные и национальные традиции и все премудрости Сократа. Сципион объединил эти модели обществен-

ного поведения, когда на основы жизни предков ложился свет научного знания. Такой человек представляется мне завершенным и достойным всяческой похвалы»[88]. Таков был культурный компромисс, к которому пришел римлянин тех лет. Уже невозможным считалось сказать, подобно персонажу Теренция, что молодежь «занята лишь лошадьми, собаками и философами»[89], или, подобно Луцилию, утверждать, что одежда, осел, собственный раб и крыша над головой куда полезнее какой-либо философии. Новая модель поведения требовала от гражданина честности и ясности видения мира, что требовало некоторых сомнений в душе. Греческая культура почиталась благом, развивавшим мышление и помогавшим в учении, но считалось «чрезвычайной ошибкой проведение жизни в непрерывном единении с ней»[90]. Эллинизм на римский лад продолжал признавать поступок единственным благом и презирал книжников, «проводивших жизнь в ответах на заданные любым человеком любые вопросы»[91]. Помимо указанного повода для неприятия греческого мышления, философия, медицина и искусства оставались в сознании римлян рабскими занятиями. Так, граждане часто кичились тем, что не разбираются в искусстве. Конечно, многие граждане уже выбрали тот или иной недостойный род деятельности, но вынуждены были скрывать это. Сципион не признавал искусство танца, все еще считавшегося для римлян преступным и распутным занятием. Назвать кого-либо «танцором» значило жестоко оскорбить этого человека, что приводило к серьезной ссоре. Именно так назвал Катон из Утики Мурену, и, вставший на защиту последнего, Цицерон вынужден был признать, «что танцующий человек либо пьян, либо сошел с ума»[92]. Тот же Цицерон, выдвигавший обвинения против сообщников Катилины, привел в пример их женственную наружность и развратное поведение; затем в качестве высшего обвинения он добавил, «что те

пели и плясали»[93]. Сципион Эмилиан был потрясен, когда увидел в танцевальной школе среди пятисот детей двенадцатилетнего сына известного в Риме человека, танцы не были достойны такого человека[94]. Приятие греческой культуры вошло в моду, но столь же модной даже у римлян любителей Греции была и ее критика, призванная продемонстрировать различие между двумя культурами и сохранить национальные традиции и ценности. Греческое влияние отнюдь не стало меньшим, и римляне отдавали себе в этом отчет. Век спустя Цицерон описал Афины как источник воспитанности, науки, религии, сельского хозяйства, правосудия, законодательства...[95] Во время правления императора Траяна, Плиний Младший написал другу Максиму об Афинах те же слова[96]. Но, по свидетельству Цицерона, авторитет Греции неумолимо падал, Рим осознал себя настоящим хозяином мира, для которого признание заслуг бывшего соперника представляло едва ли не главную угрозу. В эпоху правления Сципиона Эмилиана основной задачей Рима было национальное самоопределение, что не могло не сказаться на характере греческого влияния, которое представляло собой внешнее оформление всех сфер жизни Рима и сводилось к культурно-вспомогательной функции. Таким образом, греческая культура не затрагивала римские национальные добродетели. Рим уже не мог обойтись без культурной поддержки со стороны Греции, но был способен ограничить воздействие чужеземных нравов.

Глава II

МОДА В ОДЕЖДЕ И УКРАШЕНИЯХ

Несмотря на разнообразие форм человеческой деятельности, где могла бы найти свое выражение мода, первое, что и в наши дни приходит на ум, – это одежда и украшения. С начала времен умение одеваться было для человека основным средством выделиться на фоне остальных и привлечь к себе внимание. Социологи считают, что прикрывающая интимные места одежда стала неким барьером на пути разврата и явным признаком цивилизованности. В то же время тот изыск, что несет в себе одежда, имеет целью обольщение и, привлекая внимания других лиц, служит своеобразным приглашением для разделения удовольствия. Смена гардероба позволяет вновь следовать моде и представляет собой бесконечный процесс. Внешний эффект от одежды остается тем же, а ее стиль позволяет лучше определить дух того или иного времени. Свободный крой является отличительным признаком одежды с Востока, тогда как в Европе используется облегающий крой, и постепенно эта техника распространяется по всему миру. В античности был популярен первый из названных стилей шитья со складками. Одежда с точно пригнанными складками более присуща областям с тропическим климатом. Техника шитья делится на разнообразные подвиды, поскольку меняются детали, варьируются ткани, – именно эти изменения и составляют суть моды.

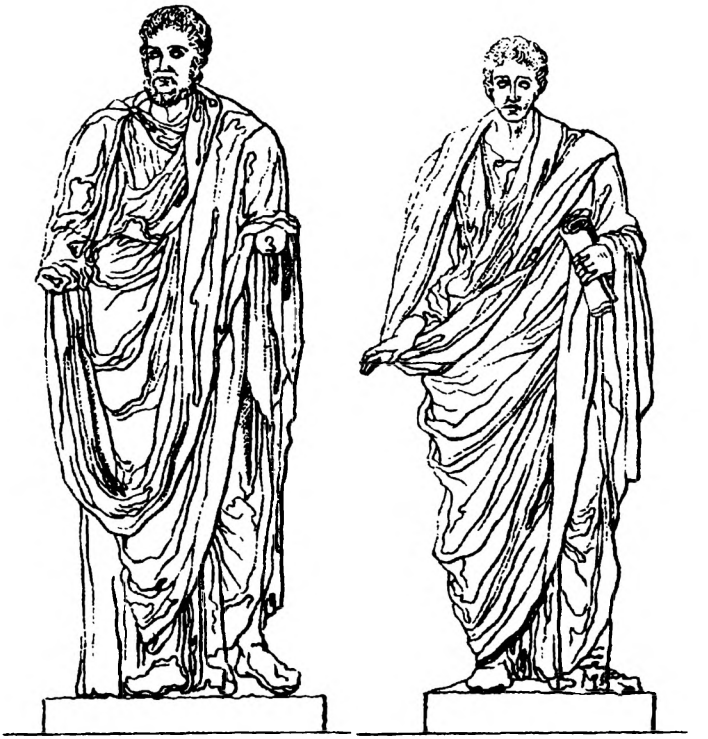
Принято считать, что античная одежда не менялась с течением веков и влияние моды на нее не распространя-

ется. Думать так, значит забыть о стремлении богачей выделиться из общей массы граждан посредством одежды или же других средств. Стоит признать, что римская одежда была более незамысловатой, нежели современные наряды. Существовало меньшее число видов одежды, мода была более постоянной. Но говорить о ее отсутствии в античном мире можно, лишь не имея ни малейшего представления о той эпохе и заведомо принижая ее роль в историческом процессе. Распространено мнение, что тога была национальной одеждой. При ближайшем рассмотрении видно, что тога видоизменялась и в каждую отдельную эпоху имела особый вид (одно время была даже подзабыта из-за популярности другого вида одежды), а также было известно несколько способов ее ношения. Искусство и манера драпировки тоги ценились даже больше работы портного. Тога должна была гармонично смотреться на теле человека и подчеркивать его преимущества. Если умело драпированное тело было почти совершенно прикрыто одеждами, то, например, колени или локти выступали из-под их складок, демонстрируя архитектуру тела владельца тоги. Как только человек совершал движение, складки на тоге сразу же меняли расположение. А если тога умело задрапирована, то изменение ее форм было гармоничным и рассчитанным заранее, что было настоящим доказательством ее элегантности. Римская тога была одним из самых ранних видов одежды, рассчитанных на ответную реакцию и отклик в созерцавшем ее человеке. Связанное с особенностями кроя удобство тоги способствует выражению страсти или иного порыва, что было столь необходимо ораторам, взывавшим к толпе с высоты роста.

Множество разновидностей тоги и ее вариаций в зависимости от требований моды показывают, что этот вид одежды мало менялся на протяжении веков. Развитие тоги требовало меньше выдумки, нежели, скажем, галльские

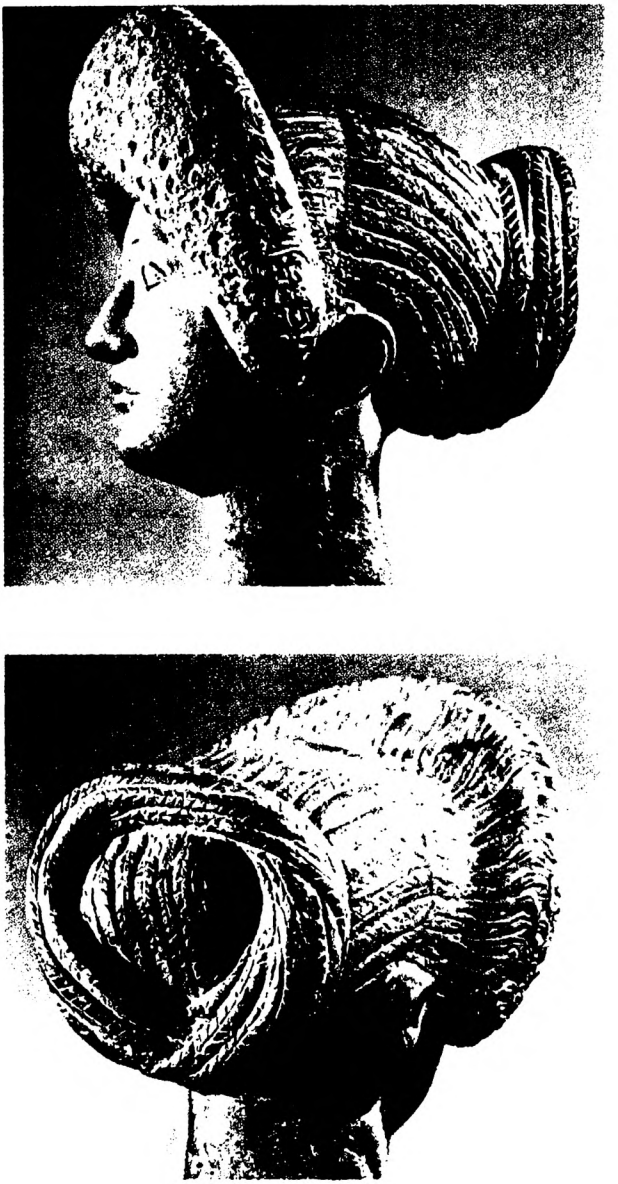
одеяния, которые во избежание проникновения холода облегали тело и оставляли меньше простора движениям. Но вариации одежды уже существовали в Риме, особенно в том, что касалось выбора тканей и их выделки. Нельзя не признать, что это разнообразие было связано с влияниями Греции и Востока. Самым распространенным материалом на Апеннинах была шерсть, что было связано с широким распространением овцеводства. Различные породы овец и способы их выращивания давали казне разнообразные виды шерсти. В античности различали овец с обыкновенной и тонкой шерстью. Если овца, наделенная шерстью обычной структуры, постоянно находилась под открытым небом, то овца тонкошерстная большей частью находилась в специальном помещении. Поскольку ее прихотливая и мягкая шерсть нуждалась в защите, овцу накрывали. Отсюда и ее прозвище – «одетая овца»[1]. Самых породистых овец разводили в Апулии, Калабрии, Таранте и Цизальпинском[2] регионах. Получаемая шерсть была различных цветов: белая, черная (наиболее ценившаяся), коричневая (канусийская[3]) или же рыжая[4]. Начиная со II века до н.э. Рим не ограничивался собственным производством шерсти, но и импортировал ее из Малой Азии, особенно из Милетского царства, где шерсть была высшего качества.

И если в первые века существования Рима единственным материалом для одежды была шерсть, то совсем скоро появилась плотная льняная ткань. Еще до начала поставок льняных тканей с Ближнего Востока лен стали выращивать в Этрурии, а точнее в Пицене и Кампании[5]. Побежденные римлянами самниты уже носили туники из льна. Поначалу в Риме использовали холстину в качестве материала для изготовления нижнего белья, но римлянки быстро изменили ее предназначение и стали делать из льна верхнюю выходную одежду. О существовании льна тонкой выделки, который отлично служил для изготовления как домашней одежды, так и шарфов и носовых плат-



Варианты ношения тоги. Реконструкция

Варианты ношения тоги и женские прически. Реконструкция



Скульптурный портрет римлянки. Ампурия. III в., Музей археологии, Барселона

Женский скульптурный портрет, выполненный в черном камне

Скульптурный портрет Нерона

ков, римляне узнали лишь после возникновения торговых связей с другими средиземноморскими странами. И не во времена ли Цицерона римляне познакомились с льняными носовыми платками, которые во время представлений держали в руке и, помахивая им, выражали свое мнение? Самые тонкие породы льна, названные морским шелком, были завезены в Рим из Египта, Сирии и Сицилии.

Шерсть и лен были основными материалами в период Римской республики. Тем не менее хлопок был известен уже ко II веку до н.э. Причиной начала поставок тканей были Азиатские походы. Хлопок был изобретен в Индии и окрашивался лучше остальных тканей. Но за исключением муслина эта ткань не использовалась для изготовления одежды. Хлопком чаще обивали мебель, и эта дорогая ткань быстро стала предметом роскоши[6].

Ко времени упадка Римской республики и тем более в эпоху Римской империи высшей утонченностью считалось ношение шелковых одеяний[7]. Долгие и изнурительные войны римлян с парфянами дали им возможность открыть для себя эту ткань. Вначале в Риме носили одежду, полностью состоявшую из шелка, потом одежду преимущественно из шелка, а затем стали смешивать шелк-сырец и лен. В Рим шелк доставляли из трех разных мест: из Ассирии, чей шелк высоко ценился за утонченность и за особый желтый оттенок[8], отличавший эту разновидность от белого китайского шелка; и, наконец, из Коса, где способы изготовления шелковой ткани отличались от ассирийской техники. Ассирийский шелк очень быстро вышел из моды, хотя ценился в начальный период существования Римской империи. Эти чрезмерно дорогие прозрачные, расписные и с вышитыми узорами ткани, изготавливавшиеся на кхосских мануфактурах, были воспеты многими поэтами и во времена правления Октавиана Августа почитались высшей роскошью[9]. Китайский шелк использовался как сырье: его смешивали со льном и хлопком, чтобы получилась содер-

жащая шелк и легкая, как газ, ткань, окрашивавшаяся во множество цветов. В первый век существования Римской империи она была чрезвычайно популярна в аристократических кругах, причем не только среди женщин, но и среди женоподобных мужчин, носивших одежду из этой ткани. Прибегнув к сенатус-консульту, Тиберий попытался запретить мужчинам ношение одежд из таких тканей[10]. Но следующий правитель Рима, Калигула, первым выставляет напоказ свои шелковые одежды[11]. Понемногу в Риме привыкли к популярности шелковых одежд. Так, например, в III веке н.э. император Элагабал предпочитал тяжеловесные одежды из восточных шелков. Но за его примером поспеть было не так уж и легко, ведь шелк был на вес золота! Но уже к III веку н.э. мода на содержащую шелк одежду популярна и среди женщин, и среди мужчин. В IV веке н.э. эта ткань была уже повсеместно распространена даже среди людей среднего достатка. Это дало повод святому Иерониму отметить, что того, кто не был облачен в шелка, могли принять и за монаха![12]

Насколько все ушло вперед по сравнению со временами Катона! Удивительно, что в самом Риме так и не стали выращивать шелковичных червей. Только в VI веке н.э. в Византии при императоре Юстиниане появились первые фермы по их разведению, которые превратились в крупный центр по производству шелка для всего западного мира.

Не одни женщины, как было принято думать, имели возможность оценить изысканность модной одежды. Мужская одежда, и в частности самый распространенный ее вид — тога, также претерпевала серьезные изменения.

Согласно законам моды менялось и нижнее белье. Обыкновенной носимой под тогой набедренной повязке (*subligaculum*) пришла на смену нижняя шерстяная туника без рукавов из цельного и прошитого по бокам куска тка-

ни. Туника не должна была спускаться ниже колен и носилась с ремешком. Начиная с III века до н.э. римские граждане стали носить под шерстяной туникой еще одну, тоже из шерсти.

В последние годы существования Римской республики исподние туники делали не из шерсти, а чаще из льна, хотя еще можно было встретить туники из шерсти, хлопка или из комбинированной ткани на основе хлопка и шелка. Туники из чрезвычайно тонких тканей появились в период Римской империи и окрашивались в зеленый цвет или же в любые оттенки красного – от бледно-розового до темно-коричневого.

Тога также менялась с течением времени. Само обозначение этого вида одежды означало «покрывало» и представляло собой кусок ткани из овечьей шерсти, которым укрывались ночью, а днем накидывали на плечи, чтобы защититься от холода. Исходя из своего первоначального названия, тога должна была быть тканым прямоугольником. Но за очень короткие сроки этот прямоугольник округлился и, таким образом, стал отличаться от греческого плаща[13]. Эти изменения были реализацией в сфере одежды архитектурных арочных предпочтений римлян, что произошло не без воздействия этрусской моды. У этого соседнего с римлянами народа крайне популярным была укороченная накидка. Именно такие укороченные накидки, найденные при раскопках этрусского города Цере, можно наблюдать на хранящихся в Лувре дощечках из коллекции маркиза де Кампана. Какой-то монарх, наверное, носил эту пурпурную «тебению» на левом плече поверх белой туники. Впоследствии, описанный вид тоги стал отличительным знаком патриция и одновременно военной и жреческой одеждой. Она видоизменилась и стала удлиненной. Как раз одним из самых ранних примеров такой тоги была тога, которую мы знаем по статуе Оратора (Аррин-

гатора), найденной в Этрурии и датирующейся последним столетием существования Республики[14].

Эта тога сшита по привычным римским лекалам. Кто бы ни носил тогу – власть имущий римлянин или же простой чиновник, – она стала символом римского гражданина.

На стыке эпох Республики и Империи размеры тоги увеличились до 5,6 м в длину на 2 м в ширину и представляли собой две пятых круга диаметром в 6 м. Учитывая указанные размеры, надеть тогу было задачей не из легких. Тога была призвана подчеркнуть благородство манер и движений римского гражданина.

Чтобы надеть тогу приличествующим образом, необходимо было взяться за длинный край сложенной правильным прямоугольником ткани, сложить ее складками и набросить тогу на левое плечо. Получалось, что часть ткани спереди ниспадала до ног одевшего тогу человека и прикрывала левую руку. Внутренняя сторона этой части тоги часто волочилась по земле. Испещренная складками задняя часть тоги закреплялась на правом плече с помощью специальной застежки, из-за чего сзади человек с головы до пят был сокрыт тогой. Теперь, чтобы тога держалась спереди, эту сложенную втрое часть пропускали под правой рукой, на бедре оказывалась еще одна группа складок, которую, в свою очередь, по диагонали откидывали на грудь и закрепляли на левом плече. Такое средоточие складок образовывало некое подобие пояса (*praecinctura*), который позволял оправлять одежду и, делая ее более элегантной, не должен был быть ни слишком затянут, ни слишком широк. Как раз для достижения этой цели треть передней части ткани складывали, тогда как оставшиеся две трети волочились по земле и формировали особый полукруг из складок, вид которого придавал одеянию особый шик. Эту ниспадающую группу округлявшихся на уровне правого колена складок римляне назвали «*sinus*». Самый край «си-

нуса» также приподнимался и перекидывался через левое плечо. Оставшаяся часть ткани, как было сказано, волочилась по земле. Чтобы эта часть ткани не мешала при ходьбе, ее приподнимали и затыкали за пояс (этот «прием» назывался «*umbo*»). Но все же особой элегантностью считалось, когда краешек передней части тоги касался земли. В обязанности гражданину вменялось не упасть, наступив на этот краешек тоги, как это однажды сделал Калигула ко всеобщей радости собравшейся в театре публики.

Квинтилиан[15] писал о манере носить тогу в период расцвета Республики как о показателе завершающей стадии развития римского общества, так как именно в эту эпоху тога стала официальной и парадной одеждой. Во времена Катона Старшего тога была меньших размеров и более облегающе сидела на теле, частично покрывая правую руку. Точнее, никакого подобия пояса еще не было, и ткань просто прикрывала грудь, а правая рука высовывалась из-под одежды. Именно так носили тогу посещавшие Форум[16] ораторы и молодежь. Затем, как говорят, Кай Гракх решил, что узкая тога стесняла его движения и не позволяла ему жестами дополнять красноречие. Так, желание Кая Гракха высвободить правую руку положило начало новой моды. Тога все еще покрывала плечи, но дополнилась «синусом» и ниспадающим спереди краешком ткани, что способствовало большей свободе движений. Внешний вид тоги от этого только выиграл. Следующее столетие означилось дальнейшим постепенным освобождением правой руки, когда ткань пропускалась под правым плечом, где держалась лишь благодаря фибуле, прикреплявшей тогу к тунике. Таков классический вариант тоги. Но тогу было крайне неудобно носить: прогуливавшиеся или же находившиеся на войне римляне завязывали узлом переднюю ее часть, перекинув остатки свисавшей ткани через левое плечо таким образом, чтобы образовавшийся захватывавший «излишки» ткани поясок предоставлял рукам полную

свободу движений и благодаря которому тога не спадала.

Итак, в эпоху процветания Римской республики мода сводилась к особой манере ношения тоги. Но мода является еще и средством самовыражения и неким языком одежды. До конца III века до н.э. тога имела сугубо функциональное предназначение, не была предметом искусства и одевалась для любых целей. И вот, под влиянием Греции и Востока, с новоприобретенным стилем жизни мода коснулась и одежды, и тоги в частности. В одежде появились изыски. Новая манера ношения тоги была своеобразным вызовом старым порядкам. Консервативно настроенные ораторы подчеркнуто прятали в тоге правую руку на старинный лад[17]. Напротив, те, кому пришлись по душе новые, более тонкие ткани с огромным усердием прилаживали складки на тоге и опасались, как бы уличная толкотня не разрушила архитектурную целостность их одеяния. Современник Цицерона оратор Гортензий считал, что «основа грации заложена в манере умело опоясываться тогой». Он тщательно готовил выходной наряд и, дабы тога сидела как надо, пользовался зеркалом. Гортензий смотрелся в него и так ловко располагал тогу на теле, что ни одна складка не была лишней, а, напротив, их расположение было скрупулезно продумано. Спереди он завязывал тогу узлом, а ниспадающую ее часть прикреплял сбоку. Как то раз он, будучи безупречно одет в свой наряд, встретил на галерее коллегу, нечаянно столкнулся с ним, и гармония его тоги была нарушена. Гортензий осыпал беднягу оскорблениями и назвал чуть смятые складки на плече уликой тяжкого преступления[18]. Хорошо сидящая тога свидетельствовала о солидности и спокойствии ее надевшего. Глядя на выставленную в Лувре статую Октавиана Августа, нельзя не отметить, какое значение он придавал правильному ношению тоги. Неудачно сидящая на теле тога говорила о неудачах ее хозяина, или же об обуревавших его страстях...или же,

наконец, о неумении носить тогу, как не умел ее носить Виргилий[19]. Если тога была узка и затянута, человека можно было обвинить в ретроградстве, а если, наоборот, небрежно стянута пояском, то выдавала распущенность нрава хозяина. Свободно тогу носил Юлий Цезарь...[20] Пурпурная по краям тога стала детской одеждой и формой магистратов. Искусство ее ношения начиналось, видимо, с обучения искусству ее надевать, оголяя правое плечо и показывая алую ленту, шедшую от грудной клетки до левой руки, где тога пересекалась с ниспадавшей частью ткани и образовывала на груди римлянина нечто похожее на букву «Т». Объем образовывавшей «синус» ткани позволял покрывать голову во время совершения религиозных обрядов, или же просто для защиты от солнца и дождя, а также для того, чтобы остаться незамеченным в толпе, или, наконец, перед лицом смерти, как это сделал Юлий Цезарь в курии Помпея в марте 44 года до н.э., когда понял, что жизнь должна была покинуть его тело там, среди заговорщиков.

Тога была средством выражения языка моды и ее жертвой. В ней отразилось развитие всего римского общества. Некогда коротенькая безыскусная накидка обитателей маленького селения на Лациуме, тога удлинилась, стала больше размером и менее угловатой по мере установления господства Рима, ставшего хозяином восточной части Средиземноморья. Отныне аристократы стремились носить одежду приличествующую их высокому социальному положению и вступили в заочный спор с правителями Рима. Тога приобрела более представительный и «театрализованный» вид, выиграла в элегантности, стала выглядеть по-царски роскошно. Такая эволюция тоги объясняет ее популярность и в эпоху Империи, когда она считалась одеждой для официальных церемоний. Одновременно тога стала более тяжелой и неудобной для ежедневного ношения.

Уже к закату Римской республики в обычной жизни тога сменилась незамысловатой и практичной греческой накидкой (*pallium*). Сципион Африканский вызвал настоящий переполох, поскольку опробовал ее одним из первых и положил начало новой моде. Греческое влияние на Рим сказывалось и в одежде.

Со временем мода на паллиум укоренилась в Риме, а тогу продолжали носить для официальных случаев. Квинтилиан свидетельствовал, что доходившая лишь до икр одежда уже никого не шокировала, и, напротив, настоящему гражданину негоже было облачаться в чересчур длинную тунику[22]. Историк также добавлял не без ехидства, что причины чрезмерно длинной тоги у Цицерона нужно было искать в оспинах на его ногах! Ювенал никого не удивил, заявив, что, кроме мертвецов[23], на большей части Апеннин тоги уже никто не носил. Мода на паллиум быстро распространилась на территории Империи. В Греции однако же было принято не делать различий между домашней и уличной одеждой. Благодаря прямоугольной форме греческая накидка состояла из косых линий, что делало невозможным полукруглый срез ткани, как на тоге. Таким образом, складки на паллиуме были совсем иного рода, чем на тоге: они были податливее к разнообразным манерам его ношения. Появлявшиеся из-за наличия пояса дополнительные складки оставляли римлянам широкое поле для разнообразия в одежде. В 209 году н.э. Тертуллиан посвятил этой одежде целый трактат, где было отмечено, что «римлянину не составляло труда без потери времени надеть паллиум, так как тот лишь прикрывает тело, не стесняя движений человека». Греческую накидку каждый мог надеть одним махом. К тому же паллиум делал движения свободными, не перетягивая человеческое тело и не заставляя следить за пристойным расположением складок.

В Риме длина мужского паллиума равнялась семи локтям. Правда, эта величина варьировалась в зависимости от

роста человека. Так, для человека ростом метр восемьдесят локоть составлял пятьдесят сантиметров. Римляне знали много способов по изменению вида накидки в зависимости от того, хотели они подчеркнуть постановку головы или же формы тела.

Половину ширины ткани, используемую в качестве накидки, называли «лациния» (*lacinia*). Лациния закреплялась на левом плече, а паллиум падал на спину и через левое плечо переходил на левую руку, так же как и параллельный лациний кусок ткани, постоянно норовивший стелиться по земле. Неудобство такой манеры ношения очевидно: практически не было возможности пошевелить правой рукой и, чтобы высвободить ее, требовалось задирать ее до подбородка. Описанная манера одеваться сохранилась лишь в провинции, а в столице была предана забвению. Жители Рима предпочитали продевать материю под правой подмышкой и откидывать ее на левое плечо, если пояс достаточно надежно придерживал остальную часть ткани. На фреске из дома свиданий в Помпее изображен человек в греческой накидке, за поясом которого с левой стороны спрятан кинжал. Следующий способ ношения паллиума был противоположен первым двум. Лацинию закидывали на спину через левое плечо. Далее свисавший спереди кусок ткани проходил под правой подмышкой или, на выбор, поверх руки и через спину оказывался на левом плече. Тертуллиан писал также о приеме фиксации ткани на правом плече с помощью застежки, что позволяло полностью закрывать шею. Наконец, некоторые противники описанных неудобств при ношении накидки или же не терпевшие стесненных движений люди откидывали паллиум за спину и продевали его подмышкой, а затем, вместо того чтобы откинуть свободный кусок материи на плечо, крепили его на талии в виде поддерживавшегося поясом валика. И у этой манеры ношения паллиума было множество вариантов.

Греческая накидка была далеко не единственным примером влияния иностранной моды на манеру одеваться в Риме, но перечислять все заимствования в одежде слишком долго. Можно отметить, что любой изобретенный за границей вид одежды в Риме становился практичнее. В других странах римляне встречались с людьми иной культуры, часто с рабами, носившими издавна принятую в Риме одежду. Так произошло и с верхней дорожной одеждой (*paenula*) погонщиков мулов или работавших под открытым небом рабов, которую в Риме стали носить все слои общества, мужчины и женщины, в особенности путешественники. Пенула представляла собой нечто среднее между плащом и накидкой, достаточно плотно прилегавшей к телу и надежно защищавшей от непогоды. Зафиксировать ее по всей длине можно было лишь единожды, и это было главным неудобством. Человек ощущал себя настоящим узником, так как рукава предусмотрены не были, отчего руки всегда находились под накидкой. Римлянин мог вылезти из подобного заточения только с помощью раба. По причине непрактичности этой накидки многие испанцы, германцы и галлы предпочитали носить сагум разнообразного кроя и цветов. В Риме, согласно требованиям моды, сагум также видоизменялся и окрашивался в другой цвет. В целом сагум был похож на просторную накидку с прорезью для головы, которую через голову и перебрасывали на спину. Также были сделаны прорези для рук и капюшон. Этот вид одежды был гораздо практичнее пенулы и на долгие годы стал основной одеждой воинов и сельских жителей.

Также стоит сказать два слова о дорожном платье с капюшоном — лацерне (*lacerna*). Она была легка и хорошо смотрелась. Лацерна появилась лишь в I веке до н.э. и носилась поверх тоги. Она была своеобразной элегантной версией сагума. Ее делали из разных более или менее тонких материалов. В Риме часто подшучивали над людьми в

чересчур тонких лацернах. Октавиан Август запретил появление на Форуме в этом одеянии – оно было слишком ярким, например белым или пурпурным. Цицерон упрекал кандидата на пост консула и начальника конных войск Антония в том, что тот проехал по всей Галлии, будучи одетым в лацерну. Постепенно она стала неотъемлемой частью гардероба римлянина, хотя уже при правлении Адриана редкий сенатор в нее облачался[21]. В Риме было множество других видов появлявшейся, а затем выходившей из моды верхней одежды, но все это многообразие, обогнавшее по популярности даже римскую классическую тогу, наводит на мысль, что мужская одежда не дала миру уникальных и вневременных образцов. Хотя, несмотря на меньшее число наименований одежды в сравнении с нашим временем, золотой фонд римской моды постоянно пополнялся и отличался разнообразием. И еще ничего не было сказано о куртизанках! В первые годы существования Рима женщины, подобно мужчинам, носили тогу, то есть они покрывались обычным незатейливым куском материи. В то же время женщины носили длинное платье, столу (*stola*), поверх туники, которая, в свою очередь, сидела поверх набедренной повязки и поддерживавшей грудь ленты, строфия (*strophium*). Стола была разновидностью длинной туники с короткими рукавами, подвязывавшейся поясом. Уже сама этимология названия этой одежды указывала на ее греческое происхождение, хотя вычислить точную дату, когда римские женщины стали носить столу, невозможно. Она была белого цвета вплоть до Второй Пунической войны. Поверх столы матроны надевали простое на вид и крепившееся на голове покрывало, которое укутывало женщину целиком и свободный кусок ткани которого она откидывала на руку или на левое плечо.

Традиция ношения столы римскими матронами оборвалась лишь в конце III века до н.э. Характерный для Рима аскетизм в одежде не мог выстоять перед натиском грече-

ских мод, заполнивших гардеробы римлянок бесчисленными вариациями туник любых цветов. С начала II века до н.э., в период увлечения греческой культурой, Плавт смеялся над новой модой, выражая свое отношения к ней устами раба Эпидика, который расписывал некоему старику пестрый внешний вид любимой его сыном девушки. «Туника этой девушки была сродни *водостоку* (тут раб употребил популярное у женщин словцо)». Говорил так раб потому, что квадратный кусок ткани на спине напоминал по форме место для стока воды, а ведь женщина носила такую тунику везде, даже в приемных покоях или гостиной! Плавт ехидно прошелся по вечно меняющемуся лексикону, призванному помочь женщине точнее назвать свои наряды: туники из тонкой ткани, из плотной материи и из батиста с бахромой – прапрабабушки современных блузок, расшитые туники, туника нежной расцветки, шафранные туники, туники с коротким и длинным обрезом нижнего края, туники с лентами, по-царски роскошные туники, заморские туники, колышущиеся туники, туники в перьях, туники сероватого цвета или цвета меда (и так до совсем уж желтушного цвета!). В своей речи Эпидик мог бы назвать еще множество видов, например лаконийскую тунику (по названию области в Спарте, также знаменитой разводившимися там собаками). Веселый раб заметил по этому поводу, что «туники, должно статься, назывались так по породе собак![25] И именно все эти бесконечные названия принуждали мужчин растратить состояние и пустить его с молотка».

Римляне располагали огромным выбором одежды, и уже никто не желал носить платье из грубой шерсти. Женщины теперь носили схожую с мантией паллу (*palla*), эквивалент пришедшего из Греции на смену тоге мужского паллиума. И если паллиум был семи локтей в длину, то римлянки делали палии из куска ткани длиной девять локтей,

что давало им свободу импровизации в манере ношения этой одежды. Излишек ткани оборачивался вокруг талии, шел по спине и заканчивался спереди. Конец ткани закреплялся на левом боку, а основная часть излишка оставалась спереди. Особо изощренными были украшающие паллу элементы, как то перекидывавшаяся через левое плечо прозрачная ткань (*licinia*). Необходимо было избежать продевания ткани под правой рукой, поскольку единственной возможностью элегантно высвободить верхнюю часть тела было пропустить ткань под левой рукой и вести ее в виде широкой складки к правой руке, а затем перекинуть за спиной на левое плечо ниспадавший на грудь остаток материи. Женщина даже могла прикрыть лицо, проведя остаток ткани на уровне шеи. Вот лишь два варианта из бесчисленного множества способов надевания длинной паллы. Очевидно, что свобода, отпущенная женщине на формирование стиля одежды, способствовала ускорению перемен в мире моды, во всяком случае в том ее аспекте, который касался манеры ношения паллиума или паллы. Изобретения одной увлеченной женщины было достаточно, чтобы аристократия убедилась в необходимости принятия новой эфемерной моды.

Связанные с надеванием и ношением столы или паллы неудобства побудили женщин к желанию отказаться от них. Тиберий был вынужден объявить кампанию против появлявшихся на людях *не* в столе матрон[26], но предписания моды были жестче любого закона, и приказ Тиберия исполнялся далеко не всегда. Известно, что к III веку н.э. в женских гардеробах палл уже не было, а в указе Диоклетиана от 301 года н.э. слово стола также не употреблялось. Пришло время двух типов туник — далматской и колобиума (*colobium*), являвшегося безрукавным вариантом первой из них. Вместо тоги или греческой накидки такие туники носили представители обоих полов. Опять же двигателем

моды был выбор ткани: помимо льна и шерсти, все более широкое применение находилось для хлопка и шелка. В IV веке н.э. на смену верхней накидке пришла одежда из толстой теплой материи, названная накидкой с капюшоном (*cucullus*) или плащом с капюшоном (*caracalla*). Последний вид одежды был обязан своим названием не снимавшему капюшон императору, который явно способствовал его популяризации.

Помимо множества разновидностей туник и способов ношения плаща, влияние моды выражалось еще и в выборе цвета для одежды и особенно распространенных среди женщин украшений. Раскрашивать одежду стали под воздействием греческих и прочих восточных традиций во II веке до н.э., когда применение в одежде богатой цветовой гаммы вызывало огромный интерес. Овидий прекрасно писал о цвете: «Когда над головой безоблачное небо, а теплый ветерок, идущий с Запада, не предвещает дождя»; цвет «подобный морской воде, которому именно море дало имя *cumatilla* (от греч. слова, означавшего море)»; цвет, навевающий ассоциации с «шафраном, пафосскими миртами, фиолетовым аметистом, увядающими розами, тракийскими журавлями»; цвет, «подобный цвету желудей и миндаля». «Пока земля рождает цветы, пока продолжает пробуждаться по весне виноградная лоза и прогоняет наводящую сон зиму, — до тех пор шерсть будет пропитываться всеми мыслимыми и немыслимыми расцветками». Цвет должен был выбираться с особой тщательностью, так как каждый цвет был глубоко символичен и должен был быть в гармонии с законами цветовой гаммы. Черный удачно сочетался с ослепительно белым, а белая одежда очень к лицу женщине с очень темными волосами. Забота о красоте — одно из завоеваний моды. Но два цвета в Риме проходили «вне конкурса», возможно, по причине их дороговизны. Носить одежду этих цветов означало, по мнению Овидия, благово-

ление фортуны и сулило еще большее богатство. Это были пурпур и золото. И, скорее всего, именно высокая цена обеспечила этим цветам долгую жизнь в авангарде моды. Пурпурные ткани были давно известны римлянам и в избытке присутствовали на торжественных трабеях. Но в ту пору речь шла лишь о пурпурных тканях местного производства. Результатом восточных походов стала добывавшаяся при использовании специальной техники широкая гамма оттенков финикийского пурпура, от светлых тонов до насыщенных. Ткань из Тара стала предметом коммерции. В Риме открылось множество мастерских и лавок, призванных отвечать запросам аристократии. Финикийский пурпур превратился в модный предмет роскоши. Множество мужчин и женщин разорились на этом деле. Юлий Цезарь был вынужден силой закона принять меры против дальнейшего распространения пурпурного помешательства[28]. Октавиан Август предписал ношение одежды этого цвета только магистратам. Нерон вообще запретил использование этого цвета в одежде. Никакие из названных мер не помогли. Как-то Нерон пел перед публикой и заметил среди собравшихся одетую в запрещенный цвет женщину. Он приказал прилюдно раздеть ее и конфисковать имущество[29]. Объемы продаж пурпурных изделий постоянно росли. Наконец, императоры рассудили, что им было невыгодно существование множества красилен. И с 383 года н.э. производство пурпурных изделий было монополизировано государством.

Золотое шитье было издавна известно и людям с Востока[30], и жителям Апеннинского полуострова. Тарквиний Старший, по легенде, носил одежду расшитую золотой нитью[31]. При Октавиане Августе были в моде ткани из Коси, прошитые золотом[32]. Нерон был погребен в белом саване, расшитом золотой нитью[33]. Тем не менее одежда с золотой нитью была непревзойденной роскошью, и цены ставили

ее вне моды. Римские историки описывали как нечто из ряда вон выходящее посещение императрицей Агриппиной навмахий на озере Фукин, поскольку на ней была одежда из чистого золота без примесей иных тканей[34].

За меньшую цену римляне могли позволить себе носить вещи из шерсти, льна и шелка, на которых были изображены геометрические фигуры, круги, продольные и поперечные полосы, квадраты, ромбы... Овидий советовал бледным женщинам носить что-нибудь яркое[35]. Расшитые ткани из Египта или с Кипра в прямом смысле слова стали образцом для подражания для ремесленников из Кампании. Один из героев комедий Плавта до такой степени избил хлыстом своих рабов, что их бока уподобились драпировкам из Кампании[36]. Основные сюжеты росписей на одежде были навеяны поэтическим взглядом на мир: цветы, растения, невиданные животные, посвящения[37], портреты, пейзажи... На тканях изображались события истории Древнего мира. Например, на одежду могли быть перенесены скала Марса над крепостью властителя Аттики Кекропса... Или двенадцать римских богов с серьезно-возвышенным видом сидели в высоких креслах и внимали Юпитеру. Верховный бог изображался как настоящий повелитель, Нептун стоял подле него и бил трезубцем о крутые скалы, из расселин между которыми брала свое начало вода морей. Сюжетов было множество, и все были «красочно оформлены»[38]. В гардеробе римского гражданина расшитых вещей было не меньше, чем одежд с золотыми нитями. Некоторые из найденных при раскопках фрагментов одежд датируются совсем ранними веками, поскольку этрусский чиновничий аппарат был «экипирован» расшитыми и расписанными нарядами. Мода на такой тип одежды была привезена с Востока, из Вавилона и из Александрии[39], оформление тканей было двух типов: похожее на живопись и на орнамент. Последний тип вышивания

был характерен, скорее, для ковров и обивки мебели и предметов домашнего обихода, но встречался и на официальных одеждах, как то на тогах триумфаторов или на одежде, надеваемой при возведении в императорский сан[40]. Иногда даже императорская тога украшалась, к примеру, маленькими листьями из золотых чеканных пластин и прикрепленных к ткани согласно известной в Этрурии восточной технике. На других тканях красовались галуны, часто в несколько рядов к ним пришивались всевозможные ленты. Естественно, что речь шла именно об упомянутой детской или магистерской, отделанной пурпуром одежде. Ленты (*clavi*) стали отличительным признаком различных социальных групп. Сенаторы носили широкие ленты (отсюда особое название для их тоги – *laticlavus*), конные воины – ленты поуже (*angusticlavus*)[41]. Разнообразные ленты окаймляли края женских туник и накидок, самые богатые носили ленты с золотой нитью[42]. Полы одежды наиболее зажиточных аристократов были пронизаны золотым шитьем или комбинацией золотой нити и пурпура по образцу костюмов восточных царей[43].

Пришедшая с Востока роскошь выделки и оформления нарядов, наверное, частично объясняет удивительный феномен: мода республиканского Рима не предполагала ношения одежды из кожи и меха – тогда их не представляли в качестве материалов для отделки одежды. Лишь только Варрон в I веке до н.э. развивал кожевенное дело, служившее обустройству домашнего очага (покрывала, ковры...). Во времена Империи развивалось скорняжное дело, тонкая выделка мехов. Шкурки и меха отныне складировались в специально отведенных помещениях. Там хранились бычьи, козьи, овечьи, гиеновые, оленьи, волчьи, лисьи, леопардовые, львиные шкуры, шкуры ягненка и дикого барана, а также финикийский и вавилонский сафьян. Таков перечень отделочных материалов из указа Диоклети-

ана конца III века н.э. Столь популярные в Средние века меховые изделия проникли в Рим лишь в V веке н.э. как следствие набегов германских племен и были запрещены в качестве одежды в 416 году н.э. Но все же главным препятствием для восприятия римлянами кожаной и меховой одежды был климат.

Кожа широко использовалась для изготовления обуви. Существовало огромное количество сандалий, туфель и сапог, подобно одежде видоизменявшихся согласно требованиям моды. Так, форма и внешний вид сандалий делались по греческим образцам, где не было различий между правой и левой ногой. Были сандалии финикийские, галльские и вавилонские, на тонкой и толстой подошве, домашние или походные, подбитые мехом или нет; белые или пурпурные, наконец, золоченые... Сандалии застегивались на кожаные ремешки и в них нельзя было появляться перед публикой, хотя так поступали Сципион Африканский (на Сицилии)[44], Тиберий (на Родосе)[45], Германик[46] и Калигула[47]. Цицерон клеймил носившего сандалии в сочетании с пурпурной накидкой и ниспадавшей до пят туникой римского собирателя податей и налогов Гая Верреса[48]. При императоре Адриане сенаторам было запрещено носить сандалии[49].

Благородство аристократов предписывало им ношение туфель (*calcei*) в сочетании с тогой. Иерархия ношения туфель соответствовала иерархии общественной. У патрициев они были из красной кожи, закрывали пятку и застегивались на изогнутую пуговицу из слоновой кости. Неизвестно, где именно располагалась эта пуговица. Известно только, что эта пуговица была символом патрицианства в период Римской республики. Так, не имевшие права прикреплять ее к туфлям сенаторы носили ту же обувь, но уже без символичной пуговицы. Но по мере развития политических институтов и разрушения политических традиций,

когда некоторым плебеям было позволено занимать высшие должности в магистратуре, пуговица из слоновой кости появилась на туфлях у всех курульных магистратов. В имперском Риме эта пуговица стала знаком отличия, и награжденный ею римлянин был в милости у императора.

Помимо перечисленных видов обуви, в Риме также носили пероны (*pero*), о которых писал Катон как о повседневной, закрывающей щиколотку обуви, очень удобной для прогулок по сельской местности. Во времена Империи настал черед моды на открытую обувь со шнурками (*campagus*): она шилась из черной кожи и закрывала лишь переднюю часть ступни, а сзади на ноге ее стягивали завязки. Для путешественников, погонщиков мулов, охотников и крестьян существовали различные виды довольно грубых сапог, часто на подбитой гвоздями подошве. В эпоху заката Империи туфли сменились на завезенные из Парфянского царства изящные сапожки из красной кожи, поднимающиеся до самых колен. Название этого вида обуви сохранило кушанскую этимологию – *zancae*. Таким образом, мужская обувь почти не менялась на протяжении веков. Со временем к традиционной римской обуви добавились греческие сандалии, постепенно ее вытеснявшие, в результате чего римская обувь стала носиться только на официальных церемониях.

Те же изменения происходили и с женской обувью, поначалу мало отличавшейся от мужской. Мода делала облик римской женщины более утонченным, и грубоватые сандалии она уже носить не могла. Туфли из мягкой кожи должны были облегать ее ножку. Овидий отмечал, что «ступня не идеальной формы должна быть спрятана под тонкой белой кожей обуви, а ножки с сухой кожей должны были быть обтянуты лентами»[50]. К тому же туфли украшались вышивкой по шелку, драгоценными камнями или жемчугом. Значение обуви как одной из основных составляю-

щих моды утвердилось в период Римской империи. Мужчины и женщины продолжали носить примерно одинаковую обувь, которая соперничала в элегантности с пелопоннесскими красными или позолоченными моделями. Императоры приказывали осыпать обувь драгоценностями. Подобные изыски лишь способствовали укоренению чужеземных мод в Риме. Хотя стоит признать, что отдельные детали развития обувной моды до наших времен не дошли.

О других элементах внешнего вида сохранилось больше свидетельств. В этой области не было такого множества взаимопроникающих тенденций, как в случае с верхней одеждой. Например, современному исследователю легче проследить эволюцию причесок, поскольку фигурные изображения дают о ней больше представления. Кроме того, на помощь приходят многочисленные тексты.

Со времен Сципиона Африканского и Пунических войн стало модно бриться, и эта традиция продержалась очень долго. По легенде, Сципион был первым, кто брился каждый день[51]. Это занятие прочно вошло в моду именно благодаря его авторитету, так как веком ранее в Рим приезжали сицилийские цирюльники, но не смогли разбогатеть. Мода на бритое лицо пришла из Греции, где она зародилась незадолго до этого, первым стал бриться Александр Македонский. А покоритель Сиракуз Марцелл стал первым изображенным на монете выбритым правителем. Кстати, мужчины начинали бриться только по достижении сорокалетнего возраста с целью выглядеть моложе и следить за своей личной гигиеной. Правда, некоторые молодые люди начинали бриться «с первым пушком», а некоторые, наоборот, не брились, чтобы пушок на их щеках мог выглядеть, как настоящая борода у взрослого мужчины. Обряд сбривания первой бородки (*barbae depositio*) пришел также из Греции: виновником торжества был, как правило, двадцатилетний юноша[52], а его бороду приносили в жерт-

ву богам Ларам. Церемонию завершали всевозможные празднества. Затем молодые люди должны были ухаживать за вновь отросшей бородой до сорока лет[53]: вызовом обществу считалась косматая или не сбритая в определенном возрасте борода. Неухоженная борода могла быть знаком печали или траура. Так поступали Катон Утический после поражения при Тапсе[54] и Октавиан после размолвки с Секстом Помпеем: они рисковали тем, что их станут сравнивать с философами, поскольку только последним разрешалось носить длинную бороду. Такое положение вещей сохранялось до II века н.э., когда император Адриан возродил старинную моду носить бороду. Он сам отпустил бороду, чтобы скрыть уродства на лице. Борода была в моде до времен правления императора Константина: спустя годы Юлиан вновь ввел моду бриться.

Проследить развитие мужской стрижки можно, просто посетив в музее зал античного искусства и взглянув на мужские бюсты разных лет. В ранние времена о прическе заботились мало – она была длинной и неаккуратной[55]. Об этом свидетельствуют древние статуи бородатых мужчин с лохматыми волосами[56]. Мужская прическа времен классического античного Рима предполагала открытый лоб и подбритый затылок, волосы были короткие и прямые. Но уже в последнее столетие существования Республики люди не стеснялись делать завивку с помощью прообразов современных бигуди (*calamistrum*): в полый, наподобие тростника, стержень вставлялся другой разогретый на углях стержень[57]. К примеру, Габиний, чьи волосы были искусно накрашены, а на челке свисали пропитанные духами завитки[58], вызывал презрение сограждан, которым была чужда многоэтажная постройка из локонов у него на голове. Овидий призывал «держаться подальше от мужчин, каждый волос которых был пригнан к четко означенному месту на голове»[59]. Сенека также ополчился на тех, кто «часами си-

дел у парикмахера, который выщипывал все, что проросло прошлой ночью, который работал с каждым волосом в отдельности, который взлохмаченные волосы делал прилизанными, который на челке строил в ряд еще недавно разбросанные пряди. Какой гнев могла бы вызвать недостаточная внимательность парикмахера к стригущемуся римлянину! Как покраснело бы лицо клиента, если бы ему срезали чуть больше волос, чем следовало, если что-то было не так, если стрижка была чуть неровной! Сколько людей предпочло бы пережить государственный переворот, нежели стерпеть неудачную стрижку!»[60] Для обычного римлянина времен Республики подобные персонажи были чересчур трепетно относящимися к моде белыми воронами. Первые римские императоры также были непритязательны в прическах, и лишь Нерон делал завивку и позволял себе носить длинные волосы[61]. Но это было простительно, ведь, появляясь перед публикой с длинной стрижкой, он более походил на Аполлона... В первой половине II века н.э. прически стали более изысканными, а завивка волос – более распространенной. Но уже во второй половине того же века мужчины, следуя заветам стоиков, носили короткие и простые стрижки. Точно так же поступали и первые христиане. Итак, мужская стрижка на греческий манер проникла в Рим во II веке до н.э. и не сильно менялась с течением веков. С женской прической все обстояло иначе.

Во времена Римской республики женщины стриглись по-простому. Незамужние девицы собирали волосы в пучок на затылке[62]. Такая прическа пережила и Республику, и Империю, а первые отцы церкви рекомендовали ее еще не вышедшим замуж девушкам и истинным христианкам[63]. В день свадьбы прическу меняли: с помощью специальных закрепляющих булавок волосы заплетались в шесть кос, поддерживавшихся лентами, которые обматывались вокруг головы невесты. Такую прическу носили и весталки –

она символизировала целомудрие. Женщины также захватывали волосы спереди специальными лентами и откидывали назад, где их поддерживал узел завязанной ленты. Косы вошли в моду в период расцвета Республики. Но чем ближе к упадку приближался Рим, тем быстрее множилось количество причесок, и уже нельзя было распознать, была ли мода на ту или иную прическу, или же она являлась плодом фантазии хозяйки. При Траяне мода на завитые волосы сменилась модой на косы. В свое время Плавт принял бы за куртизанку или иностранку женщину с завитыми волосами; а при Юлии Цезаре количество завитков на голове по моде тех лет все увеличивалось и служило прекрасным обрамлением лица. Постепенно букли отвоевали пространство на лбу, на висках, на затылке, прежде чем превратились в постоянно растущее искусно выполненное сооружение, часто напоминавшее по форме диадему. Крайняя эксцентричность причесок была в моде в период нахождения у власти представителей рода Флавиев во второй половине I века н.э. Ювенал однажды воскликнул по этому поводу: «Какая многоэтажность! Какой грандиозный архитектурный ансамбль, водруженный на голове!»[64] На самом деле подобные прически создавались не только для парадных случаев, но при этом оставались уникальными, по Овидию, каждая женщина должна выбрать себе прическу, чтобы подчеркнуть свою красоту и достоинство[65]. Многие типы причесок, особенно удачно гармонирующих с лицом, воспевались поэтами. Женщине с удлиненным лицом шли прямые, собранные на лбу волосы, женщина с округлой формой лица старалась сузить его, смастерив на лбу некое подобие гнезда волос. Одна свободно отпускала волосы до плеч, другая собирала их в сеточку, испещренную индийскими жемчужинами[66]. Кто-то из женщин разбивал челку на мелкие кудряшки, а кто-то предпочитал, чтобы большие, подобные морским волнам, пряди покоились

на груди. Кому-то нравилось укладывать волосы в сеточку из золотых нитей, а кому-то хотелось перевязать их пурпурной лентой. По выражению того же Овидия, довольно утомительным занятием было бы перечисление причесок: «...как нельзя перечислить всех желудей, гиблийских пчел, альпийской дичи, так и я не перечислю всех видов причесок»[67]. Чрезмерное и нездоровое воодушевление вокруг моды на прически несколько успокоилось при императоре Траяне. Женщины теперь довольствовались косами, обвивающими двойным или тройным кольцом голову, подобно короне или чепцу. Во II веке н.э. ажиотаж вообще сошел на нет. В следующем столетии в моде были распущенные, прикрывающие уши волосы[68], и только в IV веке н.э. высокие прически вновь стали популярны, вошли в моду украшенные драгоценными камнями и жемчугом парики.

По очередному свидетельству Овидия, парики носили с самых первых лет имперского Рима, и их продавали даже на Марсовых полях[69]. Возможно, они были завезены из Египта, где парики уже прочно вошли в обиход. Парики были небольших размеров — для придания пышности прическам или для того, чтобы скрыть недостаток волос. Были и настоящие «полноразмерные» парики, покрывавшие абсолютно лысые головы, седину или... волосы черного цвета, поскольку в начале существования Империи в моде были светлые волосы, а сами римляне были в основном темноволосые. Отчаянные головы перекрашивались в модный цвет с помощью галльского мыла — смеси козьего жира и золы бука[70]. Некоторые предпочитали поверх собственных волос носить настоящие, привезенные из германских земель волосы, которые они, не стыдясь, покупали втридорога[71]. Любая модель парика была хороша, если она соответствовала устремлениям модников. Известен был не самый удобный для ношения парик в виде перевернутой виноградной грозди[72]. Разве не рассказывает нам

Ювенал о жене Клавдия I Мессалине, например, о том, как она тайком покидала своего августейшего супруга и утоляла свои желания в публичном доме? Дабы остаться незамеченной, брюнетка-императрица прятала волосы под белым париком[73].

Римлянке не было достаточно нарядов, обуви и прически, чтобы почувствовать себя достаточно модной женщиной. Еще необходимо было следить за фигурой и цветом кожи. Выбранные ткани и материалы должны были точно соответствовать форме тела женщины. Ткани широкого покроя и объемная в плечах одежда подходила субтильным женщинам. Брюнетки хорошо смотрелись в белых одеяниях. Пестрые оттенки делали бледные лица выразительнее. К тому же на помощь всегда приходили маленькие подушечки, регулировавшие верное соотношение пропорций тела. Со времен упадка Республики пышная грудь считалась дурным тоном[74], и корсеты были призваны уменьшать ее объем. Воспевался молочный цвет кожи. До чего же была противоречива мода в этом солнечном краю! Она требовала затраты больших усилий и множества искусных уловок. Хорошо еще, что отбеливающих помад и мазей было в избытке, подобно мази, приготовленной на основе экскрементов крокодила, или свинцовым белилам, полученным из остаточных материалов расплавленного родосского свинца[75]. Женщине оставалось лишь избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей, из-за воздействия которых белила закипели бы прямо на теле. Воздействие солнца не влияло пагубно на смешанный с кислотой мел, но предательский ливень обращал эту смесь в текущие потоки, показывая остальным признаки преждевременного старения. Женщины с бледным лицом приняли бы близко к сердцу подозрения, будто они, желая подражать свежести ушедшей молодости, использовали красноватую накипь селитры... «И не стыдитесь подводить глаза тонким кусочком

пепла или шафрана, рожденного на берегах Кидиуса (Кидиус течет в Силиции и орошает Тарс)[76]. Желая сохранить свежий цвет лица и борясь с появлением морщин, женщины пользовались всевозможными чудодейственными мазями и настоящими припарками на ночь. Неплохим средством считался смоченный хлебный мякиш, но разве что-либо могло сравниться с пластырем из толченых высушенных яиц и ячменной муки с добавлением молотого рога убитого по весне оленя, винного камня, луковицы нарцисса, пшеничной муки и меда?.. Вот отчего бедный Ювенал воскликнул, что «рядом с мужем находилась уже не лицо любимой женщины, а настоящее язвенное воспаление!» К счастью, эпоха правления Октавиана Августа подарила римлянке менее бесчеловечные средства по уходу за собой, как то молоко ослиц, очень быстро вошедшее в употребление. Не о жене ли Нерона, Поппее, шла речь, когда рассказывали, что для принятия ежедневных ванн за ее свитой всегда следовал эскорт из пятисот ослиц? Но даже если женщина, как некая Максимина, была увенчана белоснежным париком, если ее щеки были молочного цвета, а брови подведены углем, при наличии трех зубов древесно-блошиного цвета, ее уже ничего не могло спасти...[77] Кроме, конечно, золотых коронок, золотой же нитью крепившихся к зубам, которые достойным образом заполняли пустоты у нее во рту. А порошок из пемзы и толченых роз, чернильного ореха и мирры прекрасно отбеливал останки белозубой улыбки.

Теперь об ароматах. К чему было делать себе прическу, макияж, выщипывать волосы на ногах, вставлять золотые коронки, если подмышками сохранялся невыветриваемый козлиный запах[78]. Об этой проблеме много писали в последние годы существования Республики и в первые годы установления императорской власти. В отличие от старых допунических времен, с проникновением в Рим

греческой культуры к правилам гигиены и к борьбе с потоотделением стали относиться как никогда серьезно. Во избежание неприятного запаха во рту римляне, подобно французским дворянам, посещавшим салоны в XVIII веке, сосали гвоздичные леденцы, пропитанные вином кусочки мастикового дерева, плющевые ягоды или же ароматические смолы. Что до духов, то на них спрос был велик со времен самых первых контактов Рима с восточными странами. Такое «помешательство» привело к тому, что в 189 году до н.э. цензоры приняли закон о запрещении пользования духами, так как восточный мир был для них синонимом распущенности и упадка[79]. Схожее постановление было принято и век спустя, и снова выполнялось явно нерегулярно. Пик увлечения духами пришелся на начало Римской империи. Уже во времена Плавта восточные благовония заполонили высшее общество. Варьировались география мест, откуда был завезен тот или иной аромат, и престиж тех или иных духов, в зависимости от их качества и степени их модности. Так, коринфский ирис в условиях жесткой конкуренции сдал позиции ирису фиванскому. Мода на колхидские розы сменилась модой на розы неаполитанские (Неаполь славился выращиваемыми там розами). Лидером продаж среди римлянок (и римлян тоже) были духи из сицилийского шафрана, затем из шафрана родосского, или из цветущей кипрской виноградной лозы, или из косийского майорана, или из пришедшей майорану на смену косийской айвы.

Все эти ароматы не были похожи на те, что известны в наши дни. Чаще по своей консистенции духи были более густыми и обладали большей плотностью, так как к источнику запаха добавляли растительное масло, смолы, растительный клей. Чем гуще было применяемое масло, тем дольше держался желаемый аромат, так что качественными духами скорее натирались, чем душились. Нужно еще

учесть, что большинство ингредиентов для их изготовления добывалось, за исключением роз, масел и вина, не в Италии. Именно этим фактором объяснялась дороговизна духов и колебания цен на них. Например, составляющие духов с ароматом корицы были исключительно ввозимыми продуктами: корица, кинамон, специальные масла, древесные смолы, аир, благоухающий тростник, почки бальзамического тополя, ароматические смолы, ароматизированный мед... Это были одни из самых стойких ароматов, и их цена достигала трехсот динаров (более трех тысяч франков)! Более распространенными и менее дорогими были духи с экстрактом розы на основе омфациона (из особого масла, незрелого винограда или оливок), лепестков розы, шафрана, киновари, аира, меда, благоухающего тростника, мелкой соли (алканны красильной) и вина. Даже для самых непритязательных духов ингредиенты приходилось везти из Александрии. В эпоху, когда республиканский строй сменился имперским диктатом, пришло время духов, ввозимых из Египта, и в особенности снискавших большой успех метопионовых духов, состоящих из горького миндального масла, омфациона, кардамона, разновидностей благоухающего тростника, меда, вина, ароматических смол, почек бальзамического тополя, гальбана и терпентина. По мнению римлян, в том числе и Плиния, духи являлись высшей роскошью благодаря их неуловимой сущности, улетучивающейся и ничего за собой не оставляющей. Плиний также добавил, что «примером наиэффективнейшего воздействия духов была бы ситуация, когда струйки ароматов, источаемых проходящей женщиной, завлекали тех, кто до этого момента был занят своим делом»[80]. Подобная роскошь даровала окружающим наивысшее наслаждение, так как надушенный человек аромата не ощущал. Эта роскошь стоила в среднем 40 динаров (500 франков) за ливр (римский ливр весил 327 г). Вот истинная себестои-

мость моды. Не обладая огромным состоянием, Нерон приобрел привычку душить ступни ног, тогда как некоторые богачи додумались надушивать стены ванных комнат привезенными с края света духами. Такое отношение к духам и ароматам было крайне выгодно римским парфюмерам, таким, как Космос Марциал[81].

Наконец, женщина не была по-настоящему одета без украшений. Общественный и научный прогресс не влиял на их производство, их начали делать с момента появления первых цивилизаций. По сути своей, украшения всегда оставались модной вещицей, наглядно отображавшей степень культурной зрелости нации. С давних пор римляне носили перстни, браслеты, цепочки, колье и кулоны. Помимо функционального предназначения, фибулы на одежде выполняли роль украшений, приобретая все более приятный глазу облик. В первые десятилетия существования Римской республики аристократия была поражена настоящей золотой лихорадкой, и покончить с ней, в связи с возросшими во время Второй Пунической войны расходами, был призван упоминавшийся ранее Оппиев закон, который был отменен только под нажимом со стороны прекрасной половины римского общества. Производство изделий из золота развивалось, испытав влияние разных стилей и течений, например египетское влияние в начале I века до н.э. Чем благоприятнее были условия для обогащения знати, т.е. чем удачнее завершались военные кампании, тем разнообразнее становился рынок драгоценностей. Как раз после победы Помпея над войсками Митридата[82] модным стало применение жемчуга и драгоценных камней. Бриллиант был и оставался самым дорогостоящим камнем, а значит, до определенного момента не мог быть модным. В те времена был известен лишь один случай огранки алмаза для перстня, подаренного Беренике родным братом ее возлюбленного, Тита[83]. Пред-

ставляется очевидным, что бриллиант не использовался и в качестве украшения в серьгах, которые, однако, были очень популярны в Риме тех лет. У римлян было принято вешать не менее двух, а то и трех пар серег, издававших легкий звон при малейшем движении головой. Сенека уверял, что были женщины, мочки ушей которых с трудом выдерживали вес целых состояний, иногда бывших равными по стоимости двум-трем поместьям![84] Самыми модными камнями были скифские, самые дорогие изумруды, за ними следовали берилл-аквамарин, опал и сардоникс[85]. Лишним доказательством того, что эти камни прочно вошли в моду, было крайне прибыльное производство искусственных камней. Такое предложение отвечало на спрос тех, кто желал не отставать от моды, не имея для этого достаточных средств. При Октавиане Августе хрусталь красили под изумруд, сердолик – под сардоникс, и все названные изделия моментально раскупались[86]. Однако на самых дорогих украшениях не было драгоценных камней, так как после возвращения Помпея[87] из завоевательных походов самым модным стал жемчуг, который не умели имитировать вплоть до XVII века и который стоил целое состояние. Жемчуг бесконечным потоком везли, как правило, из стран Персидского залива и с побережья Индийского океана. На него был такой спрос, что Юлий Цезарь использовал сложившуюся ситуацию в качестве весомого аргумента в борьбе против безбрачия, запретив носить жемчуг незамужним или бездетным женщинам моложе 55 лет[88]. Наиболее распространенными были жемчужные серьги. Плиний не уставал удивляться, что «основным желанием небогатых женщин была прогулка с жемчужиной в каждом ухе, поскольку впечатление от увиденного было бы тем же, если бы их сопровождал ликтор! Те же, кому средства это позволяли, обвешивались жемчугом, осыпали им не только обувь, но

даже ремешки на ней. Нерон велел покрыть жемчугом небольшие помещения в его отведенном для любовных утех Золотом дворце[89]. Спрос на жемчуг постоянно рос, и почти ни один предмет роскоши не смог впоследствии сравниться с ним в цене. В 59 году до н.э. Юлий Цезарь преподнес в дар матери Марка Брута (своего будущего убийцы), к которой он питал нечто большее, чем просто приязнь, жемчужину, приобретенную за шесть миллионов сестерциев. Плиний повествовал, что волосы, уши, шея, пальцы жены Калигулы Лоллии были усыпаны жемчугом и изумрудами общей стоимостью в сорок миллионов сестерциев[90]. Такое богатство досталось ей по наследству от отца, подавившего налоговым бременем все восточные колонии. Как всегда это случалось с предметами моды, его цена была более чем завышена.

Вот лишь некоторые модные аксессуары эпохи расцвета Республики: расшитые шали, украшенные ремешки, пурпурные ленты для волос, тончайшие платочки для вытирания губ, сумочки и зонтики (защищавшие от солнца белила на лице знатной дамы!)... Приходится в очередной раз констатировать, что мода была явлением социальным. В Риме следование моде было привилегией знати, которая постоянно соперничала между собой за первенство в следовании моде, особенно когда речь шла о только что привезенных с Востока роскошных безделушках. Даже мужчин мучила жажда беспрекословного подчинения законам моды. Во времена Республики они носили лишь кольцо на безымянном пальце. Оно использовалось как заменявшая подпись печать и символизировало их свободу. Только конным воинам разрешалось носить кольца из золота. Но в эпоху Империи на каждом пальце римлянина было как минимум по одному кольцу, украшенному более или менее крупным драгоценным камнем. Ювенал высмеивал одного богача, который хранил особо громоздкие перстни до

зимы, так как летом они притягивали тепло, и их было неудобно носить. И вот появились перстни на каждое время года, и складывали их теперь в специальный ларчик – дактилотеку[91]. И все-таки прихорашивания и наряды остались скорее женским занятием, нежели мужским. Мужчины больше следили за элегантностью в одежде.

Наверное, именно по этой причине составить собирательный образ римской модницы легче, чем модника. Римлянка всегда оставалась верной последовательницей всех нововведений. Многочисленные письменные свидетельства современников позволяют восстановить до мельчайших подробностей облик, наряды и туалеты римлянки любого столетия. Стоимость новых или модных тканей, например шелка или хлопка, золотое шитье или простая вышивка на одежде, разнообразные причудливые прически, макияж – весь этот утомительный перечень следования моде находился в ведении аристократок, между которыми разыгрывались подлинные битвы. За грань допустимого моду завлекали постоянно возраставшие цены. Сшитая из золотых нитей накидка осталась уникальным предметом роскоши, единственным в своем роде нарядом императрицы и никогда не могла бы породить подобную моду. Женская мода находилась в прямой зависимости от экономической ситуации в Риме, а не только от социальных факторов, так как требования моды и расходы на следование ей постоянно росли. Иерархическая вертикаль моды в Древнем Риме не может быть переложена на современное общество, когда мода буржуазии становится общепринятой в народе.

Развитие моды в Древнем Риме связано и с ознакомлением римлян с культурой Греции и Востока, которая оказалась серьезным соперником старых римских добродетелей и традиций. Столкновением двух противоречащих друг другу культур объясняется датированный 142 годом до н.э.

Статуя Юлии Домны из Остии. III в., музей Остии

поступок Сципиона Эмилиана, обвинившего некоего Сульпиция Галла в распутстве, причиной которого являлось то, что «последний ежедневно обильно душился и одевался исключительно перед зеркалом, подбривал брови, выходил на улицу с гладким лицом и бритыми ногами», а также надевал на празднества тунику с длинным рукавом[92]. В действительности, можно ли ставить в вину этому человеку то, что он лишь педантично следовал за ужесточавшимися капризами моды, хотя моральная сторона дела и могла шокировать любого? Марциал называл таких людей «*bellus homo*». По Форуму прогуливалось все больше гладковыбритых или носивших ухоженные бороды римлян, руки и ноги которых были отполированы пемзой. Они были аккуратно причесаны и источали самые тонкие ароматы, они артистично обернуты в тоги, за правильностью расположения складок на которых ревностно следили. Белизна тог подчеркивалась пурпуром наброшенных на них верхних накидок. Пелопоннесская обувь удачно сидела на надушенных ногах. На пальцах сверкали обрамленные золотом изумруды[93]. Проявлением воли считалось уже то, что этих людей не выносили на прогулку на носилках, в отличие от Гая Верреса, устало возлежавшего на набитых лепестками роз подушках... Но не у всех хватало средств для следования моде, хотя два аристократа из трех проматывали на лентах, митрах, кеосских и алиндских тканях честно добытые отцовские состояния[94].

Если рассматривать педантичное следование моде молодыми и пожилыми красавцами как ее гипертрофированный побочный эффект, то необходимо точно очертить образ не «модничавшего» молодого человека благородного происхождения. «Искусство любви» Овидия содержит множество ценных советов по обольщению. Трудно вообразить удачливого обольстителя, не следящего за модными новинками. Таким образом, советы Овидия, как нужно сле-

дить за своей внешностью, в то же время отображали последние веяния моды первых лет существования Римской империи. Овидий не рекомендовал молодежи делать завивку и драить ноги пемзой до абсолютно гладкого их состояния. Он не уставал повторять, что «мужская красота должна быть естественной». В качестве примера Овидий привел историю похищения Ариадны Тесеем, когда у похитителя не было времени с помощью булавок поправить прическу на висках! В мужчине должна была привлекать элегантность, которая подразумевала загорелый цвет кожи, свежая и правильно одетая тога, крепко завязанная и подобранная по размеру обувь с нержавыми застежками, аккуратная стрижка, мастерски подбритая рукой умелого цирюльника борода, чистые и подровненные ногти и... отсутствие волос в ноздрях... К тому же дыхание должно было быть свежим и не следует источать запах «самца-вожака стада»[95]. Овидий ничего не говорил о выборе подходящего аромата, поскольку запаха чистого тела было вполне достаточно. В письме к Аттику[96] Цицерон высказывал те же мысли и насчет женской красоты: «Запах женщины прекрасен тогда, когда сама женщина ничем не пахнет».

«Искусство любви» Овидия может считаться историей моды двух столетий. В стремлении выглядеть просто и красиво молодой человек эпохи Октавиана Августа отличался от косматого и бородатого римлянина конца III века до н.э. Достижение такого облика и было основным завоеванием обновляющейся моды.

Глава III

МОДА И ОБРАЗ ЖИЗНИ
(публичной и частной)

Если гражданин слепо следует моде в своей одежде, если именно в моде он пытается обрести новый стиль, можно ли сомневаться в том, что он захочет применить новаторские идеи и в обустройстве своего быта? Дом, планировка комнат и их украшение предоставляют людям обеспеченным шанс продемонстрировать свою верность моде. В то же время возникает вопрос: а не затрагивают ли модные веяния, а именно последовательные волны популярности, захлестывающие цивилизацию, в какой-то степени и урбанистический пейзаж? На первый взгляд мода как явление достаточно далека от градостроительства, развивающегося в обычном ритме городских застроек. Однако проходит время, и последующим поколениям открывается полная картина урбанистических течений эпохи, и становится ясно, что между ними прослеживается определенное единство, отражающее дух и увлечения, которые не могут не быть связаны с модой рассматриваемого исторического периода. В III в. до н.э. Рим уже в значительной степени отличался от того города, каким он был на заре своего существования. К этому моменту этрусские архитекторы с помощью арок и каменных сводов, а также своих методов ассенизации придали новое лицо юной столице Италии. Таким же образом два века спустя романские здания являют нам совсем другой вид, заставляющий вспомнить о влиянии Греции и Ближнего востока. Вместе с тем, анализи-

руя новые техники и материалы, появившиеся в то время, совсем не сложно определить влияние моды греческой и восточной культуры на концепцию градостроительства древних римлян.

Несколько наугад приведенных дат могут пролить новый свет на историю:

197 г. до н.э. – Фламиний побеждает македонского царя Филиппа V в сражении при Киноцефалах, и римские легионы захватывают Грецию, что предоставляет им плацдарм для дальнейших действий в Азии.

190 г. до н.э. – Антиох II Сирийский сдается на милость римского победителя.

С 193 г. до н.э. стараниями курульных эдилов Марка Эмилия Лепида и Луция Эмилия Павла на левом берегу Тибра к югу от Авентина строится огромная торговая гавань на манер греческого эмпория, рядом с ней возводится портик, параллельно Тибру. Речь идет об огромном архитектурном комплексе (более 500 м в длину и 90 м в ширину), разделенном колоннами на около 50 крытых галерей с цилиндрическими сводами, сходных с теми, что можно было увидеть, например, в Родосе.

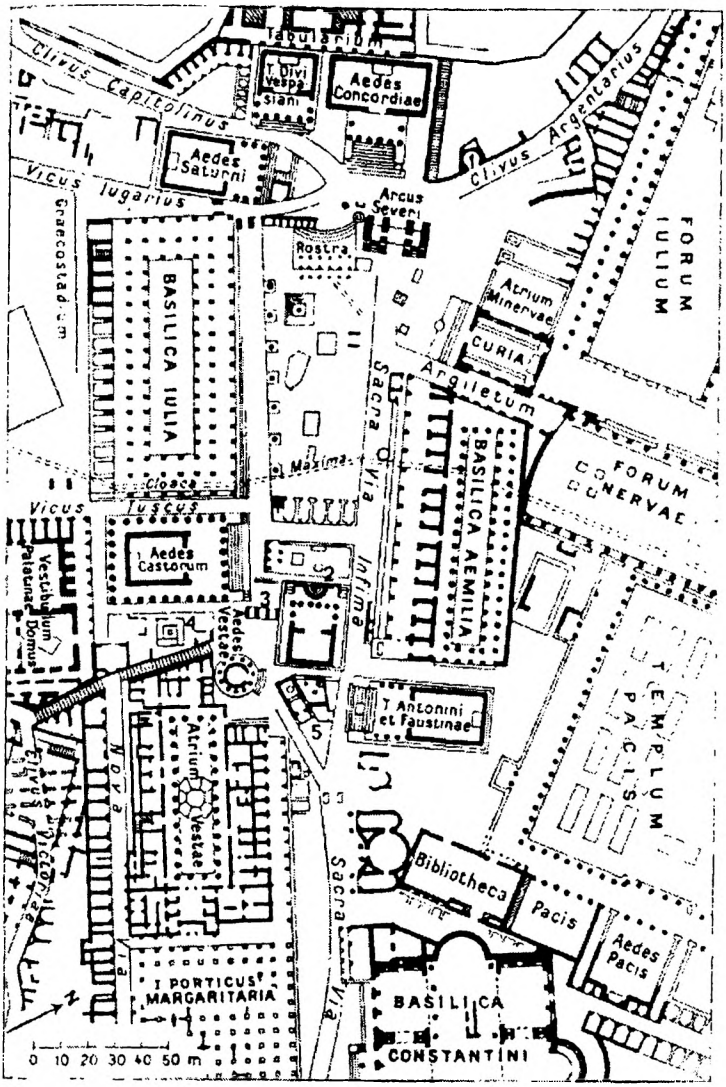
В 179 г. до н.э. цензоры отдают приказ построить второй портик рядом с первым, а в 174 г. строится и второй эмпорий, чуть ниже, фактически рядом с первым. Тогда же на Марсовом поле возводится еще один портик. Именно к этому времени можно отнести и появление там же трех базилик: базилика Катона, первая базилика в Риме, была построена в 184 г. до н. э. у Форума Порцием Катоном; после нее строится Эмилиева базилика (названная так по имени Эмилия Лепида), и еще через 10 лет – Семпрониева, сооруженная Тиберием Семпронием Гракхом. В 168 г. до н.э. в сражении под Пидной римляне одерживают победу над Персеем, а в 167 г. до н.э. уже возводится портик Октавия. Затем приходит черед портика Метелла (147 г. до н.э.)

и первого мраморного храма в Риме. Оба они были построены греческим архитектором Гермодором из Саламина. Храм, посвященный Юпитеру Статору, имел 6 колонн на фасаде и колоннаду вдоль каждой из двух длинных сторон. Сразу после этого там же, на Марсовом Поле, был построен и второй мраморный храм, посвященный Юноне.

Эмпорий, портик, базилика, мраморный храм, вдохновленный храмами Эллады... столько новых архитектурных конструкций, истоки появления которых следует искать в культуре побежденных! В этом не было бы ничего неожиданного, если бы не удивительная поспешность, с которой монументы возводились еще до окончательной победы. Откуда это непреодолимое желание копировать архитектуру другой страны, вплоть до сохранения греческих названий новых зданий? Постройку эмпория еще можно как-то объяснить: победа над Карфагеном, с одной стороны, и доминирующее положение в Греции – с другой, превращает Рим в новый торговый центр Средиземного бассейна, а восточные торговцы, чей приток не иссякает, ожидают найти в новой столице мира комфорт и удобства, к которым они привыкли у себя дома. Однако зачем римлянам базилики? Само название «базилика» имеет греческие корни и на самом деле обозначает царский портик, какие существовали в Афинах и в древних царствах Эллады. В Риме же первая базилика (базилика Катона) имеет гораздо более скромные размеры, однако постепенно структура будет все более напоминать те грандиозные монументы, чьи руины мы можем видеть на Форуме и в других городах Италии. В общих чертах базилика представляет собой тип здания, прямоугольного в основании, состоящего из трех нефов; иногда в одной из боковых сторон имелась полукруглая апсида. Изначально базилика рассматривалась как место собраний и встреч, в большей степени тех граждан, которые хотели обсудить вопросы частного

или общественного характера. Иногда римские базилики вдоль длинных сторон окружены внешними портиками, таким образом, они напоминают греческие агоры, т. е. архитектурные структуры, ограничивающие масштабные городские площади в древнегреческих городах. Возведение Эмилианом базилики в 179 г. до н.э. является первым достоверным свидетельством нового течения в концепции градостроительства, которое находит свое отражение в архитектурном комплексе Форума. Превышающая по размерам базилику Катона, она построена с учетом расположения храма Кастора и Поллукса. Расположенные друг напротив друга они образуют симметричный архитектурный комплекс. Появление третьей, Семпрониевой базилики также вписывается в эту симметрию, так как по своему расположению она как бы продолжает храм Кастора. С учетом тех же факторов возводится и прямоугольный форум, который закрывает здание государственного архива (*tabularium*), построенного на склоне Капитолия. Эта центральная площадь имеет много общего с греческой агорой, хотя точной имитацией ее назвать нельзя.

Среди базилик, портиков, торговых лавок остаются следы, напоминающие нам о легендарных подвигах римских героев. Так, Курциево озеро говорит нам о тех временах вскоре после нашествия галлов, когда на Рим обрушился божий гнев и разверзлась бездна. Тогда всадник Марк Курций бросился в нее вместе с конем и оружием, чтобы этой жертвой умилостивить богов. Чуть дальше, символическое дерево наводит на мысли о Ромуле, а еще где-то край каменного колодца указывает на то место, куда ударила молния. В общем, центр Форума, словно пуп Рима и всея земли, вобрал в себя свидетельства великих моментов истории народа – огромный чердак, на котором хранятся древние святыни. Такое нагромождение монументов было бы невозможно на агорах больших городов Малой Азии.



Римский Форум

Но Рим помнит о своем прошлом, ведь именно в нем находит он религиозную поддержку своих будущих действий. Потому для римлян даже не возникает вопрос о том, скрыть или умолчать о каком-то историческом событии или возвести новый памятник, пусть даже портик в греческом стиле. Именно в этот момент, в первой половине II века до н.э., понятие моды впервые приходит в градостроительство: если правители Рима хотели построить Форум в греческом стиле, они делали все возможное, чтобы этому грандиозному проекту ничто не могло помешать. Таким образом, они хотели продемонстрировать и укрепить свое влияние как над согражданами, так и над побежденными народами, материализуя свою власть в возводимых ими новых зданиях, вводя в моду определенную концепцию градостроительства таким же образом, как они приняли и ввели в моду в Риме греческий язык и греческую культуру.

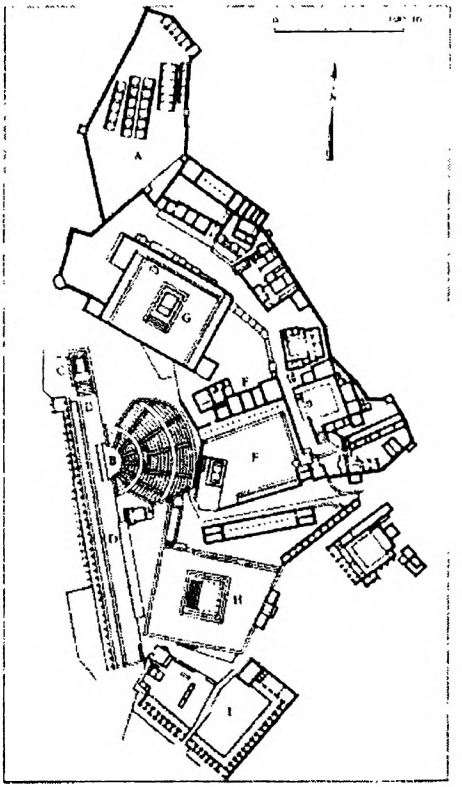
Угадать, почему римляне вводят в моду те или иные архитектурные структуры, не так уж сложно. Можно представить себе изумление победоносных римских полководцев, когда они увидели завоеванные ими города сначала Греции, а потом уже и Малой Азии. Какими скромными кажутся римские монументы по сравнению с теми, что окружают Афинскую агору или венчают Акрополь. Тем не менее не только города Греции наполняют души завоевателей восторгом и восхищением, хотя вне всякого сомнения архитектура Греции великолепна и более, чем где бы то ни было, выразительна и монументальна. Столь развитый дух индивидуализма у греков слишком явно пренебрегает понятием архитектурного ансамбля в городе; им не хватает стремления к внутренней архитектурной гармонии, при постройке одних зданий греки не учитывают расположение других. Искусство композиции римляне открывают для себя на Востоке, в Эфесе, Галикарнассе, Нисе... В своей «Географии» Страбон[1] описывает Александрию как ог-

ромный, просторный город, где улицы шириной до тринадцати метров пересекаются и расходятся под прямым углом. Колесницы и лошади расходятся на них безо всяких проблем. Прекрасные общественные сады и царские дворцы занимают более трети территории, ибо каждый новый правитель должен был почтить город – перестроить или украсить несколько административных зданий и возвести новую царскую резиденцию. Римляне, открывшие для себя великий город, в котором находился знаменитый маяк, одно из семи чудес света, несомненно, с горечью сравнивали с ним извилистые и смрадные улочки Рима тех дней. Однако больше других на римское градостроительство в течение долгого времени оказывал влияние Пергам.

Взгляд путешественника упирается в скалистый выступ, доминирующий над долиной Каика, последний форпост горной цепи, закрывающей горизонт. Гордый горный пик доминирует над архитектурой города, изначально занимающего только южный склон. С высоты своих 335 м Акрополь представляет собой удивительное зрелище для любого, кто приблизится к городу – будь то со стороны моря или долины. Между городскими воротами и этой надменно возвышающейся площадкой, имеющей размеры в среднем около 300 м на 150 м, имеется перепад высот в более чем 230 м, на расстоянии, не превышающем 1250 м. Кажется, подобное расположение просто обязывает город хранить в себе военную добычу сподвижника Александра Македонского, Лисимаха, который взял себе титул царя Фракии и северной части Малой Азии. После краткого правления Селевка I Эвмен I объявил Пергам независимым царством в 263 г. до н.э. Его племянник Аттал I одерживает знаменательную победу над галлами в 230 г. до н.э. и заключает с римлянами союз. После его смерти в 197 г. до н.э. ему наследует его старший сын (Эвмен II) и младший (Аттал II), после которых в 138 г. до н.э. на троне Пергама воцаряется Аттал III

(сын Эвмена II). Этот последний завещает царство Пергам римлянам. Этот поступок вызвал в Риме настоящий подъем в области искусства и архитектуры, не имеющий прецедентов. А как же: царство Пергама становится римской провинцией! Впервые за столькие годы римский гражданин оказывается абсолютным царем в Азии. Этот титул заставил потерять голову не одного римлянина. Однако прежде чем сделать вывод о том, что по своей сути мода на градостроительство в Риме сводилась к увлечению Пергамом и всем пергамским, следует отметить, что во время правления Аттала I, и в особенности Эвмена II, Пергам стал одним их красивейших городов Востока, способным конкурировать с самими Афинами. Со времен мирного соглашения, заключенного в Апамее в 189 г. до н.э., сразу после победы римлян в сражении при Магнесии у горы Сипил, где Эвмен II выступал со своим войском на стороне Рима, царь Пергама значительно расширяет свои владения. Пергам находится в зените своего развития, и царь, естественно, стремится запечатлеть свою новую власть через украшение столицы. Грандиозность размаха и монументальный эффект сочетаются здесь с явно выраженным стремлением создать гармоничную архитектурную композицию. Пергам, царский город, должен воплощать в себе славу своего царя и демонстрировать великолепие его побед. Этот дух монументальности, грандиозности, размаха, это искусство симметрии и соотношения между объемом и протяженностью потом будет являться ключевым моментом в крупных городах Римской империи. Лишь Пергам смог показать римским императорам образец города, достойного их могущества и их амбиций.

Пергам времен Эвмена II или Аттала II является не только городом искусства, но и интеллектуальным центром страны, с тех пор как Эвмен II расширил и украсил библиотеку, основанную еще Атталом I. Ведь это он, Эвмен II, ввел



Акрополь в Пергаме
(по книге Р. Мартина «Градостроительство в античной Греции»)

A – военные сооружения
B – театр
C – храм Диониса
D – терраса длиной 2,50 м, которая возвышается над долиной
E – портик Аттала I
F – библиотека
G – храм Траяна (сооруженный позднее)
H – эспланада, где возвышается большой жертвенник Зевса
I – агора, с которой спускается дорога к городу внизу

в использование пергамент (по-латыни pergamena charta, т.е. пергамская бумага) для того, чтобы хоть как-то смягчить последствия эмбарго на папирус, установленного Птолемеем V. Египетский фараон весьма ревниво относился к престижу Александрийской библиотеки, соперницей которой выступала библиотека Пергама. Аттал II пристроил к этой библиотеке портик, состоящий из двух пересекающихся галерей вокруг храма Афины.

За пределами этих широких портиков располагается большой алтарь Зевса, один из двух наиболее известных памятников архитектуры Пергама. К внутренней комнате вели короткие и высокие ступени монументальной лестницы, вокруг алтаря Зевса была выстроена величественная ионическая колоннада, вырастающая из хаотического потока фигур гигантомахии на фризе цоколя. Фриз опоясывает все здание и вновь появляется внутри на уровне лестницы. Возможно тема сражающихся гигантов алтаря Зевса вдохновила и Эмилия Павла, когда он решил увековечить свою победу над Персеем под Пидной в 168 г. до н.э. постройкой монумента в Дельфах. Выбор этого мотива, до сих пор мало известного в Греции, позволяет нам в какой-то степени проникнуть в мысли римского полководца, только что одержавшего значительную победу.

Продолжая перечислять памятники пергамского акрополя, воспоминания о которых вдохновляли некоторых римских военачальников, можно назвать и театр. Его особенности связаны с крутым склоном; зрительские места спускаются ниже уровня портика библиотеки и храма Афины. Восемьдесят ступеней карабкаются одна на другую на высоту 56 м, два горизонтальных пролета разделяют их на три части. Вертикальных лестниц восемь в секции нижних ступеней и по четыре в каждой из двух верхних секций.

Архитектурный ансамбль Пергама обыгрывает не только монументальность построек, призванных возвес-

тить о могуществе и славе царя. Среди его характерных черт можно отметить также и ту гибкость, с которой трудности местного ландшафта приспосабливаются к нуждам градостроительства. Необходимость создавать архитектурные ансамбли в гористой местности привела к тому, что архитекторы научились вписывать здания в линии пейзажа. Этот подход к строительству называется линейной архитектурой, для которой характерны протяженные вширь портики с длинными колоннадами, опоясывающими здание: этот прием позволяет подчеркнуть архитектурный ансамбль на открытом пространстве и создает пространственный эффект в застройках города, что может показаться несколько парадоксальным для столь изрезанной, скалистой местности. Именно в этой простоте концепции и заключается сила и величие архитектурных памятников Пергама, которые произвели такое впечатление на древних римлян.

Впрочем, гордых полководцев, победоносно ступивших на чужую землю в лучах азиатского солнца, поразила не только монументальная величественность городов. Открытием для них оказалось и то, с каким вниманием восточные монархи относились к природе даже в самом сердце городов, разбивая сады, как священные, так и публичные, которые украшали и зрительно продолжали колоннады портиков и гимнасий. Здесь будет уместно упомянуть и о том, что первыми большими частными парками в Риме были те, что благоустроили покорители Азии. Именно от них пойдет мода на загородные дома, которые с начала II века до н.э. станут появляться в Кампании и окраинных провинциях Рима. Но о моде, имеющей отношение к частной собственности, мы будем говорить позднее. Итак, победители Азии питали те же амбиции в отношении городов, что и в отношении собственных жилищ. Вдохновленные образами грандиозных архитектурных

ансамблей греко-восточной культуры, они хотели сделать Рим столицей Средиземноморья и, таким образом, стоять у истоков нового веяния в градостроительстве.

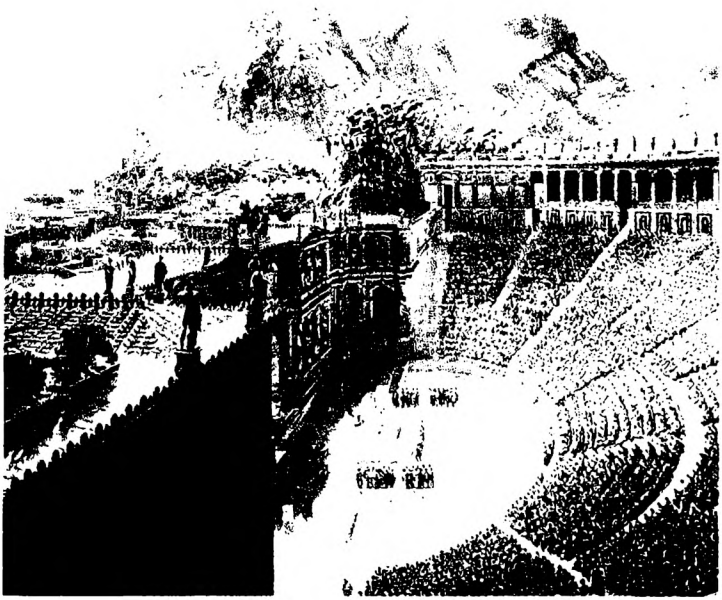
Уже Сципион Африканский мог любоваться частными и общественными парками на юге Италии и в Сицилии, превращавшими такие города, как Палерм, в настоящий сад[2]. Каждый монумент в больших городах Эллады, будь то театр, храм или палестра, находился в окружении тенистых аллей и утопал в зелени с тем великолепием, которого ни греки, ни сицилийцы уже не могли себе позволить. Римляне открывают для себя «райские кущи», царские сады, разбросанные по всему Востоку, чьи истоки следует искать в Персии, где с ними и столкнулся Александр, ступив в Азию. Многие авторы сохранили для нас описания этих обширных участков, огороженных стеной или портиком, где, несмотря на жаркий и сухой климат, росли всевозможные деревья: яблони, грушевые и гранатовые, фиговые и оливковые... В их расположении не было никакого беспорядка, напротив, они были посажены согласно сложным симметричным рисункам, что придавало каждому уголку сада особое очарование; так, тенистые платаны защищали от солнца ухоженные и аккуратные зеленые лужайки, на которых цвели самые яркие, самые благоуханные, самые прекрасные цветы. А представьте себе еще и шум ключей, бьющих среди зелени, крики птиц и рычание диких зверей, которые свободно бродили по этим истинным островкам свежести[3]. Мода на подобные сады пришла в Грецию с Востока, где с ней и столкнулись римляне прежде, чем увидели красоты Азии своими глазами. Древних греков привлекала красота этих «райских уголков», в которых они видели идиллию мирной сельской местности, источника всевозможных чувственных наслаждений, где все было создано с одной целью — служить эстетическому удовольствию. Греческие поэты воспевали это великолепие в сво-

ей лирике и эпических поэмах. Римляне последовали их примеру, тому свидетельствуют многие знаменитые произведения, в том числе и то, где Апулей описывает сад, примыкающий к роскошному жилищу Амура, с его «нежным, цветущим лугом», его рощей, засаженной дивными деревьями, его «хрустальными водами источника прозрачного»[4].

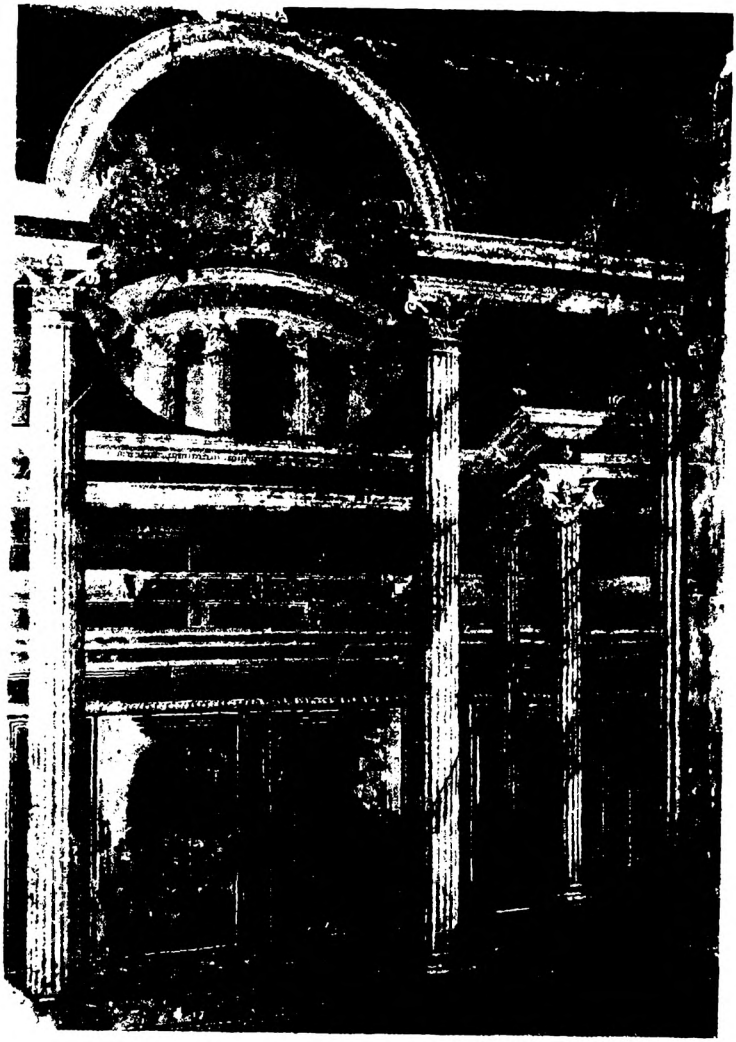
Эти сады, символизировавшие в глазах древних греков, как потом и в глазах римлян, благополучие и счастье[5], были столь популярны в Греции, что греческий стоик Хрисипп упрекал своих богатых соотечественников в том, что они поддаются моде на столь дорогое развлечение[6]. Это было за столетие до того, как римляне ступили на греческую землю.

Когда мода на сады приходит в Рим, какое-то время она все же остается частным явлением, насколько мы можем это проследить, так как общественные сады Рима по своей сути ближе к тем островкам зелени, которые соединяют между собой архитектурные ансамбли в Антиохии, Милете или Пергаме. Чтобы проиллюстрировать, какую часть общественной жизни занимает мода на греческую культуру в римской концепции градостроительства, можно привести в пример человека, который был одним из основных покорителей Востока и использовал моду для того, чтобы упрочить свой авторитет, – Гнея Помпея. Как Сулла и другие до него, Помпей вернулся в Рим победителем Сирии и восточной части Малой Азии с богатой добычей. Он хотел, чтобы его сограждане жили в не меньшей роскоши, чем жители Востока, и решил построить в Риме театр из камня, по бокам которого возвышались бы портики, где можно было бы прогуливаться или заниматься решением экономических вопросов. Казалось бы, что в этом особенного! Однако первое впечатление обманчиво, по крайней мере в том, что касается театра. Ведь в Риме того времени постоянного театра не существовало. Римляне

всегда относились с недоверием к инфраструктуре развлечений, столь развитой в греческих и восточных городах, и, несмотря на все соблазны, пытались противостоять распространению того типа цивилизации, который, считали они, является символом упадка. Тем не менее они ценили театр. История свидетельствует о том успехе, которым пользовались такие авторы, как, например, Плавт. Греческая мода затронула и театральное искусство, однако при этом зрителям оставалось довольствоваться деревянной разбираемой сценой; таким образом власти надеялись избежать превращения модной болезни в неизлечимую эпидемию. Тем не менее попытки реформирования театра предпринимались: в 155 г. до н.э. цензоры хотели построить первое здание театра из камня. Однако Сенат в единодушном порыве патриотизма не допустил подобной блажи. В Риме было запрещено возводить подмостки и ступени для зрителей даже из дерева. Но можно ли долго сопротивляться моде? Уже через 10 лет был построен первый полный деревянный театр на греческий манер — пусть даже он был разбираемым, а значит, временным. Стоять в собранном состоянии он должен был не дольше, чем продлятся игры, которые, как тогда верили, носили сакральный характер. Однако с этого момента временные театры оформляются все с большим и большим великолепием. В 133 г. до н.э. царь Пергама Аттал III преподносит римлянам в дар роскошный занавес. В 58 г. до н.э. Эмилий Скавр приказал возвести деревянный театр (по-прежнему временный) с неслыханными размахом и роскошью, который мог бы принять 80 тысяч зрителей (вдвое больше, чем театр Помпея). Внешняя стена этого театра была высотой в три этажа. Театр насчитывал триста шестьдесят колонн, при этом колонны первого этажа были из мрамора, второго этажа — из стекла, а третьего — из позолоченного дерева. Прибавьте к этому роскошные росписи художников из



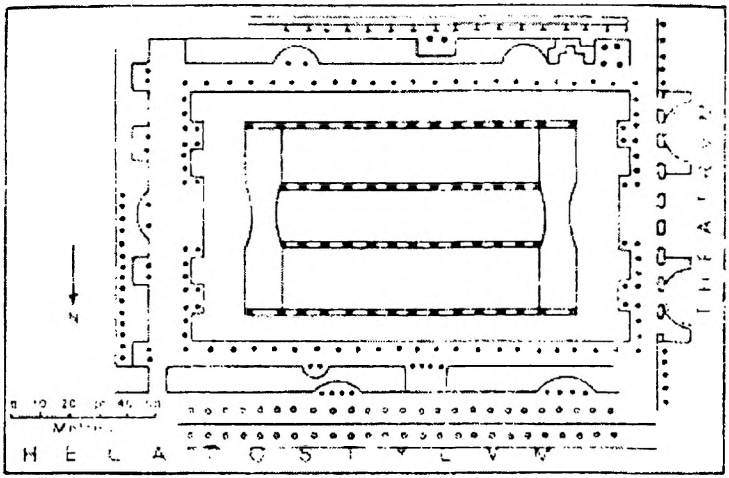
Римский театр



Помпейские фрески, второй период, Вилла Тайн

Сициона и три тысячи бронзовых статуй... Некоторые археологи высказывают предположение, что театр Скавра был оформлен с такой пышностью и величием, что мог послужить прототипом театра Помпея. Следует отметить, что Помпей решил пойти против решения Сената и все-таки построить театр именно на Марсовом поле, тем самым преподнеся дар городу и увековечив свою славу в сакральном месте, предназначенном одновременно и для развлечения сограждан согласно греческой модели. Плиний рассказывает нам, что у великого полководца идея построить театр зародилась задолго до того, как была воплощена в жизнь, потому он не раз обращался к образцам театрального зодчества и приказывал соорудить макеты наиболее понравившихся ему греческих и восточных театров, увиденных им во время его многочисленных военных кампаний. Прообразом римскому театру мог послужить и театр в Митиленах[7]. Для того чтобы идея постоянного театра была лучше принята, Помпей решает возвести амфитеатр перед храмом Венеры Победительницы (которая, как он утверждал, принесла ему победу) согласно архитектурной схеме, уже известной в Лациуме, в частности в Пренесте. Следует отметить, что театр Помпея все же во многом отличается от греческих театров, которые в большинстве своем располагались на склоне холма. Однако это позволяет Помпею добиться более удобного доступа к ступеням, на которых размещались зрители, что не противоречит свидетельству Плиния: идея архитектурного ансамбля «театр – портик» могла появиться у Помпея после того, как он ознакомился с архитектурой Востока. Портик в его театре имеет значительные размеры (180 м на 135 м). По внешнему периметру располагается крытая галерея, крыша которой поддерживается колоннами, в то время как центральная часть, разделенная четырьмя линиями колонн, состоит из трех длинных галерей, скорее всего от-

крытых (за исключением, может быть, центральной). В этой части, находящейся под открытым небом, располагаются сады с аллеями платанов и, по крайней мере, один фонтан, изображающий дремлющего сатира, о котором пишет Проперций: «Видно, тебе надоел затененный столбами Помпеев портик в убранстве завес из атталийских дворцов, жалки платанов стволы, вереницею ровно стоящих...»[8] Проперций не упоминает о статуях, неисчислимое множество которых украшает ниши, на которые открывается взор из проходов. Скорее всего, они имеют восточное происхождение – Помпей попросил привести их Аттика, друга Цицерона. Среди многих других здесь можно найти скульптурную группу, изображающую четырнадцать народов, покорившихся Помпею, а также изображения известных куртизанок, которые отдают себя под покровительство Венеры Победительницы. С другой стороны этого громадного архитектурного комплекса расположена огромная зала; именно в ней соберутся сенаторы в небезызвестный день мартовских ид в 44 г. до н.э., и где Цезарь падет под кинжалами заговорщиков у подножия статуи Помпея. Может быть, это та самая статуя, которая была обнаружена в районе портика, изображающая Помпея обнаженным, в образе императора всего мира, с шаром в руке, в позе, имитирующей ту, в которой греческие цари изображаются равными богам[9]. За подобной статуей и всем грандиозным архитектурным комплексом легко угадать политические амбиции Помпея: Витрувий в своей работе об архитектуре без колебаний проводит связь между статуей Помпея и восточными и греческими моделями из Афин или Смирны: «Во всех городах, в которых когда-либо жили архитекторы, более или менее сознательные, вокруг театров строятся портики и аллея»[10]. В этом архитектурном ансамбле весьма четко прослеживается влияние моды, которая обнаружит себя и в других городах, как, например,



Портик Помпея
(по книге П. Грималя «Римские сады». Париж, 1969, с. 172)

в театре и городском комплексе в Остии, или в постройке других закрытых портиков с садами, как Август построил в Ливии.

Оформление этих прогулочных аллей (променадов) также следовало греческой моде: мы уже видели, что первый занавес был привезен в Рим из Пергама, а портик Помпея был украшен коврами Аттала III. Но самой долговечной и всеохватывающей окажется мода на статуи, которые в буквальном смысле слова наводняют площади и здания Рима с момента первого контакта греческой и латинской цивилизаций. Победы римлян над этрусками и над греками с юга Италии и Сицилии явились для завоевателей поводом привести тысячи статуй в Рим. Завоевание Греции и Востока, казалось, предоставило Риму неисчерпаемый скульптурный резерв. Модный канон сводился к украшению статуями не только частных домов, но и обще-

ственных мест, наподобие того, как это было заведено в Греции. Конечно, это повлекло за собой и появление римских изображений, в основном лиц, облеченных официальной властью, правда, в греческих костюмах или даже в обнаженном виде. Тем не менее обнаженная натура, являющаяся неотъемлемой частью греческой скульптурной традиции и символизирующая то, что изображенный человек равен богам или героям, достаточно редкое явление для Рима, в особенности во времена Республики. К тому времени римляне уже были знакомы и со скульптурой, и с портретной живописью, однако влияние, оказанное греческой культурой, в значительной степени изменит их концепцию искусства и даже (до определенной степени) одежды. С распространением моды на статуи все более или менее именитые люди хотели, чтобы их черты были запечатлены в бронзе или мраморе. Если во времена Республики только самые известные граждане добивались разрешения на официальный портрет, начиная со II в. до н.э. с развитием индивидуализма каждый хотел оставить потомкам свой нетленный образ. Катон, с недоверием относившийся к модным нововведениям и сожалеющий о прошлом, с охотой говорил: «Мне было бы более понятно, если бы спрашивали, почему статую Катону еще не возвели, чем почему ее возвели»[11]. За несколько лет на Форуме поднимется лес статуй; в первые годы после мучительной Второй Пунической войны в Риме установлено по меньшей мере три статуи Ганнибала! Даже женщины заявляют о своем праве быть увековеченными в камне. И среди мраморных весталок, окружающих храм, вокруг *атриума* появляются и статуи знаменитых римских матрон, как, например, Корнелии, матери Гракхов. Эта мода, только-только зародившаяся во II веке до н.э., быстро укоренится в быту и культуре римских граждан, что предоставит нам материал для изучения той эпохи и изменений в моде на фасоны

одежды или прически вплоть до падения Империи. К тому моменту будет насчитываться более трех тысяч семисот статуй императоров и официальных лиц.

Таким образом, со времен завоевания Греции и Востока и привезенной из военных кампаний добычи в Риме наступает переломный момент в том, что касается моды. Конечно, римляне не раз сталкивались с греческим и этрусским искусством и до этого, но до II в. до н.э. оно не занимало столь важного места в римском искусстве и не было представлено на римских площадях; в то время как в градостроительстве, вдохновленном образами эллинистических городов, оно является неотъемлемой частью. В свою очередь, для военачальников — это способ обеспечить себе славу, предоставив римскому народу такой дар — награбленные произведения искусства. Приток произведений искусства в Рим не иссякает, и он сталкивается с новой проблемой: их нужно где-то выставлять, желательно в общественном месте. Решение этого вопроса становится первым шагом по направлению к модному течению, которое потрясет римское общество и распространится в аристократических кругах век спустя: мода на владение частными коллекциями.

Во II в. до н.э. искусство все еще остается общественной ценностью, и римляне не всегда одобряют наплыв произведений искусства, привезенных из далеких храмов. Осторожное отношение к искусству в сочетании с религиозностью наводит их на мысль о том, что во многих случаях это святотатство. Именно поэтому Марцеллу после взятия Сиракуз (212 г. до н.э.), отправившему в Рим богатую добычу, состоявшую из картин, статуй, табличек, украшений и т.д., было... отказано в триумфе. Настаивая на том, что он хочет просветить толпу, далекую от искусства, он рассчитывал впечатлить Сенат и получить большее вознаграждение, однако лишь шокировал общественность. Как

рассказывает Плутарх в своем «Жизнеописании Марцелла», лишь молодежь признавала, что он украсил город «искусными и элегантными сладострастными творениями греков»[12]. Впрочем, те, кто был воспитан на греческом искусстве, не видели в их произведениях никакого признака упадничества и были готовы принять привезенные из Греции шедевры. В этом они видели шанс предоставить своему поколению возможность утвердить свое мировоззрение наперекор «старому поколению римлян».

Знакомство с искусством не происходит за один день. В 146 г. Муммий, победитель Коринфа, решил продать с торгов захваченную им добычу. Одна из картин была оценена в головокружительную сумму в 600 000 динаров, что в те времена равнялась стоимости стада в десять тысяч быков! Тогда Аттал, царь Пергама, выразил желание купить эту картину. Римский военачальник заподозрил, что картина может иметь и большую ценность, потому отказался от сделки и, как рассказывает Плиний, привез в Рим первую чужеземную картину[13]. Все эти богатства принадлежали народу Рима, значит, нужно было показать их ему. В основном местом хранения военной добычи становились портики и храмы, становясь, таким образом, своего рода музеями. Но то, что нам теперь кажется очевидным, вовсе не было столь явным во времена античности. Священные ритуалы и жертвоприношения происходили за пределами храмов, и обычные граждане не допускались внутрь. Момент, когда двери храмов открылись для посетителей, стал переломным в развитии религиозных взглядов древних римлян и свидетельствует о прогрессирующей десакрализации священных мест, которые для того, чтобы остаться священными, должны стать и галереями искусства. Именно за счет этих новоявленных музеев правители Республики могут продемонстрировать свою щедрость и укрепить свой престиж. С середины II в. до н.э. храм Счастья и пор-

тик Метелла, которые, согласно греческим обычаям, окружают храмы Юпитера и Юноны работы грека Гермодора, становятся хранилищем произведений искусства, привезенных из дальних стран или созданных на месте афинскими скульпторами. Народ отдает предпочтение работам в классическом стиле, и нет ничего удивительного в том, что именно этот стиль и будет господствовать в искусстве до конца Республики. С конца века все сильнее ощущается влияние искусства Пергама, и статуи прославленных греческих поэтов, украшающие римские портики, напоминают те, что находятся в библиотеке Пергама. В Риме находят пристанище и многие произведения искусства из Малой Азии, перечислим лишь самые известные: скульптурную группу, изображающую умирающих галлов, увековечивающую победу Аттала I над галлатами, статую Лаокоона, Нику Самофракийскую.

С первых дней Империи все эти шедевры оказались во «дворцах простого народа», которыми являются термы, обязанные своим созданием синтезу эллинистической моды и римской архитектуры. Берущие истоки в греческих гимнасиях с их палестрами и садами, окруженными портиками, термы составляют необходимое условие гигиены тела, понятия, также начинающего развиваться в Риме после Пунических войн. Помпей уже в течение доброго полувека являлся хозяином подобного термального заведения, которое оказало определенное влияние на первые римские термы, построенные Агриппой в 25–19 гг. до н.э. В последующие годы и другие императоры стремились к тому, чтобы эти заведения были «виллами для бедных» и никто не мог владеть ими в частном порядке. Огромные термы, которые благодаря своему убранству предстают перед посетителем как настоящий музей, являются для Рима наиболее законченными образцами влияния крупных городов Востока в области градостроительства, с роскош-

ными базиликами эпохи Империи, хотя и представляющими новую концепцию, но не испортившими такие прекрасные города, как Александрия или Пергам. Собственный архитектурный гений Империи сумел найти и вкус к симметрии и осевой композиции, и чувство отношения массы к объему. За счет развития колоннады, образцы которой можно найти в Пергаме, и регулярности линий архитектурных планов, греко-римское градостроительство придало городам Империи истинно имперское величие, а римской архитектуре — свое лицо и свой стиль.

Эллинистическая мода не только оказала воздействие на римское градостроительство, она повлияла и на частный быт граждан. Человек, интересующийся модой, хочет, чтобы и те предметы, которые его окружают, тоже отражали новейшие тенденции. В течение II в. до н.э. римский дом претерпевает значительные изменения, еще больше его внешний вид изменится в последний век Республики. В любом случае эти изменения не произошли единовременно, как указывает нам историческая традиция.

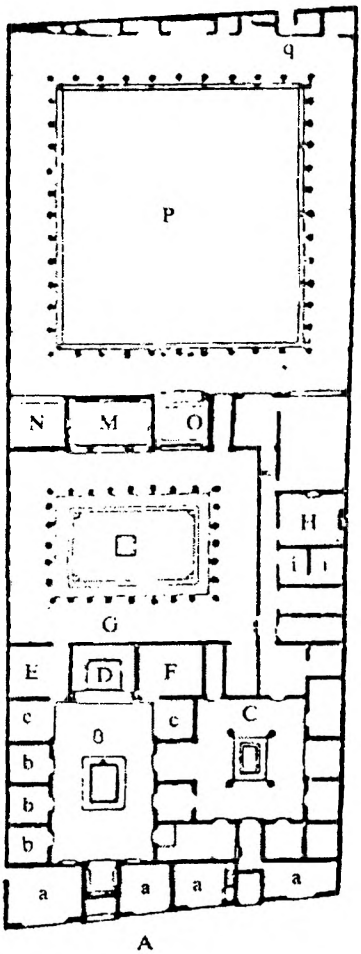
В первые дни Республики частный дом состоит из *атриума*, в крыше которого в самом центре сделано отверстие, куда стекает дождевая вода и попадает в бассейн, называемый *имплювием*. В глубине атриума располагается центральная комната, *таблинум*, где живут хозяин с хозяйкой. Вокруг атриума располагаются другие, в основном служебные помещения. Наконец, за домом находится маленький огород. Подобное строение дома было, скорее всего, позаимствовано римлянами у этрусков и являлось ничем иным, как деревенским домом, фермой; таким образом, атриум — это внутренний двор, где домашние животные могут утолить жажду в центральном бассейне. Понемногу этот двор стал полностью закрытым (за исключением отверстия в центре крыши). Если верить Витрувию, то после знакомства с греческой культурой в римском доме появилась вторая часть, сразу за таблинумом — греческий дом,

состоящий из помещений, выходящих на перистиль. Этот последний был не чем иным, как садом, более чем двором, четырехугольной формы и открытым солнечному свету, вокруг которого располагалась крытая колоннада. Такова, согласно Витрувию, традиционная схема классического римского дома. К несчастью, ни в Греции, ни на островах нет никаких археологических свидетельств того, что греческий дом имел такую же структуру. Перистиль греческого дома не сад, а двор, выложенный плиткой или мозаикой, в центре которого находится бассейн. Изначально крышу поддерживали четыре колонны, по одной на каждом углу бассейна. Потом отверстие в крыше увеличилось, и возросло количество колонн. Однако, по своей сути, и у атриума, и у перистиля одно предназначение: чтобы свет достигал всех помещений дома, так как сам по себе дом не имеет других окон кроме тех, что выходят во двор. Единственным средством сообщения с внешним миром является входная дверь. Таким образом, по Витрувию, поставив два дома — греческий и римский друг напротив друга, — мы получим два дома, каждый из которых выходит на свой двор. В археологии нет примеров подобного расположения домов, за исключением разве что известного дома Фавна в Помпеях. Здесь два дома стоят один рядом с другим (а не один за другим). На плане мы видим традиционный тосканский атриум справа и другой атриум, с мраморным бассейном, больший по размеру, соответствующий древнегреческому перистилю. Именно в нем и обнаружена бронзовая скульптура, изображающая танцующего фавна; при этом растрепанная шевелюра и особенности строения его тела позволяют предположить пергамское происхождение статуи. Этот архитектурный ансамбль, состоящий из двух домов, италийского атриума и эллинистического перистиля, датирующийся II в. до н.э., и «привнесенная» часть напоминают другие знакомые нам по исследованиям образцы перистиля древнегреческого мира, в частности на

Делосе. Это очень важно, ибо этот маленький островок сыграл значительную роль в распространении моды на бытовую архитектуру. В 166 г. до н.э. после победы под Пидной Рим возвращает остров Афинам и превращает его в свободный порт. Делос превращается в средоточие торговли восточного Средиземноморья и переживает значительный подъем экономической активности. Первыми свободный порт Делоса для себя открыли кампанийские торговцы. Этим и объясняется тот факт, что архитектурные методы проникли в Рим именно через этот регион Италии и что они обнаруживают себя в городах, например Помпеях и Геркулануме. Что в Делосе могло привлечь богатых торговцев? Они могли посещать, например, дом Масок, который датируется II в. до н.э. Оставим в стороне женскую часть дома, традиционную для греческого жилища, и пройдем сразу в мужскую. Основные комнаты выходят на большой двор, так называемый родосский перистиль, окруженный портиком, при этом крыша поддерживается дюжиной колонн. Если следовать описанию греческого дома, данному Витрувием, которое идеально соответствует типу делосских домов, то вокруг перистиля находятся: помещение для пиров, на которых могли присутствовать только мужчины (*андрон*), помещения для собраний, помещение, в котором хранились живописные картины (*пинакотека*), столовая-сад, библиотека и другие помещения, предназначенные для гостей. Дом сам по себе просторный и роскошно оформленный. Стены помещения для приемов раскрашены под мраморные плиты, с рисунками, врезанными в штукатурку. Более значительные фрески украшали портики или некоторые большие помещения: все они напрямую апеллировали к эрудиции гостя и его знакомству с мифическим и историческим прошлым Греции, которому они были столь преданы.

Именно такие перистили, как в доме Масок, и вдохновили римских торговцев, и они стали строить в своих до-

A – вход
a – лавки
b – спальни
B – тосканский атриум
c – смежные комнаты
D – таблинум
E и F – осенняя и зимняя столовые
C – четырехугольный атриум
G – перистиль
I – ванна
H – кухня
M – экседра с мозаикой
с изображением Александра
N и O – летние столовые
P: большой перистиль
q – черный вход

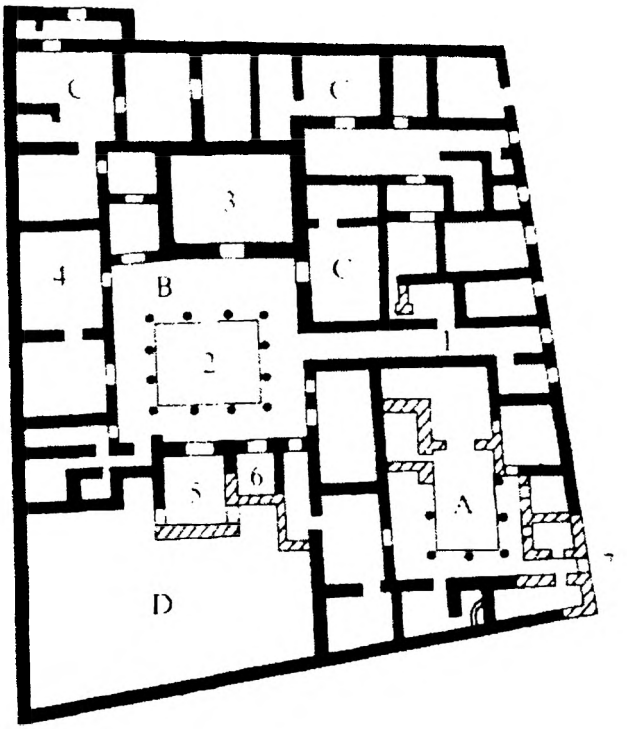


План Дома Фавна (Помпеи)
(по А. Маиури)

мах в заливе Неаполя такие же. Они соответствуют второму атриуму в доме Фавна, более широкие, более светлые и более роскошно обустроенные. О перистилях-садах, похожих на те, что будут добавлены к этому же помпейскому дому, речь еще не идет.

Кроме впечатления простора от дома, чего так не хватало римским домам, даже более чем различные формы украшений, римляне заимствовали колонны. Сначала II в. до н.э. колонна входит в моду в Риме и становится символом процветания домовладельца. Скорость, с которой эта новая мода захватывает римские постройки, является ярким примером тех разрушений, которые мода может произвести в быту. И этому есть доказательства: до I в. до н.э. ни один из частных домов в Риме не мог похвастать мраморными колоннами. В 92 г. до н.э. цензор Л. Красс приказал доставить несколько колонн (согласно одним источникам — шесть, согласно другим — десять) с горы Гиметты для украшения театра, созданного в его бытность эдилом. Так как театры были временными, впоследствии он забрал эти колонны для украшения атриума в собственном доме. Какой позор! Второй цензор того времени Марк Брут выразил ему свое недовольство этой избыточной роскошью[14].

В 78 г. до н.э. Марк Лепид, коллега Квинта Катулла по консульству, приказал вымостить порог своего дома мрамором, привезенным из Нумидии. Это вызвало массу негодования со стороны общественности; Плиний пишет, что впервые нумидийский мрамор был привезен для ничтожнейшей цели: не для колонн, а для порогов[15]. Таким образом, можно сделать вывод, что мраморная колонна уже стала привычным явлением для римлян, но использование мрамора ограничено. Плиний также уточняет, что дом Лепида — одно из самых красивых зданий Рима. Тридцать пять лет спустя «этот же дом не занимал и сотого места. Пусть тот, кто захочет оценить его, подсчитает громаду



Дом Масок в Делосе

A – комнаты, относящиеся к женской части дома
B – вокруг большого перистиля: мужская половина дома
C – комнаты на севере и северо-востоке предназначены для гостей
D – сад

1 – вход
2 – родосский перистиль
3 – большая столовая
4 – библиотека
5 – маленькая столовая, выходящая на сад
6 – пинакотека
7 – вход на женскую половину

мрамора, произведения живописцев, царскую расточительность, и пусть оценит соперничавшие с этим красивейшим и прославленнейшим домом те сто домов, и впоследствии вплоть до наших дней превзойденных бесчисленными другими»[16].

В 48 г. до н.э. Мамурра, римский всадник, префект фабров Гая Цезаря в Галлии, строит себе на Целие дом, в котором все колонны были исключительно из монолитных глыб белого мрамора с зелеными прожилками, привезенного из Каристы (на Эвбее) или из Каррары[17].

В последние дни Республики мода набирает темп, и в Империи происходит взрыв во всех направлениях, доступных воображению, связанных с убранством стен, вплоть до воплощения самых безумных идей, что позволяет власть имущим и богатым считать, что они не будут скопированы. Можно представить себе зависть и удивление — ведь не все же, как Гораций, не видят смысла возбуждать ревность и «в новом стиле ввысь громоздить мой зал с будящей зависть дверью?»[18]. В традиционном атриуме 12 футов высоты? Значит, у Скавра будет — 38! Будущее — за другими пропорциями. Стены покрывают пластинами из мрамора: Мамурра первый решится сделать каменные перегородки в своем доме — хотя в первый период помпейского стиля (приблизительно 120–80 гг. до н.э.) архитекторы довольствовались тем, что расписывали стены под мрамор, имитируя греческий стиль, как мы видели на примере дома Масок на Делосе. Однако во времена Августа это становится реальностью. Таким образом, можно лучше воспользоваться игрой света, натянув между колоннами пурпурные драпировки, которые будут отбрасывать на белые каменные дорожки перистиля струящиеся красноватые тени[19].

Остановиться на достигнутом невозможно. Уже не хватает ни покрытых мрамором стен, ни все возрастающего числа колонн — теперь дело за разными видами мрамо-

ра. Желтый мрамор из Нумидии, зеленый мрамор из Греции, похожий на змеиную кожу, белый мрамор из Финикии, редкие сорта мрамора из Азии, Греции, Африки, а также алебастр и оникс, искусно обработанные, позволяют добиться эффекта рассеянного света не хуже настоящих витражей.

К этому следует прибавить и неограниченное использование стекла, которым покрывают купола и своды[20], а также золотых пластинок, листов серебра и бронзы, которыми облицовывают стены дворцов, драгоценных камней и перламутра, которыми инкрустируют стены, жемчуга, которым украшают спальные комнаты знатных граждан... У всего этого модного роскошества во времена Империи нет других ограничений, кроме как финансовых возможностей богатейших из граждан. Пиком этой расточительности является дворец, который Нерон приказал построить в самом центре города – дворец, известный нам под названием Золотого дома[21].

Но не у каждого были власть Нерона или возможность, воспользовавшись пожаром Рима, построить дом своей мечты. Вследствие этого сам город становится слишком тесным для тех, кто, начиная с конца II в. до н.э., стал следовать греческой моде и подстраивать под новую жизнь свои бытовые условия. Мода требует появления колоннад, которые образовывали бы своего рода частный портик; последний в ряде случаев должен ограничивать закрытое пространство и, согласно Витрувию, принимать форму греческого перистиля на римский лад, даже когда места достаточно для того, чтобы соорудить портик по всем четырем сторонам. Однако становится модным иметь собственную крытую галерею или аллею, обрамленную колоннами, напоминающую об улицах и площадях городов Востока. При этом тот внутренний портик не должен ни к чему вести. Он является переходом от собственно дома к

природе, другими словами, садом удовольствий. В это время в Риме сад, являющийся неотъемлемой частью дома, носил, скорее, характер огорода. По римскому мировоззрению каждая вещь должна приносить пользу. Важным является и тот факт, что именно Сципион Эмилиан и Деций Юний Брут первыми создадут в Риме сады для удовольствий, так как и тот и другой стоят у истоков зарождения греческой моды. Их сады датируются приблизительно последней третью II в. до н.э. Однако моду на сады удовольствий нельзя привязать исключительно к этому веку. Сципион является всего лишь ее родоначальником. Напротив, как мы уже имели возможность проследить в архитектуре, города Кампании способствовали распространению этого течения в Италии. Кампания и Греция связаны тесными узами; многие греки жили на берегу Неаполитанского залива. Благодаря мягкому климату и легкости жизни в этой провинции она стала второй родиной для богатых римлян. Ничего удивительного, что они приезжают сюда, чтобы построить вторую виллу, которую они и отделывают сообразно новой моде: ведь здесь проблемы нехватки земли просто не существует! Здесь можно и построить портик с видом на сад, и нанять архитектора-грека, источником вдохновения которого будут восточные дворцы, со всем тем, что с некоторых пор необходимо для загородного дома. Кажется, что вдалеке от Рима проще следовать новым веяниям моды, не вызывая резкой критики со стороны учеников Катона, которые видят в этой страсти к роскоши признаки упадка. Мало-помалу мода продвигается в сторону столицы: побережье сплошь усыпано виллами. Формия, где расположена вилла Сципиона Эмилиана, ее окрестности — Террасина, затем окраины Рима и сами холмы, на которых стоит Рим, те самые, которые являются границами города и где еще найдется место для обширных парков. Как всегда, зависть и ревность владельцев вилл

провоцируют еще большее развитие в 60 г. до н.э. Лукулл становится владельцем самых роскошных садов, какие когда-либо видел Рим. Победитель Митридата в Азии был вдохновлен восточными царскими садами. Однако эти сады ничто по сравнению с теми, что разобьют Цезарь и Саллюстий. И даже эти сады времен Республики померкнут и покажутся весьма скромными по сравнению с обширными парками Нерона или Адриана.

Таким образом, мода меняет и привычную концепцию традиционного римского дома: перистиль греческого типа приходит на место древнего атриума или же встает рядом с ним, что мы можем видеть в доме Фавна или на виллах Плиния Младшего, однако и этот перистиль не может удовлетворить амбиций победителей Азии, которые хотят воплотить в своих частных домах черты общественной архитектуры греческих городов. Портики, выходящие на сад, позволяют им воссоздать, в соответствии с занимаемым ими положением и финансовыми возможностями, восточные дворцы и волшебные сады, окружающие их. Перистиль-сад, который можно увидеть в большинстве домов Помпеи, не является повторением какой-то определенной греческой модели, но берет за образец огромные портики по типу тех, что Помпей приказал соорудить в Риме. Сама же идея берет свои истоки в греческих городах.

Именно так можно объяснить внутреннюю планировку дома Фавна, в котором пристраивается первый портик (который, для удобства, мы называем перистилем, несмотря на описанные выше различия). Этот перистиль состоит из 28 колонн, которые выходят на большую комнату, где находится знаменитая мозаика с изображением победы Александра Македонского над Дарием. Другие мозаики, на которых можно увидеть половодье Нила или тех же фавнов, также свидетельствуют о том образце, который избрал для себя хозяин дома. С конца II в. до н.э. в домах появля-

ется второй перистиль, превышающий по размеру первый. Здесь мы уже видим два вида колонн: первый ярус — дорический, а второй — ионический. Все археологи сходятся во мнении, что этот дом по своему типу принадлежит к «царским», а некоторые считают даже, что дворец в Пергаме уступает ему по роскоши. Без сомнений, это точно, если считать, что вилла датируется II в. до н.э. В то же время есть и другие виллы, которые представляют посетителю грандиозный архитектурный ансамбль, как, например, вилла Диомеда, одна из самых значительных вилл, расположенных у входа в Помпеи. Атриум повторяет греческий перистиль и имеет 14 колонн. За атриумом мы пересекаем таблинум и выходим на террасу, доминирующую над большим садом, окруженным портиками. Дальний из них имеет в себе отверстие, позволяющее взгляду следить за склоном, плавно спускающимся к далекому морю. С внешней стороны под портиками располагаются криптопортики, подземные коридоры, свет в которые проникал через специальные люки. Там хозяева виллы могли скрыться от палящего солнца летом. Маленькие башни по углам позволяли обозревать сад, на них в час сиесты можно было отдыхать, любуясь выгнутым побережьем Неаполитанского залива.

Чтобы рассмотреть еще более яркий пример, отправимся в Геркуланум, где на берегу моря расположена вилла с папирусами. Своим именем она обязана тому, что в ней за десять лет раскопок было найдено много папирусов, содержащих великое множество произведений литературы. Потребовалась тяжелая и напряженная работа, чтобы извлечь это сокровище из галерей, погребенных под 25-метровым слоем лавы и затвердевшей грязи. В любом случае раскопки показывают, что вилла принадлежала богатому и образованному человеку, может быть эпикурейцу, о чем свидетельствуют многочисленные философские тру-

ды, найденные в библиотеке. Самая распространенная гипотеза – что эта вилла принадлежала Луцию Кальпурнию Пизону, тестю Цезаря и заклятому врагу Цицерона[22]. Общая архитектурная композиция виллы следует моде на частные дома того времени: если в доме и есть атриум, то он не занимает центрального места, его роль сходна с современным вестибюлем. Основные комнаты располагаются вокруг портиков и террас, чтобы можно было наслаждаться видом на море и сельский пейзаж вокруг. За маленьким атриумом мы видим первый перистиль, окруженный 36 колоннами, рядом с которыми находятся ванны и библиотека, где и были найдены папирусы. Затем мы проходим во второй перистиль, большой сад, со всех сторон закрытый портиками, в центре которого находится бассейн, достойный сравнения с императорскими термами. Этот сад-перистиль занимает не менее 100 м в длину; его прогулочная аллея по периметру занимает 250 м. Именно здесь археологи обнаружили большую часть коллекции произведений искусства Пизона. Настоящий музей! Несколько изолированная от окружающей местности выступом Везувия, окруженная полями, виноградниками, лесами, эта вилла располагалась в удивительном уголке живой природы, и большой перистиль мог бы соперничать с самыми красивыми портиками Пергама или Пирена. Как и все древнегреческие виллы, загородная вилла выходит на сады и на природу, продолжением которой эти сады в какой-то степени и являются. Именно потому вилла так и сочетается со своим окружением, о чем пишет письмо Плиний Младший, описывая свою виллу в Тоскане[23]. В любом случае многие историки и археологи выявили царское происхождение этих римских вилл, дома с портиком в Сирии, царских домов в Малой Азии и даже Македонии[24]. И речь идет именно о «царской» моде, которая находит свое отражение даже в словаре, так как само слово «*aula*» происходит от греческо-

го слова, означающего «царский дом», которое у римлян обрело более общее, но эмфатическое значение «отдельного дома». Таким же образом для общественного здания, построенного по образцу царских домов, сохранилось название «базилика».

Эта эллинистическая мода оказывает свое влияние не только на архитектурный ансамбль виллы. Она находит свое отражение и в целом ряде комплексов, как интерьера, так и сада.

Развитие нового образа жизни подразумевает и то, что комнатам, в которых принимают гостей, оказывается большее внимание. В особенности это касается трапезных комнат, где излишняя роскошь позволит хозяину дома произвести на гостей большее впечатление. Восседая на центральном месте, хозяин на время трапезы становится не только «царем» своего дома, но и царем всей вселенной, если принять во внимание космическую символику этой комнаты[25]. Если вилла выходит на сад или окрестности, то в комнатах, где принимается пища, есть и большие окна, притягивающие взгляд. В доме несколько трапезных: одна для лета, одна для зимы, большие комнаты для больших пиров, маленькие – для трапезы в узком кругу.

Другой комнатой, которая есть на каждой вилле, построенной по греческой моде, является библиотека. С тех пор как Эмилий Павел приказал перевести в Рим для своего сына библиотеку царя Персея и с тех пор как греческая культура стала частью достояния аристократии, каждый гражданин, занимающий хоть какое-то положение, собирает книги, и чем выше его положение, тем больше его библиотека. После захвата Афин Сулла присвоил себе библиотеку, которую некий грек выкупил у наследников Аристотеля. Через двадцать лет Лукулл привезет огромное количество книг из Азии[26]. В течение последнего века Республики эта мода проникает все глубже в зажиточные клас-

сы, и книги, переписанные от руки, стоят невообразимо дорого. Письма Цицерона свидетельствуют о разорительных попытках великого оратора и его друга Аттика составить значительные личные библиотеки[27]. Страсть к книгам у Лукулла дошла до такой степени, что он приказал построить специальные здания, в которых бы хранились книги, окруженные произведениями искусства, и которые следовало называть библиотеками, как и библиотеку Пергама. Там он охотно принимал читателей, в основном греков, с которыми мог вести ученые беседы. Позднее Азиний Поллион, Август и другие строили публичные библиотеки, окруженные портиками по греческим образцам.

Наконец, ванны, подобные тем, что были в греческих гимнасиях, превращаются в маленькие римские термы, иногда находящиеся прямо в саду, в стороне от основного дома, однако зачастую прикрепленные к основному зданию в окружении маленького укромного садика, напоминающего перистиль греческой палестры, как на вилле Диомеда в Помпеях. Как и позднее в больших общественных термах, чьими непосредственными предшественниками они являются, в них была комната для раздевания, баня с горячим, теплым и холодным ключами. Кроме того, более просторные виллы имеют также и большой бассейн на открытом воздухе, расположенный сбоку от спортивной площадки. Этот бассейн также может подогреваться, как тому находится подтверждение в письмах Плиния Младшего о его вилле под Лаврентом, где он так любил плавать, любуясь видом на море[28]. Роскошь, с которой были оформлены эти ванны, возрастает вместе с общей роскошью отделки виллы. Так, на вилле Сципиона, который один из первых построил себе загородную виллу, ванны темны и просто отделаны каменными плитами. Два века спустя, при Нероне, Сенека пишет о том, что «любой сочтет себя убогим бедняком, если стены вокруг не блистают большими дра-

гоценными кругами, если александрийский мрамор не оттеняет нумидийские наборные плиты, если их не покрывает сплошь тщательно положенный и пестрый, как роспись, воск, если кровля не из стекла, если фасийский камень, прежде редкое украшение в каком-нибудь храме, не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, если вода льется не из серебряных кранов. <...> Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем ступать иначе как по самоцветам»[29].

Что же касается внешней отделки, сад как продолжение виллы под греческим влиянием устроен так, чтобы обеспечить владельцу покой во время прогулки или отдыха. Садовник тщательно отбирает деревья. Возле бука, каштана или приморской сосны сажает он аллеи платанов и кипарисов, уроженцев далекой Азии. Начиная с эпохи Августа быстро развивается мода разбивать сады и стричь деревья[30] так, чтобы они образовывали определенный рисунок: и вот уже перед нами картины охоты, рыбной ловли или сбора винограда, или попроще — инициалы владельца. Розмарин или можжевельник окантовывают бордюры аллей; ряд кустов аканта ведет от к дерева к дереву; миртовые деревья подстрижены в виде беседки, чтобы гуляющий мог отдохнуть в их тени; стены ковром покрывают вьющиеся растения; плющ обвивает одну колонну за другой. Благовонные цветы растут вдоль аллей, чтобы в воздухе парил запах благовоний: здесь и базилик, и майоран, и тмин. То здесь, то там взору предстают каменные горки с цветами и даже искусственные гроты с фонтанами, своими названиями напоминающие почитаемых в Греции нимф. Они настолько популярны, что Плиний в своем «Естествознании» рассказывает о том, как выдолбить подобные пещеры в пемзе[31]. Сенека, вспоминая о подобных пещерах Ватии, пишет: «Там есть две пещеры, просторнее любого атриума, вырытые вручную ценой огромных трудов; в одну солнце не заглядывает, в другой оно до самого заката»[32].

Особая роль отведена воде, по образцу восточных садов. Не считая системы орошения, необходимой в подобном климате и требующей иногда устройства отдельного акведука для проведения воды в сад и к ваннам, римляне устраивали многочисленные фонтаны, мраморные бассейны, маленькие водопады в гротах и горках из камней, позволяющих летом добиться необходимой свежести и оживляющих лесную тишь приятным журчанием. В случае необходимости, чтобы в саду было более свежо летом, Плиний советует подавать воду так, чтобы она находилась под давлением, а потому поднималась высоко и «освежала воздух»[33]. Однако вскоре стало модным, чтобы ручей пересекал сад, прилегающий к усадьбе. Как повезло тем счастливцам, вроде Цицерона, чьи земли действительно омывают воды ручья! Остальным приходится создавать его искусственно и давать ему имя известного потока: Нил, Эврип, Фес... или даже Ганг. Вот уж точно явное свидетельство моды на все восточное! Некоторые из владельцев вилл устраивали у себя целую систему порожков и вентилей, чтобы создать искусственные приливы и отливы, водовороты и бури, таким образом присваивая себе и божественную силу властителей вселенной.

Начиная с последних дней Республики появляется и распространяется в не меньшей степени и другая мода — строить свою виллу на берегу озера или моря. Эта мода получает настолько широкое распространение, что Сенека даже жалуется на то, что берег моря буквально усыпан виллами, они фактически стоят стеной. Более того, учитывая капризный ландшафт неаполитанского побережья, устройство виллы на берегу требовало колоссальных по своей масштабности работ, стоимость которых по окончанию была равно стоимости всей виллы. «Где ни изогнется заливом берег, вы кладете основанья постройки, довольные только созданной руками почвою, гоните море вспять»[34], — возмущается Сенека. Именно такую виллу выстроил себе в

Сорренто Поллий Феликс. Побежденная природа должна была уступить воле и желанию человека. «Там, где ты сейчас созерцаешь равнину, раньше была возвышенность; дикие звери кормились там, где ты находишься под крышей дома; там, где ты видишь высокие леса, и самой земли раньше не было: владелец этой земли укротил ее, он все переделал по-своему, силой заставил попятиться горы, а покорная почва уступила. Теперь скалы подчинены, гора входит в дом и уходит, подчиняясь приказу»[35]. Конечно, Стаций позволяет себе увлечься, с поэтическим энтузиазмом описывая великое деяние человека. Но действительно, тут есть чему удивляться. На самом побережье находятся термы под двумя куполами, а рядом с ними храм Нептуну и храм Геркулесу. Затем портик ведет к вилле по извилистой дороге. Из окон самого дома открываются разнообразные виды на залив и острова. «Из этой части дома можно наблюдать восход и мягкое сияние Феба, из этой — его заход, а когда свет его потухнет, не уходите, в час, когда день устал, где тень от черной горы падает на волны, а отражение дворца танцует в хрустальной волне. Здесь дом вибрирует от шума волн, там никто ничего не знает о бурных волнах, лишь о тихой земле...»[36]

Наверное, два маленьких храма рядом с термами на вилле Поллия Феликса — удивительная находка. На самом деле все описания загородных вилл, которыми мы располагаем, упоминают о наличии в парках (в соответствии с возможностями владельца) большого количества разнообразных строений, которые обычно находятся в городе. Таким образом, вместе с модой на портики рождается и мода на прогулки, которая в греческих или азиатских странах обычно сопровождается приятной беседой. Именно поэтому каждый владелец виллы стремится устроить у себя длинную аллею, предназначенную для прогулок пешком или в носилках. Мы уже видели, что на вилле папирусов

предусмотрены прогулки по большому перистилю, общая длина которого составляет более 250 м. На вилле Адриана в Тиволи вдоль большого портика, воспроизводившего Пестрый, или Расписной, Портик в Афинах, можно совершить прогулку на расстояние более 430 м. При этом при всем своем имперском величии он не является самым большим. Роскошь — и власть! — владельца измеряется длиной прогулки по его владениям. Однако беседа может протекать и в гимнасии. Греческий гимнасий, другими словами, палестра и сады, в которых можно заниматься физическими упражнениями, появились в Риме достаточно давно, и мода на них никогда не сдавала своих позиций. Сначала потому, что греческие города вместе с их гимнасиями являли взору римлян большие и пропорциональные портики, которые не могли не впечатлить завоевателей; затем потому, что они предназначались не только для занятий спортом, но и служили местом встреч и проведения досуга. К тому же, учитывая их разнообразие, их было легко воссоздать в культуре завоевателей. Римским богачам оставалось только пожелать — и они уже, словно греческие цари, могли быть гордыми хозяевами гимнасия. В своей массе они повторяли двойные греческие портики, к которым иногда пристраивался и третий. В центре находился сад, состоящий из аллей, между которыми располагались рощицы. Римляне увлекались садами, которые предоставляли столь приятную атмосферу для бесед, ибо гимнасии в городах были нужны в основном как места для проведения бесед. Так Цицерон приказал построить в Тускуле два таких строения, одно из которых он нарек Академией, а другое — Ликеем, не столько в честь Академии и Ликея в Афинах, сколько для того, чтобы показать, что эти великие достижения греческой философии стали наследством римского оратора. Мы знаем, что эти два здания соединялись между собой рядом пристроек, в частности библиотекой

при Ликее, и именно в ней Цицерон любил читать свои произведения или просто проводить время с друзьями за разговорами о политике и философии. Здесь появились на свет и знаменитые «Тускуланские беседы».

Именно из гимнасий вышел и ипподром, мода на который распространилась только во времена Империи и который произвел фурор в конце I в. н.э. У истоков этой моды стоит никто иной, как Калигула, который в дни увлечения скачек на колесницах приказал построить себе личный ипподром для собственных развлечений. Подражание царю или императору – естественное, хотя и весьма дорогостоящее требование моды. Потому многие стали устраивать у себя своего рода сад в форме маленького ипподрома, который сохранял название, однако служил иным целям. Археологи обнаружили руины такого ипподрома при императорском дворце на Палатине. Тем не менее наибольший интерес представляет описание Плиния Младшего, друга императора Траяна, данное им ипподрому, который Траян построил на своей вилле в Тоскане.

> Эта планировка и эти удобные помещения ничто перед ипподромом. Он весь на виду, и вошедшие сразу и целиком охватывают его взглядом. Он обсажен платанами, а их увивает плющ, и они зеленеют своей листвой вверху и чужой внизу. Плющ пробирается по стволу и ветвям и, перекидываясь с дерева на дерево, соединяет платаны; между ними низенький букс; букс с наружной стороны обсажен лавром, добавляющим свою тень к тени платанов. Прямая широкая дорожка вдоль ипподрома в конце его изгибается полукругом; его окружают кипарисы; от них ложится густая черная тень; дорожки, идущие внутри кругами, залиты светом; тут растут розы, тут прохладно в тени и приятно на солнце. Кривая дорожка, опоясывающая пестрое

многообразие этого полукруга, выпрямляется, но теперь она уже не одна: множество дорожек идет внутри ипподрома, отделяясь одна от другой буксом; тут в одном месте лужайка, в другом посадки букса, подрезанного на множество ладов: иногда в форме букв, из которых складывается имя хозяина или искусника-садовода; тут он стоит в виде верстовых столбов; там ему придан вид фруктовых деревьев: в изысканнейшем парке вдруг появляется некое подобие деревенского сада. Посередине украшением ипподрому служат посаженные с обеих сторон низенькие платаны. За ними волнами ходит гибкий аканф, затем букс, подрезанный во множестве разных форм и имен. Там, где начало ипподрома, беседка с мраморной белой полукруглой скамьей; ее затеняет виноградная лоза, которую поддерживают четыре колонки Каристского мрамора; из скамьи, словно под тяжестью возлежащих, по трубочкам течет в каменную чашу вода; чаша вделана в изящную мраморную доску стола; вода, регулируемая скрытым механизмом, наполняет ее, никогда не переливаясь через край. Тяжелую посуду с кушаньями ставят по ее краям; легкая плавает кругом на игрушечных корабликах и птичках. Напротив фонтан, который выбрасывает воду и поглощает ее; взметнувшись вверх, она падает обратно; посредством соединенных между собой отверстий она то поглощается, то поднимается вверх. Около беседки, напротив нее, комната; это соседство делает еще краше и беседку и комнату. Комната сверкает мрамором; двери открываются в зелень листвы; из одних окон смотришь вверх на зеленый склон, из других – вниз. Маленькая, выступающая вперед веранда кажется частью той же самой комнаты и особой комнатой. Здесь стоит ложе, окна есть со всех сторон, но в комнате полумрак от тени: роскошная лоза, захватив всю крышу, поднимается до самого конька. Ты лежишь там словно в лесу, только не чувствуешь, как в лесу, дождя. Тут есть фонтан, вода в котором то появляется, то иссякает. В парке всюду расставлены мраморные скамьи, на кото-

рых, устав от ходьбы, отдыхают, как в спальне. Около скамей фонтанчики. По всему ипподрому журчат ручьи, текущие туда, куда их направила рука садовника; они поливают то одну часть парка, то другую, а иногда весь парк целиком[37].

Итак, сад становится символом изысканного эстетства и требует союза мрамора, знака греческой цивилизации, и зелени, которой рука мастера придает величие садов Востока. Разнообразные птицы с ярким оперением прогуливаются и оглашают воздух криками. С конца II в. до н.э. появляется мода на птичники, в которых владелец разводит самые дорогие и редкие виды птиц. Обустроить загородный дом не так уж и просто – нужно подходить к делу по зрелом размышлении, как показывает пример брата Цицерона. Цицерон приезжает посмотреть на работу греческого архитектора, который, по его мнению, слишком медлителен, и пишет брату: «Но все-таки, ему осталось закончить только бани, галерею и птичник. Усадьба очень понравилась мне вследствие того, что мощеный портик очень величествен...» О другой вилле, которую он приобрел для своего брата, он пишет: «...вода течет повсюду и в изобилии... <...> Я думаю, что если добавить садок для рыбы и фонтаны, а также озеленить палестру и насадить рощу, то у тебя будет удивительно приятная усадьба»[38]. Садок для рыбы, палестра, портик, сад для прогулок, птичник... – вот все те излишества, при помощи которых римский гражданин отдает дань моде и соответствует своему положению в обществе. Лукулл даже было выстроил в своем Тускульском имении залу для пиршеств, а вокруг нее – птичник, где рассчитывал доставить особое удовольствие сотрапезникам, деликатно обсасывающим косточки жареных птиц, в то время как вокруг порхают их сородичи. Однако эта фантазия нашла мало приверженцев, так как «не столько

радуют глаз птицы, порхающие у окон, сколько доставляет неприятности запах, бьющий в нос»[39].

Напротив, введенная богатыми собственниками мода на частные парки, в которых разводилась дичь, имела определенный успех. Собственные охотничьи угодья, огромное пространство, ограниченное стенами, наводит на мысль о восточных владыках; а свирепые хищники, бродящие за пределами «райского сада» Персии, напоминают о спектаклях в амфитеатрах, которые разыгрываются для себя. Можно ли придумать более явное доказательство своего могущества? Варрон рассказывает, как в последние дни Республики он был у Квинта Гортензия, у которого огорожено леса более пятидесяти югеров, т.е. около тринадцати гектаров, окруженных стенами. Там, после недолгой прогулки по окрестностям, он приглашает гостей отобедать и приказывает рабу, переодетому Орфеем, петь. Прозвенела кифара, прозвучал рожок; «тут кругом повалило такое множество оленей, кабанов и прочих животных, что зрелище это показалось мне не менее прекрасным, чем охота, которую устраивают эдилы в Большом цирке, когда нет африканских зверей»[40]. Чувства, обуревающие Гортензия, не многим отличаются от тех, которые испытывали греческие цари, показывая римским полководцам богатства Азии.

Таким образом, можно проследить все архитектурные фантазии, вдохновленные модой в больших загородных комплексах, начиная с башен, подобных тем, куда Гортензий приглашает своих друзей и которые представлены на многочисленных картинах или описаны в тех виллах, которые мы уже упоминали. Утопающие в зелени, они, во-первых, представляют столовую, открывающую панорамный вид на владения хозяина дома, а во-вторых, служат комнатами для отдыха. Предшественниц этих башен следует искать в «райских садах» в Персии, в Египте, по свиде-

тельству многих дошедших до нас изображений, да и фактически во всех странах Востока. Все эти здания, украшающие парки, имеют общее происхождение, о чем можно судить по крайней мере из их названий. Гимнасии, палестры, ипподромы, портики, термы, променады... их основной характеристикой является то, что они, равно как и сады, входят в архитектурный ансамбль греческих городов. Римляне были далеки от того, чтобы имитировать обычное жилище – будь оно даже царское – в своих владениях. Нет, они хотят иметь в своем распоряжении целый город, со всеми греческими и восточными элементами, с которыми римлян познакомила мода. Мода на архитектурные ансамбли частного комплекса – не что иное, как этап общих течений в градостроительстве: после того как победители украсили свой город архитектурными комплексами Востока, они хотят воссоздать их у себя дома. Именно это и имеет в виду Сенека, когда пишет о частных усадьбах, которые своей протяженностью превосходят большие города[41]. В самом Риме, пишет Апулей[42], дворцы самых богатых людей словно соперничают с самим городом, а украшены они, как настоящие храмы. И ведь правда, что большая вилла времен Империи стремится к тому, чтобы стать неким подобием города в сельской местности; равно как и сельская местность постепенно становится городской. «Того не знаешь, знать не можешь, Спарс, вовсе, живя прекрасно в Петильянском царстве. Там снизу дом твой на вершины гор смотрит: Ты – как в деревне, и садовник из Рима. Соберешь ты больше, чем Формийские склоны; В своем поместье в колеснице ты ездишь. И сон глубок твой. Ты работаешь, спишь ли, – Кто помешает? – Разве только сам впустишь»[43]. Такова, согласно эпиграмме Марциала, жизнь Спарса в его вилле на Яникуле.

На вилле Стеллы и Виолентиллы, которую описывает Стаций, время проносится в такой блаженной обстановке, что забываешь, находишься ли ты на вилле или в дерев-

не. «Там мы находим ливийский и фригийский мрамор; там — зеленый твердый камень, привезенный из Лаконии; там блестит алебастр, прожилки которого соперничают цветом с морскими глубинами, и камни, которые зачастую заставляют бледнеть от зависти пурпур Ойбала, и мастер, который следит за сирийским котлом. Фронтоны балансируют на бесчисленных колоннах, и цепь из далматийского металла блестит на солнце. Сень древних деревьев, задерживает солнечные лучи; прозрачные источники словно бы живут собственной жизнью во мраморе. Сама природа не следует своему древнему обычаю; Сириус здесь содрогается, зима поражает своей мягкостью и, меняя сезоны по собственному усмотрению, сия усадьба распоряжается ими в свое усмотрение».

Красота описания отодвигает на второй план стоимость такого следования моде, ибо на самом деле вилла была весьма дорогим приобретением. В большинстве случаев цену подобного великолепия сложно определить. Но у нас есть пример — одна из первых загородных вилл, возведенных во II в. до н.э. по приказу матери Гракхов, Корнелии. В конце века Марий покупает ее за 300 000 сестерциев, а меньше чем через полвека она переходит в собственность Лукулла за десять миллионов сестерциев, что составит инфляцию в 3333%. К тому же нам известно, что важный человек должен был быть владельцем не одной, а нескольких вилл. Цицерон был владельцем доброго десятка вилл, не считая бесчисленных временных пристанищ, которые служили ему во время переездов. Его дом на Палантине (в весьма престижном квартале!) стоил ему три миллиона сестерциев, однако дом Клодия, его соседа, обошелся ему аж в пятнадцать миллионов. Состояние Цицерона составляло приблизительно 120 миллионов сестерциев, а состояние Красса, самого богатого человека конца Республики, равнялось 400 миллионам.

Однако просто купить виллу было недостаточно. Ее вместе со всеми пристройками нужно было правильно расположить, обставить, декорировать. Мода требовала от человека, чтобы он был владельцем определенного ряда вещей, чтобы считаться «современным», и эти вещи, именно благодаря своей модности, стоили очень дорого. И здесь опять-таки ведущее влияние оказывает проэллинистическая роскошь. Прежде всего следует упомянуть любовь к серебру. Важность серебряных предметов в доме такова, что хозяин, принимая гостя, должен показать ему все свое серебро. Это было одно из негласных правил хорошего тона, и гость в праве требовать, чтобы ему показали богатства хозяина в случае, если этого не было сделано. При этом мода на серебро была относительно недавней: в начале II в. до н.э. цензоры принимали исключительно серебряные чаши и предметы для жертвоприношений, а в 275 г. до н.э. Фабриций вычеркнул из альбома имя престарелого сенатора, который хранил у себя десять ливров серебряной посуды[44]. В ту счастливую эпоху в Риме существовал всего один столовый набор из серебра, и сенаторы, которые должны были принимать у себя иностранных послов, занимали его один у другого. Велико же было изумление посланцев других держав, когда каждый вечер то в одном доме, то в другом через их руки проходили одни и те же серебряные блюда. Если Эмилий Павел всегда отказывался от ювелирных изделий, которые ему предлагали за его победы в Греции, то сундуки его сына, Сципиона Эмилиана, хранили уже тридцать два фунта серебра. Его племянник в 125–120 гг. до н.э. стал первым, кто хранил уже тысячу фунтов серебра, а Ливий Друс, правда, чуть позднее, имел уже десять тысяч. Однако количество уже не имело такого значения, на первый план выходило качество. Так, у оратора Красса было два кубка столь искусной работы, которые были оценены столь дорого, что он отказывался из них пить.

Вакханка. Помпейские фрески, фрагмент. Второй период, Вилла Тайн

Испуганная женщина. Помпейские фрески, фрагмент. Второй период, Вилла Тайн

Воспитательница. Помпейские фрески, фрагмент. Второй период, Вилла Тайн

Девушка с флаконом духов. Фреска, Национальный музей терм, Рим

С притоком в Рим сокровищ Греции, а еще более со входом царства Пергамского в состав Римской империи по дарственной царя Аталла уже никто не отказывался от предметов восточной роскоши; наоборот, каждый хотел урвать частичку этого богатства себе. В 95 г. до н.э. консул Л. Красс приобрел серебряные вазы за шесть тысяч сестерциев за фунт, т.е., как мы можем подсчитать, за сумму, в восемнадцать раз превышающую стоимость первичного материала. Стоило привезти из Азии новый материал, и мир словно сходил с ума. Мы уже говорили, как был встречен жемчуг, привезенный в Рим Помпеем. Император даже заказал свой портрет из жемчуга, о чем Плиний с возмущением пишет: «Это приятное лицо... эти честные черты, призванные внушать всеобщее почтение, — как могут они быть в жемчуге»[45]. Тот же Помпей впервые ввез в Рим мурины (плавиковые шпаты) и посвятил мурриновые сосуды Юпитеру. Они сразу же стали популярны, и стоимость их росла прямо пропорционально спросу на них. Тогда верили, что это жидкая субстанция, затвердевшая под землей под действием жары. Цена на изделия из муррина была разной в зависимости от цвета и прожилок, чей цвет варьировался от пурпурно-красного до белого. Из муррина делали блюда, посуду и поставцы, круглые столики на одной ножке. Стоимость одного предмета могла достигать трехсот тысяч сестерциев, а Плиний приводит историю одного консула, который пил из мурринового кубка, купленного им за 70 000 сестерциев. Он так любил пить из него, что обгрыз его края в приступе фанатической страсти, однако этот приступ жадности лишь увеличил стоимость кубка! В течение века цены только поднялись: у Нерона был кубок стоимостью в миллион сестерциев[46].

Предмет можно считать модным, когда цены на него взлетают, а покупатели продолжают его приобретать. Такая история произошла и с хрусталем. «Им [хрусталем] тоже увлекаются до безумия», — пишет Плиний[47]. Хрусталь

привозили в Рим из разных мест, наиболее изысканным был хрусталь с Востока, ввозимый через Индию. Плиний рассказывает историю одной женщины, отнюдь не богатой, которая купила ковш из хрусталя за сто пятьдесят тысяч сестерциев. Еще одним из доказательств существования моды на хрусталь является и то, что поразительно рано появились имитации хрусталя, сделанные из стекла, однако при том, что цена на стекло вследствие этого поднялась, цена на настоящий хрусталь не понизилась[48].

Таким же образом с конца II в. до н.э. поднимается и цена на ткани из Пергама и с Востока, а также на кровати, столы и сундуки, украшенные чеканной бронзой. Подсвечник из Эгина можно было купить за цену от 25 до 50 тысяч сестерциев. В то время ложе для отдыха в пиршественной зале, сотканное в Вавилоне, могло стоить до 800 тысяч сестерциев, и Катон, которому один такой ковер достался по наследству, избавился от него, как от символа разложения. Однако мода на них сохранялась, и у Нерона были покрывала стоимостью четыре миллиона сестерциев[49].

В I в. до н.э. женщины, которых мужчины упрекали в чрезмерной страсти к жемчугу, могли бы ответить, что зашли в ней не дальше, чем сами мужчины в своей страсти к столикам из лимонного дерева или туи, привозимым с Атласских гор. Цицерон купил один такой столик за пятьсот тысяч сестерциев, однако таких столиков у него было на полтора миллиона[50]. Не говоря уж о Сенеке, у которого было около пятисот таких столов! Мода граничит уже с болезненным желанием обладания, и подобные примеры позволяют предположить, до чего оно могло довести граждан Республики, переживающей агонию. Во времена Империи эта неоправданная страсть к роскоши зачастую становится единственным признаком принадлежности человека к избранному классу. При этом соперничество только обостряется. Можно вспомнить описания Петрония в «Сати-

риконе» или описание пиршественной залы в «Метаморфозах» Апулея: «Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие чаши, разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно ограненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, — все здесь было»[51].

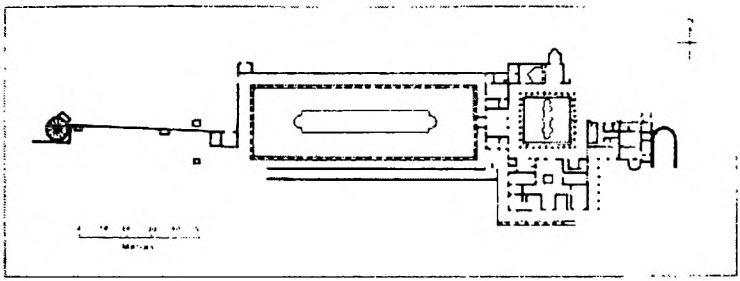
В любом случае эта экстравагантность объясняет, как в Риме развился определенный аспект моды, воплотившийся в частных коллекциях с начала II в. до н.э. Мы уже упоминали, что с наплывом из Азии произведений искусства они размещались в общественных местах — храмах, портиках, превращая их в настоящие музеи. Развитие индивидуализма и возрастающая активность «новых богачей» привели к тому, что они захотели украсить свои виллы частными коллекциями, по образу и подобию греческих царей в их восточных дворцах.

Стоит остановиться поподробнее на тех произведениях искусства, которые были найдены на описанных ранее виллах. На Вилле папирусов в Геркулануме археологи обнаружили целый лес статуй из мрамора и бронзы, большинство из которых хранится теперь в музее в Неаполе: спящий сатир, хмельной фавн, сидящий Меркурий, приписываемый Лисиппу, фигуры борцов, гермы, бюсты принцепсов, царей, философов, поэтов, скульптуры животных, два очень известных портрета — портрет оратора Эсхина и великолепная голова, как долгое время считалось, Сенеки... целая художественная галерея, в которой основные произведения — как оригиналы, так и копии — украшали большой сад-перистиль. Подобным же образом вилла Полия Феликса в Соррентине хранила, согласно Стацию, целый ряд редких работ, «картин и бронзовых статуй, все,

что могли оживить краски Апеллеса, все, что создавали руки Фидия; ...те, что были вызваны к жизни искусством Мирона или резцом Поликлета; а также бронзовые статуи, те, что ценнее золота, спасенные из пепла Истма (Коринфа), бюсты правителей, вдохновленных поэтов, мудрецов минувших лет, которым ты привык следовать в своей жизни, все, что ты вкушаешь всей душой, освободив от трудностей умиротворенный дух твоей добродетели спокойной...»[52]

Владеть всеми этими предметами роскоши — признак могущества и средство продемонстрировать собственное превосходство. Конечно, некоторым была свойственна и реальная любовь к искусству, но именно мода сыграла свою решающую роль после того, как в Рим ввезли произведения искусства из Греции и с Востока. К тому же во времена Республики римская нравственность отвергала искусство. Для римлянина художники являются не более чем рабами, а искусство вряд ли может заинтересовать достойного гражданина. Вергилий в «Энеиде» пишет: «Римлянин! Ты научись народами править державно — в этом искусство твое! — налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных», в то время как право «создать изваянья живые из бронзы или обличье мужей повторить во мраморе» предоставляется «другим»[53]*. Сам Цицерон, хотя нельзя отрицать наличия у него определенных художественных вкусов, так как он жил в Афинах и Родосе и часто общался с великими греческими деятелями искусства, которые многому его научили, ощущает необходимость уважать эту официальную концепцию искусства, поэтому во время процесса Верреса он делает вид, что ничего не знает о великих художниках и прилюдно просит своего секретаря напомнить ему имена, которых он якобы

* Здесь и далее цитаты из «Энеиды» в пер. С. Ошерова.



Вилла папирусов в Геркулануме
(согласно Компанетти)

Здесь виден большой «царский» перистиль, который в какой-то степени, примыкает к самой вилле и продолжает ее, так что она своими размерами и положением повторяет греческий дворец.

не помнит. Тем не менее сам он активно приобретает произведения искусства для украшения своей виллы, на что тратит целое маленькое состояние. В Тускуле, сидя под одним из двух портиков, которые он приказал построить и нарек Академией и Ликеем, он пишет своему другу Аттику: «Прошу тебя, как можно более удобным способом погрузить <...> все прочее, что тебе удастся найти и что подойдет для известного тебе места, особенно же то, что покажется тебе нужным для палестры и гимнасия», а также «приобрести барельефы, которые я мог бы вставить в штукатурку стен малого атриума, и две каменные ограды с изображениями для колодцев»[54]. Итак, он хочет приобрести произведения искусства «в возможно большем количестве»[55] и собрать все статуи в тускульской усадьбе, оставив украшение других вилл на более поздний срок, когда он будет «богатеем».

Цицерон выказывает себя истинным эстетом в том, как он располагает свои коллекции. Однако этого нельзя сказать обо всех коллекционерах. В этом отношении в моде

четко выделяются два элемента: цена и копии. Цена на произведения искусства не перестает расти, и Цицерон с полным правом жалуется, что он может себе позволить далеко не все из того, что он хотел бы. Нам известно, например, что Гортензий, современник Цицерона, заплатил 140 тысяч сестерциев за картину, изображающую аргонавтов, кисти Лидиаса и приказал построить отдельную комнату, чтобы разместить ее на своей вилле в Тускуле[56]. Сам процесс поиска известного полотна и его приобретение оказываются сродни подвигу и покрывают победителя настоящей славой. Но для тех, чьи финансовые средства ограничены или кто жаждет иметь ту статую, которая уже принадлежит другому, остается только приобрести копию. Итак, перед нами индустрия, играющая важную роль на рынке искусства. Механическое копирование, которое заключается в том, что с оригинала делается слепок и потом основные точки оригинала переносятся на мраморную глыбу, с последних дней Республики входит в моду. Все копируется: статуи, мозаики, картины; кажущаяся полнота произведений искусства, которые сохранились до наших дней, на самом деле мнимая — они являются копиями или адаптациями греческих работ. Оригинальные работы появляются также за счет комбинации элементов многих картин в одной. Впрочем, некоторые имена известны и в Риме в I в. до н.э.: Паситель, Стефан, Архесилай. Иногда эти скульпторы или художники оказываются связаны с тем или иным богатым и влиятельным римлянином, и тогда на их работы растет цена. Так, Архесилай был другом Лукулла, и мы знаем, что цена даже на его макеты достигала цены на законченные работы других скульпторов. Часто с этих макетов делали простые копии, и тем кормилась целая куча скульпторов. Иногда бывало и так, что скульптор приспосабливал оригинал к нуждам заказчика: достаточно часто встречаются две копии одной и той же статуи, одна-

ко при этом одна из них повторяет оригинал зеркально противоположно первой. Коллекционер мог захотеть, чтобы в двух противоположных углах его атриума стояли парные статуи. Однако самым распространенным обманом было вписывание имен модных мастеров — Праксителя, Поликлета, Фидия на новом мраморе. Или, например, можно было на новый серебряный предмет навести старинную патину и выгравировать имя известного Мирона. Похоже, что доверчивость коллекционеров не знала границ; для них же самих вещь имела ценность, если она насчитывала уже несколько веков истории. Уродливый, но древний стол пользовался большим спросом, чем современный шедевр. Наиболее ценными считались те серебряные сосуды, «чеканка которых стерта от употребления до неузнаваемости изображения»[57]. И таким известным гражданином, как Гай Юлий Цезарь, и Дамасиппом, про которого известно лишь то, что над ним издевается Гораций, двигало единое желание: приобрести «древние статуи»[58]. Цена становилась выше, если этот предмет до продажи принадлежал известному человеку. Разве можно отказать своим гостям в желании узнать «серебра своего родословье» из боязни, что «киснуть вино от пустословья начнет»?[59] Сколь горд должен быть Нонний Виндекс, если его маленький Геркулес, приписываемый резцу Лисиппа, принадлежал поочередно Александру Великому, Ганнибалу и Сулле![60] Вот каковы были критерии ценности предмета.

Мода на коллекции послужила толчком к спекуляциям произведениями искусства, как оригиналами, так и подделками. Веррес, который был наместником сначала в Азии, потом на Сицилии, только этим и занимался в своей мастерской в Сиракузах. Там претор собирал все золото, которое он мог отобрать у богатых сицилийцев, и, окруженный произведениями искусства, чеканной и ювелирной работой, создал настоящую фабрику по подделке произведений

античности. «Украшения, сорванные с кадильниц, были так удачно прилажены к золотым чашам, что казалось, будто они были созданы именно для них»[61].

Веррес занимался не только весьма сомнительным распространением произведений искусства, но и составлял личную коллекцию. Как и для многих коллекционеров той же эпохи, для него это мания, граничащая с безумием. Цицерон, обвиняющий его на процессе, рассказывает, что был в его доме: ни в комнатах, ни в каком-либо уголке атриума или сада нет такого места, чтобы в нем не хранились сокровища, вещи редкие и разнообразные, оттеняемые где пурпурной драпировкой, а где подстриженной зеленью деревьев. С бронзовыми статуями Мирона или Поликлета соседствует Купидон Праксителя (одного из самых почитаемых и дорогих скульпторов в Риме того времени). Кроме древних статуй, привезенных из Сицилии, бюсты, картины, изделия из слоновой кости, вырванные из храма Минервы в Сиракузах, украшают каждую комнату его жилища. На видных местах красуются красивейшие образцы ювелирного мастерства: чеканные вазы всевозможных форм, серебряные кувшины для воды, золотые кубки, кубки серебряные, инкрустированные алмазами, – все эти изысканные предметы украшены рельефными фигурками. На столах – ложки изумительной работы, серебряные блюда и кубки всех размеров. Ковш для вина, выточенный из целого драгоценного камня, с ручкой из золота. Особое место отведено ювелирным изделиям: что за впечатляющая коллекция колец и драгоценных камней, которые претор отобрал у своих подчиненных. К этому можно прибавить мебель: кровати, инкрустированные бронзой, столы из мрамора и из туи, золотой подсвечник из Антиохии, высотою в два метра, усыпанный драгоценными камнями. Вокруг царит атмосфера роскоши, которую передают и ковры, и расшитые ткани, дорогие и роскошные.

К несчастью, подобное скопление сокровищ оставляет определенное тягостное впечатление одержимости. Похоже Веррес, как и многие его современники, столь поддался своей страсти, что из-за своей неразборчивости лишил свою коллекцию настоящей ценности.

Мода во II–I в. до н.э. объясняется отсутствием художественного образования у римлян. Бросаясь (вслед за знатными и именитыми) открывать для себя произведения искусства, многие ставят перед собой лишь одну цель: не остаться за бортом этой маленькой культурной революции, которая стала переломным моментом в истории Римской республики. Теперь важно не оказаться среди стариков, время которых ушло. Следом за этим появится и художественное образование, что будет одним из счастливых последствий проникновения культуры Греции в Рим, как в том, что касается градостроительства, так и в том, что касается частного быта людей.

Глава IV

ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ МОДЫ

Итак, Рим покорил Восток, после чего богатства Эллады и греческая мода наводнили Рим. Мало-помалу лицо города меняется; меняется и менталитет его жителей. Не отрицая примера скромной жизни своих достославных предков, аристократы отказываются от античной простоты. Римляне хотят увековечить свои победы и свою новую жизнь, сделать свое существование «царственным»; их повседневный быт с легкостью впитывает в себя влияние тех царств, которые они покорили.

В тех дворцах, зачастую роскошных, которые завоеватели приказали построить, убранство дома становится фактором моды. После дальних военных кампаний – войн в Африке, Греции, на Востоке – количество рабов, согнанных в Риме и Италии, например при Августе, достигало трех миллионов человек, что составляло больше четверти обитателей полуострова. И ничего удивительного в том, что хозяин мог исчислять своих рабов сотнями и даже тысячами, как тот Цецилий, у которого их было четыре тысячи сто семнадцать, согласно завещанию[1]. Большое количество рабов – это не просто причуда богатых или дань удовлетворенному тщеславию; оно также отражает и разнообразие богатства и позволяет предугадать амбиции того, кто владеет состоянием. Количество рабов определяет также и социальный класс, к которому принадлежит владелец, и объясняет то снисхождение, с которым римля-

не относились к плебеям, вынужденным самим обслуживать себя. Впрочем, в те времена редко кто не мог себе позволить хотя бы одного прислужника; даже у куртизанок были слуги, и Марциал с полным основанием замечает, что бедный гражданин, которому приходится жить и работать на богатого патрона, не более, чем раб[2]. Далеки те времена, когда аристократам вполне хватало и услуг сыновей пастухов или скотников, неуклюжих, только-только приехавших с фермы: как описывает их Ювенал, «все в одинаковой одежде рабы, коротковолосы, только сегодня они причесались, гостям услужая»[3]. В те дни и служанки-то нужны были для того, чтобы «ткать, молоть, колоть дрова, дом мести, урок свой делать, битой быть, на всю семью каждый день готовить пищу»[4]. И лучше даже, чтобы служанка не была слишком красивой, так как в противном случае «с красотой такой — скандал вслед за матерью семейства ей идти по улицам. Тут галдеть, глазеть начнут и кивать, подмигивать, звать и приставать, под дверью петь, щипать, подсвистывать. На дверях стихов любовных углем понапишут мне. Сплетников теперь немало. И запишут в сводники нас с женою. Ну какая в этом, право, надобность?»

Начиная со II в. до н.э. ситуация меняется, и важнейшую роль в этом играет мода. С этих пор модным становится не просто иметь рабов, и даже не просто иметь много рабов, но иметь слишком много рабов. В какой-то степени рабы становятся живым доказательством того, что их хозяин следует законам моды, а сама незначительность исполняемых ими обязанностей — излишней, показной роскошью, которая свидетельствует о больших притязаниях хозяина и занимаемом им положении в обществе. Следует также отметить и то, что исполняемые этими рабами функции развиваются под воздействием иностранных обычаев и нравов и в прямой зависимости от моды: само увлечение прогулками, ванны, кухня и приемы, культурная жажда, —

одним словом, все то, что объединяется понятием *otium graecum* (греческий образ жизни). Не стоит забывать и о тех услугах, которые требуются с некоторых пор римским женщинам, что связано с новым их положением в Риме в последний век Республики.

Не так-то просто жить в роскошном доме! У владельца есть все основания опасаться, как бы воры не лишили его всех произведений искусства или как бы в одну прекрасную ночь пожар не превратил все его богатства в руины, а его в бедняка. Без сомнения, ему, как пресловутому Лицину у Ювенала, приходится держать наготове ведра с водой и заставлять «сотню рабов караулить свой дом по ночам, ибо в страхе он за янтарь, за колонны фригийские, статуи в доме и за слоновую кость, черепаху огромную». Таким образом «то, что добыто с мученьем таким, охраняется с большим страхом, заботой: стеречь тяжело состоянье большое»[5]. Более того, у двери должен постоянно дежурить бдительный раб, желательно мощного телосложения и устрашающего вида (предпочтительно сириец), и у каждой двери в доме тоже следует поставить охранника, чьи обязанности сводятся к тому, чтобы наблюдать за гостями и провожать их в дом. Вот как хозяин дома (или управляющий, который действует от его имени) взывает к профессиональной сознательности своих охранников. «Если впредь на нашей крыше вы чужих заметите и не перебьете ног им, вас исполосую я», — кричит старый Перикломен, который просто не переносит, когда соседи подглядывают в отверстие в крыше, которое находится над имплювием. Вот какой наказ дает он своим рабам: «Чуть увидите на крыше из соседских впредь кого <...> — сбросьте вниз на улицу! Скажет, лез за обезьяной, курицей ли, голубем — бейте насмерть, а иначе тотчас вам самим конец!»[6]

В ваннах также требуются особые прислужники: банщики, массажисты и парфюмеры. Значительной фигурой

становится и повар, от которого хозяин требует не только оригинальности, но и виртуозного искусства. Сам процесс подачи блюд, в особенности во время большого приема, превращается в настоящий спектакль, и качество этого спектакля является большим преимуществом в том соперничестве, которое по велению моды ведут между собой богатые римляне. Именно поэтому повар окружен целым батальоном помощников, которые занимаются соусами, хлебом, сладостями. А в комнате для приемов, повинуясь приказам управляющего, вереница рабов танцует настоящий балет: они подготавливают места для гостей, накрывают на стол, а затем, когда начинается пир, режут хлеб и разносят его, режут мясо, пробуют каждое блюдо перед тем, как подать его гостям... а еще есть рабы, которые наполняют бокалы, чтобы не оказалось, что гостю нечего пить... у ног хозяина сидят несколько молодых рабов, готовых сорваться с места по первому же его кивку. Мода требует, чтобы красота рабов, присутствующих при приеме пищи, гармонично сочеталась с изысканным вкусом подаваемых блюд. Грубых пастухов с сельской фермы сюда и не допустили бы; здесь прислуживают юные красивые мальчики, привезенные с Востока, чья матовая кожа необычно сочетается с белизной короткой туники, лишь слегка придерживаемой на талии достаточно свободным поясом. Рабы из Александрии известны своим язвительным характером и едкими размышлениями, которые и раздражают, и забавляют гостей. Их длинные волосы, ниспадающие на плечи красивыми кудрями, располагают гостей к чувственным удовольствиям, и хозяин остается доволен, когда они подставляют под руки гостям свои шевелюры, чтобы те могли вытереть об них жирные пальцы.

Особое предназначение у рабынь – наиболее модными считаются девушки из Гадеса. Они очаровывают гостей пленительными волнообразными изгибами своего тела, их

танцы радуют взоры гостей. Услада для зрения, осязания, вкуса – обед превращается в праздник чувственности, особое, привилегированное времяпрепровождение на манер пышных восточных празднеств.

В какой-то степени хозяин дома и производит впечатление царя. Именно таким он хочет казаться, потому что быть модным в то время означало жить в роскоши. Если он покидает дом, то его сопровождает настоящая свита, которую в массе своей составляют рабы. Вот его несут по улицам в носилках шесть или восемь мощных фракийцев или каппадокийцев, в то время как остальные расчищают дорогу или замыкают шествие. Ночью факельщики освещают путь. Рядом с господином сидит *номенклатор*, подсказывающий ему на ухо имена встреченных людей, что позволяет власть имущему создать у бедняков иллюзию того, что он их знает и помнит, и, таким образом, добыть себе лишний голос на ближайших выборах.

Иностранные завоевания повлекли за собой и процесс эмансипации женщин. Роль, которую женщины играют в обществе, становится все более значимой. Теперь в их распоряжении находится целая армия рабов, специализирующихся на «модных» услугах. Мы уже могли проследить, что за новые излишества в том, что касается одежды и украшений, вызвала к жизни мода. После этой эволюции римлянкам понадобились служанки, которые умели бы ткать шелковые ткани и вышивать золотой нитью. Туалет становится своего рода церемонией, во время которой целая толпа молодых девушек вьется вокруг хозяйки. У каждой из них очень четкие обязанности, а управляющая, как в балете, следит за тем, чтобы каждая выходила в свой черед. Одна девушка обмывает тело госпожи, другая – массирует, третья – умащивает тело кремами, еще одна – удаляет волосы, еще одна – расчесывает волосы, завивает, разводит краску, красит, умащивает духами, передает пудру, держит зеркало... Одни девушки подают одежду, другие – украшения.

Словно владычица, правит римлянка этим услужливым роем, прежде чем, наконец, пройти вдоль выстроившихся, согласно иерархии, в ряд рабынь, каждая из которых по порядку выразит свое мнение о результате скрупулезного действа – утреннего туалета римской матроны.

После того как римскую матрону так долго наряжают, желание показать себя свету вполне естественно. К тому же римская мода постоянно меняется – нужно же показать, что ты ей следуешь! Таким образом, прогулка становится тем желанным случаем, когда можно заставить побледнеть от зависти дам из приличного общества. Жена, как и муж, обычно покидает дом в носилках, окруженная многочисленной свитой, в которой можно найти представителей фактически всех покоренных провинций. Вечерняя прогулка превращается в триумфальное возвращение полководца-победителя, за которым следуют пленники всех рас и цветов кожи. Впереди кортежа бегут несколько нумидийцев, чья эбеновая кожа заставляет ярче блестеть на солнце серебряные пластины, которые болтаются у них на шее. За ними, согласно моде, или, можно сказать, согласно победам, одержанным римлянами, идут мощные сирийцы или устрашающего вида германцы, которые несут носилки, в то время как вокруг порхает целая стайка посыльных или просто хорошеньких мальчиков из Азии с вьющимися волосами. К ним можно прибавить вслед за модой на интеллектуальность, пришедшей из Греции, и нескольких ученых, риторов или философов. К их наставлениям следует прислушиваться – это в правилах хорошего тона. Однако, к счастью, сообщает нам Лукиан, вскоре к носилкам подойдет красавец-раб и передаст госпоже надушенную записку, в которой содержится приглашение заняться гораздо менее заумными вещами.

Все эти поэты, грамматики, философы – всего лишь другой тип рабов, и популярностью своей они обязаны исключительно греческой моде. Ранее мы уже говорили о

том, какое место занимала в доме библиотека. Ее должны были обслуживать значительное число копировальщиков, писцов, писателей, ученых и специально обученных людей, подготавливающих папирус и свитки. В число интеллектуального персонала входили также врач и учитель. Без них, не рискуя упасть в глазах других, аристократ последних лет Республики не мог обойтись. Также хорошим тоном считалось, чтобы хозяин обладал некоторыми познаниями и умел при случае процитировать известное стихотворение или высказывание. Верхом снобизма, вызванного к жизни модой, стало решение некоего Кальвизия Сабина, лишенного каких-либо знаний, который не хотел прослыть за полного невежду. Он купил за большие деньги рабов, одного он заставил заучить наизусть Гомера, второго — Гесиода, еще девятерых он распределил по одному на каждого поэта, известного своими лирическими произведениями. Тогда стал он донимать гостей за столом, проверяя их познания в поэзии; при этом у его ложа стояли слуги, подсказывающие ему стихи в нужный момент. К несчастью, он все-таки запинался на полуслове, забывая продолжение цитаты[7].

Не стоит думать при этом, что рабы могли исполнять несколько функций в домашнем хозяйстве и что тот, кто резал мясо во время еды, мог нести факел во время ночной прогулки, или что массажист мог быть одновременно и носильщиком. Каждый исполнял только свои обязанности, какими бы незначительными они ни были, и количество слуг, необходимых в доме знатного и важного человека, увеличивалось до бесконечности. На это тратились значительные средства, и вполне естественно, что рабы, купленные исключительно по прихоти моды, являлись и самыми дорогими. Цены на рабов, как и на многие другие вещи, находились в прямой зависимости от моды, и именно их неравномерность и позволяет говорить о временном увле-

чении, не знающем границ. И хотя молоденькие мальчики из Греции или Александрии не становятся краше, а кроме красоты, им больше и хвастаться нечем, но, учитывая, что эти страны стали римскими провинциями, добыть рабов родом из этих стран все сложнее. Катон писал, что красивый прислужник стоил больше, чем надел земли, а повар — дороже, чем бык[8]. В последние годы Республики молоденький мальчик из Малой Азии стоил от ста до двухсот тысяч сестерциев[9]. Однако что за радость — представить гостям нового виночерпия, этот «Азии цвет», который стоит больше, чем «всех римских царей состоянье»; а еще можно, чтобы кубок подносила «худая рука черномазого мавра, или [раб] такой, с кем бы ты не хотел повстречаться средь ночи, мимо гробниц проходя по холмистой Латинской дороге»[10]. Ради такой роскоши многие не отказались бы растратить все свое наследство и за один вечер[11]. Сабин у Сенеки заплатил по сто тысяч сестерциев за каждого из своих рабов-«суфлеров», но, если бы он купил их уже воспитанными и с нужными ему знаниями, ему пришлось бы раскошелиться на сумму в семь-восемь раз большую, чем заплаченная им[12]. Только безумное желание обладать «необычной вещью» может объяснить подобные траты. Так однажды некий Тораний продал Антонию за двести тысяч сестерциев двух молодых рабов, выдавая их за близнецов. На самом же деле один из них был уроженцем Азии, а другой — Галлии. Антоний раскрыл обман, но продавец сказал ему, что редкость подобного неродственного сходства заслуживает столь высокой цены. Это понравилось Антонию, который не хотел уже ни за что на свете расставаться с этими фальшивыми близнецами[13].

Уже сам факт того, что римляне стали покупать рабов ради роскоши, позволяет нам проследить изменения, которые мода внесла в их повседневную жизнь. Однако наиболее ярко их иллюстрирует жизнь римских женщин. До того

момента, как греческая мода проникает в Рим, римские матроны знать ничего не знали о светской жизни. С появлением же греческой культуры жизнь становится легче, и женщинам открываются неведанные доселе удовольствия, роскошь, которой они раньше не знали, привнесенная из богатых восточных стран. Женщина учится наряжаться, соблазнять мужчину; она знакомится с искусствами и культурой, и неудача Катона, выступавшего в защиту Оппиева закона, свидетельствует об этих новых тенденциях в обществе. В то же время неожиданные изменения, неосознаваемые самими римлянами, толкуются как доказательство порока и чрезмерной роскоши. В древности, как пишет Ювенал, «некогда скромный удел охранял непорочность латинок, и небольшие дома не давали внедряться порокам там, где был труд, где недолог был сон, и грубые руки были от пряжи этрусской жестки». «На наши холмы просочился яд Сибариса, Родоса, Милета, отрава Таранта, где и венки и разгул и где господствует пьянство». Таково воздействие богатства — оно «развратило роскошью гнусной все поколение»[14]. Многие моралисты того времени, разделяя мнение известного сатирика и желая восстановить старые добрые нравы, забывают о том, что эволюция в обществе вызвана изменением статуса города: Рим более не поселение пастухов, но столица мира. Пьяницы и развратники! Такими представлялись им те, кто во времена Республики способствовал продвижению нового стиля и образа жизни женщин. Последние же, обретя независимость с финансовой точки зрения, входят в жизнь определенной категории общества. Они выходят в свет, демонстрируют свою красоту и свою свиту, посещают спектакли, открывают у себя салоны, отстаивают свое право на любовь и культуру. Женщины учат греческий и стихотворения Каллимаха, Феокрита и других, не забывая и о Сапфо. Умение петь, играть на кифаре или танцевать становится неотъемлемой частью

женских чар. Она должна уметь играть в сотню игр: «Много есть игр, и надо их знать красавице умной», и вместе с тем «надо играть: за игрой часто родится любовь»[15]. Современная женщина должна получить настоящее воспитание, вплоть до осанки и манер. Вот каковы советы Овидия по этому поводу: женщина должна бдительно относиться к своей красоте и скрывать свои физические несовершенства; следить за движениями рук, если у нее толстые пальцы, воздерживаться от смеха, если у нее кривые зубы. Кроме того, в смехе и плаче тоже недопустимы импровизации: нельзя слишком широко раскрывать рот, реветь, как ослица, «не сотрясать без конца утробу натужливым смехом». «Рот раскрывай не во всю ширину, пусть будут прикрыты зубы губами, и пусть ямочкой ляжет щека. <...> Женственно должен звучать и легкомысленно смех»[16]. Голос должен быть мелодичным, и при этом мода может требовать искажения произношения с единственной целью — сделать его более соблазнительным. «Ну, а что уж о том говорить, как нарочно картавят и по заказу язык нужный коверкает звук? Этот невнятный лепечущий выговор — тоже ведь мода: нужно учиться болтать хуже, чем можешь болтать»[17]. Важна также и походка: движение бедер, позволяющее развеваться складкам туники по воле ветра, или величественная манера поднимать ступню... не эти ли маленькие модные ухищрения то выходят из моды, то снова возвращаются в течение уже стольких веков? Однако стоит лишь вернуться во времена суровой морали Рима времен Республики еще до завоеваний, и становятся понятны и страх, и ошибочность мнения моралистов, которые зачастую плетутся в хвосте, не успевая за скоропалительным изменением нравов. Образованная женщина кажется римлянам подозрительной, в особенности во II в. до н.э., равно как и в доброй половине I в. до н.э. Саллюстий говорит о Семпронии: «Ввиду своего происхождения и внешности, как и

благодаря своему мужу и детям, эта женщина была достаточно вознесена судьбой; знала греческую и латинскую литературу, играла на кифаре и плясала изящнее, чем подобает приличной женщине. <...> Однако умом она отличалась тонким: умела сочинять стихи, шутить, говорить то скромно, то неясно, то лукаво; словом, в ней было много остроумия и много привлекательности»[18]. Таким же образом женщины, подобные Клодии, Лесбии Катулла, по происхождению принадлежавшие к аристократии, умели извлекать выгоду из того образования, которое они получили. Может быть, конечно, они слишком кичились им. Но сколько стихов были вызваны к жизни поступками Клодии! Однако Цицерон в своей «Речи в защиту Целия» рисует ее портрет как великосветской львицы, наслаждающейся обществом мужчин, во всем следующей моде: он упрекает ее за наряды, свиту, распущенность и количество связей с мужчинами, когда описывает ее как «женщину легкого поведения, привлекательную и провоцирующую мужчин», чем, конечно же, передает лишь одну сторону вещей. Однако это преувеличение объясняется необходимостью оправдать своего клиента, очернив Клодию, да и самому Цицерону не может не доставить удовольствие несколько приукрасить ее грехи, так как наверняка он пережил отказ прекрасной дамы, предпочитавшей ему более молодых воздыхателей. На самом деле та Клодия, которую рисует Цицерон, может считаться светской дамой, следующей моде, а модная свобода нравов может шокировать древних римлян, не одобрявших подобной морали. Это и является основным аргументом счастливого оратора. Действительно, немногие женщины, принадлежавшие к высшей аристократии, в I в. до н.э. могли позволить себе вести себя столь же раскованно, вызывающе и упрямо, как Клодия. В то время Овидий еще не написал своих наставлений. Однако уже через несколько лет новая мода окончательно

сокрушит последние бастионы старой морали. Уже последние годы Республики отмечены появлением новых ценностей. А во времена Империи никто уже и не удивляется, что дочь Овидия может стать поэтом[19] или что Агриппина, мать Нерона, пишет воспоминания, которые в качестве своего источника указывают Тацит и Плиний[20]. Во времена Траяна Плиний Младший радуется тому, что его жена интересуется его произведениями и сама сочиняет мелодии к стихам мужа[21]. Но Марциалл не советует жениться на слишком ученой женщине тому, кто хочет быть счастливым[22].

После Второй Пунической войны в истории Рима наступает период, характеризующийся радикальными изменениями, и древние ценности вытесняются теми, что пришли вместе с роскошью и нравами с Востока. Простым добродетелям, вроде силы и семьи, приходит на смену жажда радости и наслаждений, которой не ведом дух самопожертвования. После краткого периода солидарности, который потребовала от римлян борьба с Ганнибалом, иностранные веяния в моде вызвали жажду личных амбиций и соперничество, которое породило индивидуализм. Подъем, происходящий в сфере женской моды, является идеальным тому примером. Мода проникает в общественную жизнь настолько глубоко, что провоцирует полное и необратимое изменение менталитета. Она иллюстрирует «*otium graecum*», который римляне сделали своим, при этом далеко не всегда сохраняя философский подтекст заимствованного образа жизни. И пусть даже деревня все еще остается тем прибежищем, где может укрыться добродетель, в противовес городу, который является логовом пороков и разврата, именно она предоставляет базу для развития этого нового образа жизни, ведь именно в деревне строятся многочисленные роскошные загородные дома, которые, как мы видели, предоставляли те же удоволь-

ствия, разве что во много большем объеме за счет доступного пространства. Вместе с тем мода на новый стиль жизни может появиться только в городе, где в соответствии с греческой моделью строятся большие площади и портики. И если это искусство и переносится в сельскую местность, то прежде необходимо воссоздать и там весь этот царский антураж. Этот величественный быт воплощает в себе образ покоренной мощи, питает свои силы в доходах от завоеваний, взывает к лени и праздности, чем позволяет гражданам укрепить свое положение в обществе за счет все возрастающей роскоши: свиты шикарно одетых рабов, одеяний, украшений по последней моде, — и тем самым заставлять других признавать свое могущество. Производить впечатление — и есть самый большой капитал. В случае нужды женщина «платье достанет, и провожатых взаймы, и носилки с подушкой, и няньку; будут подруги по найму и девочка для поручений»[23]. Как женщинам, так и мужчинам Овидий рекомендует гулять, не спеша, под сенью портика Помпея, где «мрамором из-за морей пышно украшен чертог», или портика Ливии, «где привлекают глаза краски старинных картин»[24]. Таким же образом и красивые женщины «должны красоту показывать всюду»[25]. Именно во время неспешных прогулок и происходят все встречи. И наверняка, прогуливаясь по садам, окруженным колоннадами, многие римляне воображали, что наслаждаются той же жизнью, что и некоторые избранные счастливцы имели счастье открыть для себя в знаменитых городах Греции и Малой Азии.

В сельской местности светская жизнь, опирающаяся на моду на роскошь и удовольствия, процветает в тех усадьбах, которые начиная со II в. до н.э. появляются на неаполитанском побережье, так как Неаполь стал приютом для многих греков и там мода на все греческое кажется менее шокирующей. Залив остается для римлян самым шикар-

ным светским местом, однако постепенно признание приходит и к другим очаровательным местечкам вдоль побережья по направлению к Остии. Цирцеи и Формий обязаны своей популярностью мягкому климату. Как писал Марциал, «не дремлют волны, но живая гладь моря при легком дуновение челн несет пестрый»[26]. Многие из тех, кто хотел построить виллу на берегу моря, облюбовали Антий. Однако жемчужиной всех этих модных городов был город с термами, расположенный прямо около Неаполя – Байи. Он умудрился сохранить свою значимость на протяжении пяти веков. Кто только о нем не писал в античные времена – Гораций, Цицерон, Овидий, Сенека, Ювенал, Марциал, Тацит... Писатели стараются не упоминать о тех, кто приехал туда для того, чтобы облегчить свои страдания от какого-либо хронического заболевания, несмотря на то, что термализм входит в моду сразу после того, как личный врач Августа, прописав императору купания в термах этого города, излечил его от болей в печени. Да и сам он, больной ишиасом, ездил сюда каждое лето. Гораздо большее удовольствие доставляло поэтам клеймить тех, кто, не будучи болен, приезжал сюда, к морю и солнцу, чтобы вести праздную жизнь. Эти «курортники» рисковали скорее потерять свое здоровье, нежели улучшить его, и бытовало мнение, что порядочная женщина не может приехать отдыхать на побережье Байи, не расставшись там со своим ореолом добродетели. Светское общество прибывает, начиная с апреля. К вечеру, когда жара спадает, город оживляется; к тому же сумерки располагают к фривольности. Тогда рассеиваются по морю элегантные корабли с золочеными или серебряными носами. Перламутр отделки отражает последние лучи заходящего солнца, а пурпурные или снежно-белые льняные паруса привлекают взгляд к какой-либо эротичной фигуре, на челе которой видны следы эпикурейского раздумья. За кораблями струятся длин-

ные ленты пестрых тканей, прибавляя общей картине цвета. Гуляющие ждут, пока, наконец, стемнеет окончательно, ужинают на воде под звуки музыки, и эхо повторяет страстные слова песен. Там, на побережье, светские женщины и молодые аристократы топят в легком опьянении сожаления о своей праздной жизни и исчезают за каким-нибудь кустом со случайным возлюбленным. Как писал Марциал, «благой Венеры берег золотой, Байи!»[27]

В то время как Байя, без сомнения, среди подобных «курортников» ценится больше всего, есть и другие места, пользующиеся определенной популярностью. Прежде всего это берега озер, где можно построить виллу, словно на берегу моря, и наслаждаться одновременно и близостью к горам, и близостью к воде. Начиная с последнего века Республики существует мода и на холмистую местность, в основном в альбанских возвышенностях, таких, как Тибур, Пренеста, Тускул. Многие известные исторические лица строили там себе виллы, самым важным из них является император Адриан, обладатель роскошной усадьбы в окрестностях Тибура. Дикая красота тамошних пейзажей объясняет, почему они были так популярны. Во времена Траяна Плиний Младший, рассказывая о природном катаклизме, вспоминает и многие виллы, построенные на берегах реки Анио, которую он описывает: «...самая прелестная из всех рек, к которой виллы тянутся, словно приглашая ее к себе в гости и стараясь у себя удержать»[28]. Похоже, что необходимо было дождаться времен Империи, чтобы в моду вошли регионы, менее привлекательные, чем те, что осчастливлены солнцем Кампании; тогда мода на «курортные» города уже установилась и увековечена общественным мнением. Во времена Республики путешественников привлекает в основном юг: такие города, как Тарант, например, искушают обитателя Рима. Именно там Гораций предавался размышлениям, уж не лишает ли его судьба счастья

вернуться в милый сердцу Тибур. Тарант символизирует греческую землю под италийским солнцем. «Этот уголок мне давно по сердцу, мед не хуже там, чем с Гиметтских склонов, и оливы плод без труда поспорить может с венафрским...»[29]

Гораздо проще отправиться на юг Италии, чем обосноваться в Греции. Именно поэтому путешествия входят в моду. С процветанием вилл на италийской земле появляется и привычка аристократов путешествовать, объезжая свои владения или навещая друзей. Богачи фактически никогда не останавливаются на постоялых дворах, которые не отличаются ни комфортабельностью, ни безопасностью. Во времена античности закон гостеприимства был весьма силен. У Цицерона было восемь вилл и около дюжины маленьких временных пристанищ, что позволяло ему часто останавливаться в своих владениях, по крайней мере когда он путешествовал по знакомым дорогам. Так, его виллы в Арпине или Тускуле находятся на расстоянии одного перехода до Рима; а его владения в Кампании — на расстоянии одного перехода от Тускула или Арпина. Таким образом, он в два дня добирается до Неаполитанского побережья, останавливаясь при этом исключительно в собственных владениях. Другие предпочитают спать в пути, в своих носилках, нежели останавливаться на постоялом дворе. В наше время сложно представить, где могли останавливаться именитые и важные люди. Конечно, никто не отправлялся в путь в одиночку, так же как невозможно помыслить, чтобы кто-то прогуливался по Риму без эскорта. Это вопрос престижа, и мы уже отмечали ранее, что для римлянина следовать моде (или задавать моду) в своем доме — один из способов укрепить свое положение в обществе. Поэтому ничего удивительного, что Марк Антоний приказал запрячь в свою колесницу львов, на восточный манер, или что Цезарь возил с собой мозаичные плиты,

или что кортеж Нерона состоял из сотен повозок, которые тянули мулы в серебряной сбруе, или что Поппее требовалось стадо в пятьсот ослиц, чтобы она каждое утро могла принимать молочную ванну. Однако даже если не принимать в расчет этих экстравагантностей, Сенека уверяет, что обычно путешествия проходили в атмосфере роскоши. Многочисленная пестрая свита открывала и замыкала шествие. Животные были покрыты расшитыми тканями, их вели черные рабы, разукрашенные в не меньшей степени. Повозки были нагружены всем необходимым для привычного богатого комфорта: золотая и хрустальная посуда, драгоценные вазы, которые иногда приходилось нести в руках, чтобы они, не дай бог, не разбились в повозке! Большая повозка или носилки – все было устроено так, чтобы там можно было жить, принимать пищу, а иногда и спать, а также развлекаться[30]. Так что это был настоящий спектакль, который являлся взгляду, подчас насмешливому, сельских жителей на всем протяжении пути. Иногда было предпочтительнее избрать морской путь, более удобный для того, чтобы добраться до виллы на побережье.

Несмотря на все неудобства подобной дороги, богатые римляне достаточно много путешествовали, гораздо больше, чем кажется. С тех пор как Рим распространил свою власть на весь средиземноморский бассейн, они путешествуют даже за пределами модных городов на побережье. Не считая даже деловых или административных поездок, путешествия пользуются популярностью среди аристократии. Существуют не только дорожные карты, но и некое подобие туристических справочников, где указаны места, которые стоит посетить в каждой стране, а также исторические памятки и адреса постоялых дворов, где можно переночевать. Какие были тогда самые туристические места? Во-первых, конечно, семь чудес света, однако те места, которые стояли у истоков новой моды: Греция, круп-

ные города Малой Азии (Пергам, Смирна, Эфес), острова (Делос, Родос, Кипр), Сицилия, Галлия, – также играют важную роль в перечне тех стран, которые римлянин должен знать. Римляне, не колеблясь, оставляют на древних камнях памятников собственные имена и размышления, которые они предназначают потомкам. Самым известным из таких путешественников является император Адриан, который многие месяцы провел вдали от Рима, посетив Галлию, Британию, Испанию, Мавританию, Грецию, Сицилию, Малую Азию, Сирию, Аравию и Египет. Как и другие туристы до и после него, он приказал построить на своей вилле в Тибуре многочисленные свидетельства (пусть даже зачастую и чисто символические) своего путешествия по свету.

Итак, модная жизнь становится и способом открыть для себя мир. Иностранные развлечения наводнили Италию, и новый менталитет вызывает изменения в нравах и морали, пусть и постепенные, однако глобальные. Они ориентированы на жизнь, посвященную удовольствиям, в которой праздность, по крайней мере для многих, не исключает и культурного обогащения. Однако требующиеся для этого расходы и те экстравагантности, которые порождает мода, влекут за собой и появление коррупции, которую осуждают все моралисты эпохи. Верхом снобизма является не отправиться в Байи или Эфес самому, но принимать у себя в разных формах весь свет. А самый удобный способ привлечь внимание, удивить и вызвать зависть сограждан – пригласить их к себе на обед.

Вплоть до завоевания Азии говорить о гастрономии в Риме очень сложно. Кухня занимает второстепенное место в жизни, а повар – обыкновенный раб, которого нанимают за бесценок на время праздника или большого приема. В домах еще не поселилась армия поварят под предводительством известного кулинара, чьи таланты при-

знаны, а сам он является одним из наиболее ценных рабов в доме. Слуги сами пекли хлеб, магазинов-пекарен еще нет[31]; при этом никто не пек тех особых хлебов, с добавлением молока, яиц, растительного масла, перца или изюма, которые впоследствии будут готовиться только для того, чтобы подать их к какому-нибудь блюду, как вошло в моду во времена Империи. Овощи были только со своего огорода, мясо — только тех животных, что выращивались в деревенских владениях.

Покорив Азию, римляне открывают для себя царские пиршества во дворцах, словно воплощающих фантазии, — они захотят построить такие же дворцы у себя. А после этого остается только перенять роскошный образ жизни, увиденный в дальних странах. Кулинария становится искусством, а гастрономия входит в моду. Теперь речь идет не просто о том, чтобы искусно приготовить блюдо, но чтобы удивить исходными продуктами, которые днем с огнем в Италии не сыщешь. Кулинарное искусство открывает для себя неведомые дали. Мало подать на стол свинину; свинина должна быть «по-троянски», т.е. набитая какой-нибудь начинкой, по аналогии с троянским конем, в котором прятались воины[32]. Каплунов откармливают по особой методике, известной на острове Делос[33], а также куриц, цыплят, зайцев, которых сажают в специальные узкие клетки, голубей, которых в течение сорока дней кормят только разжеванным белым хлебом, дроздов, сонь, пичкая их желудями и орехами в темноте, и даже улиток, которых запирали в кувшинах, изрешеченных маленькими дырочками, стенки которых заранее были обмазаны вином или паштетом на основе муки.

В конце Республики можно говорить о настоящей гастрономической географии. Свинину едят все, однако если свинья была выращена на соседней ферме, то престиж блюда падает. Свинья должна быть привезена из Галлии.

Ветчина, холодец или колбасы должны быть иберийскими, ликийскими или привезены из страны Верстингеторикса. Таким же образом козлята должны быть из Амбразии (на границе Греции и Албании). За журавлями следует отправляться на остров Делос, за павлинами — на Самос, за турачами — во Фригию, а за фазанами — на берег Феса. Улиток привозили из Африки, из Египта — финики. Что же касается рыбы, то тут мода охватила почти все районы Средиземноморья: самого хорошего тунца поставляет Колхида, Пессинонт (в Анатолии) — мерлузу, Родос — осетров, Тарант — устриц и морских гребешков, Тортессия (в Андалусии) — мурен. Однако устрицами славились также и Цирцеи, и озеро Лукрин, а моллюсков-турбо привозили из Равенны.

Плиний пишет, что именно мода, введенная гурманами, стала причиной создания в озере Лукрин садков с устрицами. Эти гастроманиакальные фантазии играли не последнюю роль и в развитии техники культурирования и выращивания. Для того чтобы следовать моде, необходимо развитое воображение и знания, например, для того, чтобы разводить улиток, привезенных из Иллирии, или африканскую цесарку. Павлин, например, был известен в Италии и до того, как оратор Гортензий на приеме в коллегии жрецов в первый раз подал к столу блюдо из павлинов, однако после этого мода на них стала развиваться столь быстрыми темпами, что за несколько лет выращивание павлинов превратилось в настоящую индустрию.

Если какой-то известный деятель привозил из своих путешествий экзотический фрукт, этого было достаточно, чтобы в течение нескольких месяцев он стал модным, а в течение нескольких лет — вполне обычным делом: чтобы этот фрукт начали разводить и получили даже разные его сорта. Большинство новинок появляется в Риме с Востока в последние годы Республики и начала Империи: сначала

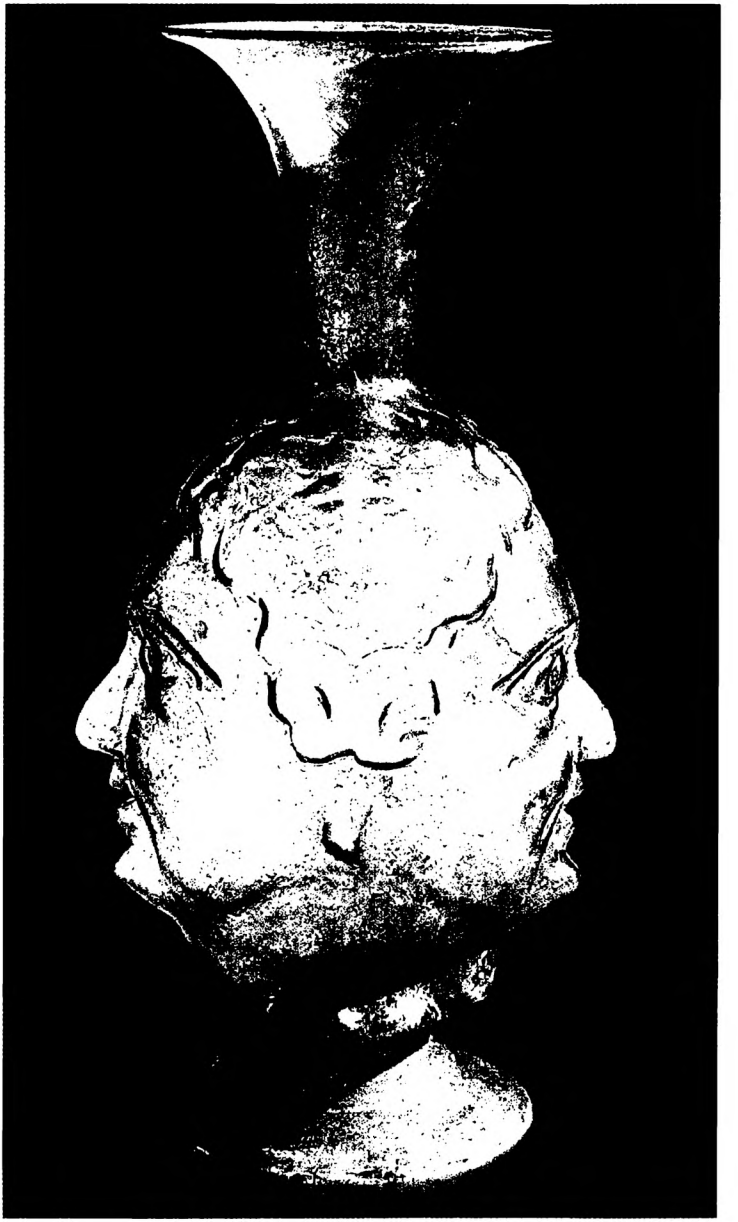
гранат, изначально произраставший в Карфагене, потом арбуз, дыня, пришедшие из Африки через Египет и Грецию. Упомянем также сливу из Дамаска, айву, привезенную с Востока, ежевику – из Персии. Вишня стала известна благодаря известному гурману Лукуллу, который и привез ее в Рим из Азии в 73 г. до н.э. Интересно, что его имя осталось в истории именно благодаря этому гастрономическому изыску, а не благодаря его блестящим победам над Митридатом! Отметим также и удивительный путь, проделанный персиковым деревом, которое было привезено из Китая в Азию через Персию и которое римляне научились выращивать в Италии, как абрикос, который, в свою очередь, был привезен из Азии. Фисташковое дерево обязано своим успехом Вителлию (отцу императора), который привез его из Сирии в 37 г. н.э. Этот список можно продолжать и продолжать, припоминая все новые фрукты, которые ввело в моду кулинарное искусство и которые римские садоводы научились выращивать, зачастую создавая при этом новые сорта.

Все, что мы сказали про фруктовые деревья, верно также и для животных и птиц, которые становятся модными после того, как их впервые подали к столу. Однако мода не сводится исключительно к тому, чтобы попробовать редкое блюдо. Нужно уметь его подать и уметь им наслаждаться. Оратор Марк Фаворин обличает то мотовство, в которое пускаются его современники во II в. до н.э. во имя снобизма и хвастовства. «Признанные гурманы скажут вам, что стол не роскошен, если в тот миг, когда вы пробуете блюдо, вам уже не подносят новое, еще более вкусное и удивительное. Таково в наши дни искусство пиршества для тех, кто деликатесам предпочитает неразумное изобилие». По их мнению, ни одну птицу нельзя есть целиком, за исключением разве что мухоловки; если же подают других птиц, то гузки и нижней части должно хватить для того,

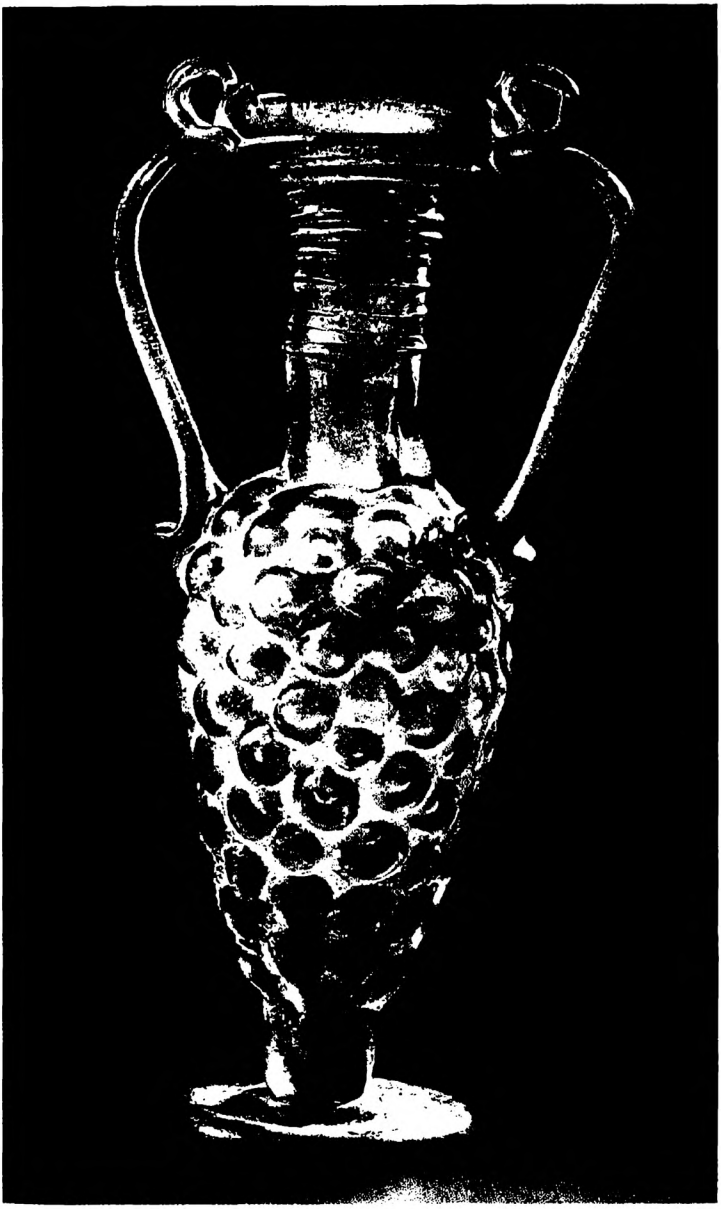
чтобы гости могли составить свое мнение о блюде, в противном случае оно приготовлено плохо... если вы едите верхнюю часть птицы, у вас просто нет вкуса. «Конечно, специальный раб должен разжевывать для вас каждый кусок, – добавляет Фаворин, – чтобы вы не устали»[34]. Подумать только – эти признанные гурманы с первого же кусочка могли определить, откуда привезена устрица или где была поймана зубатка – в открытом море или в притоке Тибра, – по тому признаку, что усталость, испытанная рыбой после подъема против течения, придает ее плоти особенно утонченный вкус. А те короли вкусовых рецепторов, для которых матка неопоросившейся свиньи по своим вкусовым качествам намного превосходит матку свиньи, которая вот-вот опоросится; в то время как вымя свиньи обретает свои лучшие качества только тогда, когда свинья должна опороситься... при условии, что поросята еще не брали грудь! Как не вспомнить тут экстравагантные рецепты Апиция, модного кулинара времен Тиберия: блюда из копыт верблюда или язычков павлинов или соловьев? На какие разорительные безумства их только не толкал снобизм, в какие только отдаленные уголки света не отправлялись они затем, чтобы достать необходимые ингредиенты для необычного блюда, как тот же Апиций, который отправился в Африку, потому что ему сказали, что тамошние лангусты неведомых размеров и, будучи болен, полдороги провел, не покидая носилок. Или, например, как император Вителлий, который отправил корабли аж к парфянам, чтобы иметь возможность приготовить блюдо «щит Минервы градодержательницы»[35]. В нем были смешаны печень рыбы-скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен... Однако же он ввел в моду это блюдо – вот уж действительно пир экстравагантности! Древним историкам, как, например, Плинию, доставляло удовольствие перечислять имена тех, кто в первый раз представил

к столу и ввел в моду тот или иной продукт. Гастрономия становится средством привлечь к себе внимание, заставить говорить о себе. Слова Сенеки демонстрируют, до какой степени она становится элементом моды: любители удовольствий хотят, чтобы, пока они живы, их жизнь стала предметом общих толков, и, если о них молчат, они полагают, что стараются впустую. Им плохо каждый раз, когда молва не заметит какого-нибудь их поступка. Многие проедают имущество, у многих есть любовницы, и, чтобы твое имя не затерялось среди всех, мало роскошничать, нужно сделать что-нибудь особенное[36]. Однако для того чтобы ввести в моду новое блюдо или новый продукт питания, а потом еще и следовать этой моде, требуется очень много денег. Не один аристократ пустил на ветер все свое состояние за одну пирушку, только чтобы удовлетворить свое тщеславие. Древние историки приводят примеры многих состояний, которые были потрачены за один вечер, и называют многих молодых людей, которые, пытаясь следовать моде, были разорены и которым пришлось торговать собой. Ничего удивительного: за очень ценный вид рыбы, барабулю, на аукционе Апиций заплатил пять тысяч сестерциев (за 1,8 кг), в то время как обычный заяц стоил на рынке два сестерция, оливковое масло — четыре сестерция за литр, а обычный цыпленок — и сестерция не стоил. Однако один абрикос в те же времена стоил тридцать сестерциев, а цена за великолепную пару откормленных голубей доходила до тысячи. Дрозды стоили по двенадцать сестерциев за штуку, а хозяйство, в котором ежегодно выращивалось до пяти тысяч дроздов, приносило шестьдесят тысяч сестерциев, что вдвое больше, чем кусок хорошей земли в пятьдесят гектаров[37].

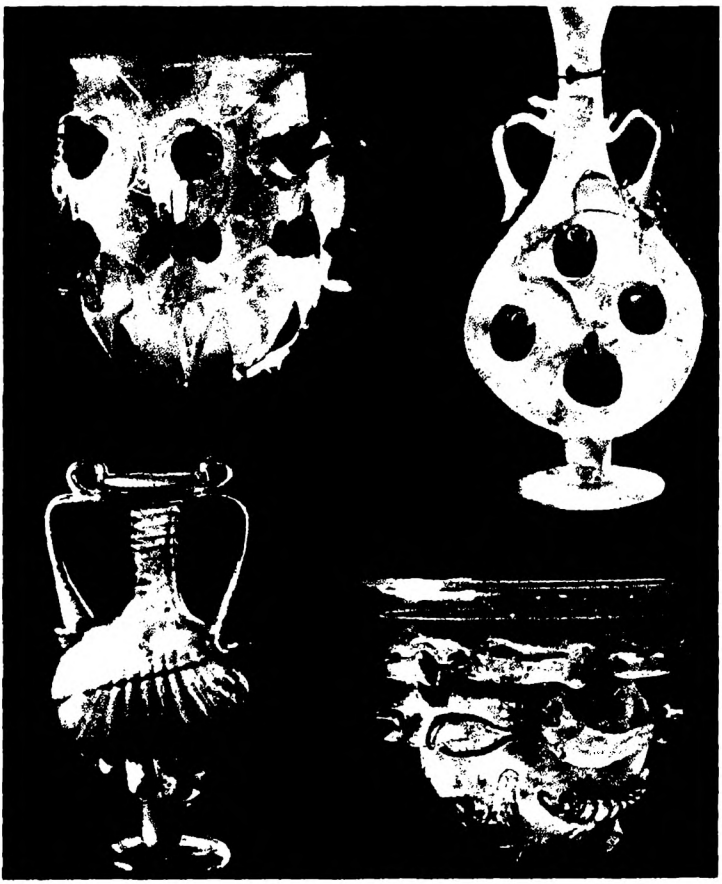
Эти цены показывают также и то, в какую опасность кулинарная мода могла ввергнуть экономику как города, где определенные хозяйства могли разориться в течение дня,



Двуликая римская ваза



Римская ваза в форме грозди винограда



Римские вазы различной формы

так и деревни, где более прибыльно и менее рискованно было разводить павлинов или дроздов, чем культивировать необходимые для населения злаковые. Также с появлением новых нравов государству приходится продвигать законы против роскоши. В течение II в. до н.э. было принято несколько весьма строгих законов. Первый из них датируется 182 г. до н.э. и ограничивает число гостей на ужине. Через двадцать два года еще два принятых закона направлены на то, чтобы ограничить расходы на трапезу – около тридцати сестерциев (не считая расходов на овощи, вино и муку), запретить потребление иностранного вина и подавать к столу любую птицу, кроме нежирных кур. Кроме этого, хозяин не может пригласить более пяти друзей к себе на трапезу, да и то не чаще трех раз в месяц. Однако эти меры оказались слишком суровыми и не получили распространения. Раз закон запрещал откармливать кур, люди стали откармливать цыплят. А те, кто жил вдали от Рима, считали, что их эти законы вообще не касаются. Пришлось принять еще один закон в 143 г. до н.э. для того, чтобы распространить действие этих правил на всю Италию и объявить, что как хозяин, так и гости будут подвергаться санкциям со стороны государства. До конца Республики были приняты и другие законы. Один из них, введенный Суллой, был весьма эффективен: он фиксировал цену на продукты питания, что обязывало поставщиков продавать и товары, относящиеся к роскоши, по низким ценам. Однако наследники Суллы не следовали его политике, и Цезарю пришлось отправить солдат на рынки, чтобы силой забрать те продукты, которые защищал закон, но ничего не помогло. Гастрономия вышла из стадии моды. Она превратилась в настоящее умопомешательство.

Эта проснувшаяся тяга к роскоши касается не только кулинарных экстравагантностей. Сама трапеза обставляет-

ся так, словно это спектакль, где главным режиссером выступает хозяин дома. Вместе с «новой кухней», пришедшей с Востока, во II в. до н.э. возникает мода и на зрелища во время еды. Обед рассматривается как феерия, во время которой каждое из пяти чувств должно получать изощренное удовольствие. «Взгляни хотя бы на Номентана и Апиция, переваривающих все, как они выражаются, дары земли и моря; взгляни, как они высоко возлежат на розовых лепестках, обозревая свою кухню, и у себя на столе изучают животных всех стран. Уши их при этом услаждаются музыкой, глаза зрелищами, небо — всевозможными вкусами. Кожу щекочут мягкие, нежно согревающие ткани, а дабы ноздри не оставались тем временем не у дел, разнообразные ароматы пропитывают этот храм чувственных наслаждений»[38]. Само то преувеличение, характерное для жалобы Сенеки, и тех, кто его поддерживает, свидетельствует о вкусе эпохи к чувственным изыскам. Музыка, пение, танцы (которые позволяют оценить красоту человеческого тела) являются непременным условием подобного приема. На обеде Тримальхиона каждое подаваемое блюдо сопровождалось музыкой, и сами рабы пританцовывали и распевали[39]. Качество сопровождающих трапезу развлечений зависит исключительно от вкусов хозяина. Одни предпочитают праздники, на которых царит атмосфера грубой эротики и сомнительных удовольствий. Другие предпочитают развлекать друзей увеселениями иного характера. «Может быть, ждешь ты теперь, что здесь начнут извиваться на гадитанский манер в хороводе певучем девчонки, под одобренье хлопков приседая трепещущим задом?.. Наша пирушка сегодня нам даст другие забавы: пенье услышим творца «Илиады» и звучные песни первенства пальму делящего с ним родного Марона; голос какой эти скажет стихи — не так уже важно»[40]. Если в конце Республики и в на-

чале Империи, никого не удивляло, что разбогатевшие вольноотпущенники, вроде Тримальхиона, следовали моде, приспосабливая ее под свой уровень культуры, то во II в. до н.э. богатые и образованные «законодатели» новой моды любили отдаваться радостям поэзии, в том числе и драматическим представлениям. Гости аплодировали диалогам Платона, стихам Гомера или отрывкам из новой греческой комедии. Иногда можно было услышать даже, как какой-нибудь философ или ученый пускается в пространные разглагольствования, которые вызывают раздражение у некоторых гостей. Эти последние предпочли бы, наверное, менее интеллектуальные развлечения, как те гости Плиния Младшего, которых он упрекает в том, что они слишком увлеклись устрицами, маткой свиньи или танцами девушек из Гадес вместо того, чтобы наслаждаться чтением, или актерской игрой, или игрой на лире, или, вернее, всеми тремя поочередно[41]. В любом случае, каким бы не было предложенное развлечение, избежать музыки и пения было весьма сложно — если судить по эпиграмме Марциала, который жалуется, что лучший из пиров тот, где флейта не мешает беседе[42].

Мода всегда идет рука об руку с излишеством, и именно ей можно приписать так возмущавшие граждан времен II в. до н.э. дебоши после трапез и пьянство. Греческое вино ударило в голову не одному римлянину, и, когда пьяные граждане собирались на комициум, Республика была в опасности. Около 160 г. до н.э. один всадник был взбешен поведением сенаторов, избранных заседать в судах, которые проводят день за игрой в кости, «благоухающие духами и окруженные куртизанками». На форум же они отправляют раба, чтобы знать, как идет процесс. Боясь, что их обвинят в нарушении правил, ближе к вечеру они все-таки направляются туда. Всю дорогу они останавливаются у каж-

дой амфоры, выставленной на дороге для того, чтобы путники могли облегчиться, «ведь их мочевой пузырь полон вина». Наконец, они добираются, «с нахмуренным ликом». Жалобщики излагают свое дело, судья призывает к ответу свидетелей и во время их показаний отправляется справить свою нужду. Вернувшись, он объявляет, что все понял и требует, чтобы ему подали досье. «Удивительно, если выпитое вино позволит ему хотя бы глаза открыть». Когда же он, наконец, удаляется, чтобы поразмыслить, то кричит: «И что мне делать с этими болванами? А не пойти ли нам выпить еще подслащенного вина и греческого вина, съесть жирного дрозда или хорошую рыбину, настоящего волка, пойманного между двух мостов Тибра?»[43] Конечно, гнев Татия оправдан, если вспомнить о многих законах, принятых, чтобы положить конец излишествам моды, и об их суровости. Однако жизнь изменилась, и если в торговле, которая всегда была отличительной чертой итальянского характера, ничего нового для общества нет, то привычка к роскоши и праздности считается приобретенной под иностранным влиянием. Храмы, набитые произведениями искусства, библиотеки или лавки цирюльников становятся местами, где дела решаются не хуже, чем на форуме. С наступлением вечера так приятно прогуливаться в прохладе, которую хранят мраморные колоннады портиков, среди статуй и произведений самых известных художников; а сень платановых аллей обещает и другие наслаждения. Как о том пишет Марциал, прогулки, приятные беседы, Марсово поле, Портик, сень деревьев, горячие ванны более милы состоятельным людям, чем скука на форуме.

Такая приятная жизнь требует определенной свободы духа и, следовательно, финансовых возможностей. У нововведений нет устоявшейся цены. Богатство становится гарантией свободы и выбора самого человека, и именно в

этом скрывается последствие политических, экономических и социальных трансформаций, принесенных Второй Пунической войной и завоеваниями на Востоке. Деньги позволяют все, даже аморальность, и смеются над античной добродетелью. Благодаря деньгам Югурта смог не позволить римским консулам атаковать и подкупил сенаторов, избежав, таким образом, мести. «Рим, продажный город», — воскликнул он, покидая столицу. Вряд ли среди великих людей того времени найдется хоть один, кто бы не стремился обеспечить себе большое состояние, дающее реальную власть: Марий, Сулла, Красс, Помпей, Цезарь и многие другие. Вот что стоит на самом деле за действиями большинства полководцев! «Какой город в целой Азии может в наши дни удовлетворить жадность и несоразмерные претензии, я не говорю о легатах или центурионах, но хотя бы обычного солдатского трибуна!» — возмущается Цицерон[44]. Богатство становится трамплином для личных амбиций, а мода — средством их выражения. Однако Республика переживает агонию в результате этого индивидуалистического карьеризма, а новым ценностям не хватает нового образа монархической власти. Это хорошо уяснил Октавий, да и Цезарь до него; однако Цезарь попытался ускорить судьбу Рима слишком рано. Римляне не были еще готовы пожертвовать остатками своей свободы. Необходимо было начаться новой гражданской войне, чтобы процесс сдвинулся с места.

Попытки Августа привить обществу новую мораль фактически не увенчались успехом; и Ювенал не преувеличивает, спрашивая: есть ли свидетели справедливости? «Спросят сперва про ценз (про нравы — после всего лишь): Сколько имеет рабов да сколько земельных угодий, сколько съедает он блюд за столом и какого размера? Рим доверяет тому, кто хранит в ларце своем деньги: больше монет — больше веры...»[45]

Во времена Империи модой более, чем когда бы то ни было, заправляют богатые, т.е. те, кто часто посещают имперский суд и кто чаще всего подражают капризам императора. Мода меняется с каждым новым правителем, и весь мир приспосабливается к тому быту, который диктует один человек, вплоть до самых незначительных деталей. Юлия, дочь Августа, каждый день пьет настойку из девясила, или позднее Тиберий так любит сахарный корень, что заказывает его в больших количествах в Германии. Тут же все пробуют блюда с девясилом или сахарным корнем, чтобы разделить любовь великих мира сего. У Нерона вошло в привычку заказывать лук-порей в масле в определенные дни месяца, так как он верит, что это благотворно действует на его голос. Порей тут же снова входит в моду[16]. Тот же Нерон в начале своего правления выказывает интерес к риторике и музыке. И вот Рим наводнен риторами и музыкантами, которые дают уроки и сколачивают целые состояния. Даже увлечение Марка Аврелия философией оказало свое влияние: многие стали называть себя философами и скупать библиотеки, даже если на самом деле они были абсолютно необразованны. Главное — показать, что ты следуешь моде. Еще ярче этот феномен иллюстрирует тот факт, что если император был болен и употреблял какие-либо лекарства, то богатые граждане без колебаний употребляли их же. Нам известно, что Марк Аврелий каждый день принимал дозу противоядия, которое считалось панацеей; так вот, во время его царствования на это противоядие существовал колоссальный спрос, однако, когда к власти пришел его наследник, средство кануло в Лету... Чем более деспотичен режим, тем более поверхностна мода.

Однако существовали и правила, которые были наследием древних республиканских обычаев и настолько укоренились в нравах, что даже императору было сложно через них преступить. Так было с обычаем поцелуя. В Древнем

Риме он фактически не был распространен, и Катон Старший порицал подобные проявления чувств, которые казались ему неподобающими мужчине. Однако при македонском дворе поцелуй был знаком отличия и уважения. Александр Великий ввел обычай целоваться при встрече, по образцу Персии, где позволение поцеловать царя было высочайшей милостью. Римляне, которые стремились во что бы то ни стало привить у себя греческую моду, с восторгом приняли у себя и этот восточный обычай. В конце Республики стало считаться хорошим тоном, когда граждане одного ранга обнимаются при встрече. (Следует отметить, конечно, что поцелуй – как выражение любви правителя – не имеет ничего общего с поцелуем – выражением нежности и любви, который вовсе не является следствием греческой моды.) Во времена Империи мода становится традицией, и право целоваться при встрече становится привилегией императора и некоторых сенаторов высокого ранга. Тиберий хотел указом запретить обычай ежедневных приветственных поцелуев, чтобы сохранить его для особых случаев. Это вызвало недовольство[47]. Калигула шокировал общество тем, что пренебрегал приветственными объятиями с важными людьми ради ласк мимов и актеров на виду у всех; к тому же для поцелуя он протягивал свою ногу! Во времена правления Клавдия появляется заразная кожная болезнь, затрагивающая лицо, и она распространялась с такой скоростью, что люди стали бояться подобных объятий и лобызаний; однако при Нероне отказ императора обнять сенаторов рассматривался как открытое выражение ненависти[48]. Императорский поцелуй сохранил свое символическое значение, которое он имел при персидском дворе, а затем и в Македонии, до того, как победители Греции познакомили с этим обычаем Рим.

Таким образом, жизнь по законам моды во времена Империи подчиняется капризам императорского двора и

служит доказательством того, что высшая аристократия потеряла политическую власть, которую она имела во времена Республики. На смену убеждениям приходят лесть, притворство, видимость. Отстраненные от той роли, которую они играли в делах государства, аристократы с головой уходят в омут моды, самых незначительных ее деталей и ведут бесполезное и праздное существование, посвященное чувственным наслаждениям. Примером тех крайностей, до которых доходят римляне, может послужить фигура Котила, персонажа эпиграммы Марциала, которого он называет «*bellus hommo*» (красивый человек), другими словами, модным, светским человеком: «Мил, я скажу, у кого изящно расчесаны кудри, кто аромат издает как киннамон и бальзам; кто напевает всегда гадесские, нильские песни, кто безволосой рукой движет мелодии в такт; тот, кто сидит, развалясь целый день у женского кресла и, наклонясь, что-нибудь шепчет всегда; кто получает и сам посылает всюду записки, тот, кому страшно, что плащ могут соседи помять; знает, в кого кто влюблен, и на все поспевает попойки и родословную всю может Гирпина сказать»[49]. (Гирпин — цирковой конь, хорошо известный во времена Марциала.) Как позволяет понять в своей эпиграмме Марциал, для того, кто достиг таких вершин поверхностности, жизнь по законам моды не более, чем синекура.

Глава V

МОДА И ИГРЫ

Дошедшие до нас свидетельства о моде времен античности в основном касаются жизни только привилегированной части общества. Мы фактически ничего не знаем о том, что было модно в народе. В то же время можно представить, что женщины из народа, например, не могли остаться абсолютно в стороне от новинок, популярных в высших кругах. Наверняка они ими втайне восхищались и носили дешевые побрякушки, похожие на те, что видели на шеях и пальцах богатых патрицианок. Вряд ли можно сказать что-нибудь еще. Нет никаких свидетельств того, что во времена античности мода могла зародиться в низших слоях общества и через них покорить аристократию, как то случается в наши дни.

Однако не следует делать вывод, что простой люд никогда не имел никакого влияния на моду, которую власть имущие заставляли служить их личным интересам к вящей собственной славе. Их влияние отчетливо прослеживается в истории развития различных игр, будь то в амфитеатре, в цирке или на сцене. Тот, кто выступал на публике, должен был ей нравиться. Люди не стеснялись освистывать некоторые выступления или резко покинуть театр, так как собирались объявить о начале гладиаторских боев. Развитие театрального искусства, в те времена сводившегося к спектаклям в амфитеатре, свидетельствует об эволюции народных вкусов. Вводя в моду греческую или восточную

культуру, организаторы игр не могли игнорировать мнение простых людей.

Изменения в организации праздничных мероприятий в течение двух последних веков Республики, а затем и в первый век Империи являются красочной иллюстрацией к тому, что мы уже знаем о влиянии на Рим греко-восточной культуры. Во многих вопросах мы грешим слишком стереотипным представлением о том, что происходило в цирке или амфитеатре в эпоху Империи. Для нас это грандиозные спектакли, в которых отсутствие чувства меры сочетается порой с явными излишествами. Мы приходим в ужас от масштаба этих варварских месс; живописуем радость публики, жаждущей крови: жажду эту может утолить лишь вид изувеченных трупов и обагренного песка арены. Именно этот образ запечатлен в нашей коллективной памяти — образ, созданный христианской цивилизацией, — пропаганда с целью занять доминирующую позицию в мире.

Для того чтобы понять менталитет древних римлян, необходимо отбросить стереотипы и вспомнить о том, что эти действия необходимо поместить в контекст исторического развития. Зрелища, какими бы они ни были, появились в Риме в рамках религиозного календаря. Проведение игр — один из способов почтить божество, потому игры и происходили строго в определенные даты и продолжались назначенное число дней. Только после Второй Пунической войны и не без влияния возникшей моды игры претерпевают двойную трансформацию: во-первых, становятся более светскими, а во-вторых, именно за счет частоты проведения, — более профессиональными. Другими словами, если раньше юные римляне покрывали себя славой, управляя колесницей во время празднеств, поднимаясь на сцену или сражаясь друг с другом, то теперь их все чаще заменяют рабы или военнопленные, чья жизнь уже не имеет

столь большой ценности. Соответственно и римляне становятся равнодушны к количеству проливаемой крови. В это же время появиться на театральных подмостках для римлянина становится бесчестием. Римские игры, первоначально имевшие много общего с теми, что описаны в «Илиаде» или «Энеиде», стали развиваться в другом направлении. Тогда как юный Ромул демонстрирует свою храбрость, собственноручно управляя колесницей, римский гражданин времен конца Республики довольствуется тем, что своими криками подбадривает со ступеней цирка любимого возницу. Из субъекта действия он становится наблюдателем и потому предъявляет больше требований к качеству зрелища и не ценит жизнь тех, кто потом и кровью платит за его удовольствия. Ему всегда требуется что-то новенькое, что-то необычное. Именно эта жадность и жажда ощущений окажут впоследствии значительное влияние на развитие определенных модных направлений. На самом деле сходные по своему происхождению опьянение и страсть знакомы и нам с вами: стоит только вспомнить эволюцию популярных жанров в кинематографе. Кровь и насилие всегда востребованы, всегда пользуются спросом, и счастье, что в современном мире трюки и спецэффекты позволяют пощадить жизнь человека. Однако страсть к созерцанию кровавых кадров наших современников позволяет думать, что не стоит так уж упрекать римлян в их так называемой жестокости. Их ценности отличаются от наших, но их восприятие находит столько откликов в нашей повседневной жизни: когда юноша, чтобы завоевать девушку, ведет ее в кино (пусть даже на фильм ужасов), он буквально следует советам Овидия — отвести даму сердца в цирк. В обоих случаях, ощущая одиночество вдвоем среди толпы, кавалер «много находит удобств» для достижения своих целей. На самых тесных ступеньках, словно в темных комнатах, «хоть рядом садись, и никто тебе слова не ска-

жет, здесь ты хоть боком прижмись – не удивится никто». Сколько существует предлогов заговорить, оказать услугу – например, сдуть пылинку с груди возлюбленной; а «если пылинки и нет – все равно ты стряхни ее нежно, ведь для заботы такой всяческий повод хорош»[1]. Спектакль – это прежде всего место, где получают удовольствие. Сказать, что все развлечения римлян были кровавыми, – значит сильно преувеличить. Лишь гладиаторские бои и представления с дикими зверями (*venationes*) можно охарактеризовать как жестокие. Тем не менее даже самые миролюбивые римляне находили оправдания для существования этих забав. Пишет же Цицерон, что никакой другой урок действия перед лицом боли и смерти не может воздействовать более эффективно, по меньшей мере из тех, что воздействует не на слух, а на зрение[2]. Во времена Империи Плиний Младший выводит из этих боев тот же урок мужества; для него они «могут воспламенить мужскую душу красотой ранений и презрением к смерти, демонстрируя даже в теле раба или преступника любовь к славе и желание победы»[3].

Особый интерес представляют гладиаторские бои. Изначально они не являлись игровым зрелищем, как, например, гонки на колесницах или театральные представления, которые проводятся по случаю торжеств в честь того или иного божества. Возникновение гладиаторских боев, скорее, связано с частной жизнью римлян, с поминками и играми в честь умерших. Эта традиция имеет этрусские корни и пришла в Рим через Кампанию. В Риме те, кто своей кровью «умиротворяли духи мертвых», сначала назывались не гладиаторами, а бустариями, «людьми погребального костра». Их существование напоминает о греческой литературной традиции погребальных игр и представляет собой более изощренную форму человеческих жертвоприношений, которые должны были существовать в более отдаленную эпоху. Таким образом, изначально это частные

игры, организуемые гражданином с целью почтить умершего родителя. Поэтому их называют «подарком» (*munus*), и они могут проходить в любое время, не будучи привязанными к определенным датам, как *ludi*, т.е. официальные публичные игрища. Историки свидетельствуют о том, что в античные времена политики Республики быстро сообразили, какую прибыль и популярность им может принести организация таких игр. Начиная с 105 г. до н.э. гладиаторские бои получили официальный статус и вошли в состав публичных игр. Раз такой важный эдил, как Цезарь, приносит публике такой «подарок» (*munera*) в память об усопшем через 20 лет после его смерти, то демагогическая цель подобного жеста ясна. Возвращаясь к интересующей нас теме: если подобные представления могут оказывать столь значительный эффект, значит, их популярность среди народа растет. Цифры являются достаточно красноречивой иллюстрацией: первое упоминание о проведении гладиаторских боев приходится на 264 г. до н.э. Именно тогда потомки Брута почтили своего отца, заставив три пары сражаться на *forum boarium*[4]. В те времена это воспринималось как иноземная традиция. Однако, видимо, за этими частными играми последовали и другие, так как очень скоро, с конца III в. до н.э., появляются профессиональные гладиаторы, которым платят за выступления[5]. На поминках по Марку Эмилию Лепиду в 216 г. до н.э.[6] в сражениях участвуют сорок четыре гладиатора, а на поминках по Валерию Лавину в 200 г. до н.э. – уже пятьдесят[7], сто двадцать – на играх в честь усопшего Публия Лицина в 183 г. до н.э.[8] и снова семьдесят четыре в честь Т. Фламинина в 174 г. до н.э.[9] В начале II в. до н.э. практика проведения *munera* становится обычным делом. В те времена игры являлись платными и редко длились более четырех дней, а зачастую и меньше того. Однако публика хотела видеть, как проливается кровь. Так погребальные игры становятся

предлогом для проведения предвыборной кампании. Преторы взяли себе в привычку ставить на Форуме деревянные трибуны, которые потом сдавали публике. Ведь в силу своего, так сказать, частного характера, у первых гладиаторских игр не было постоянного места. В конце концов, и знаменитый Колизей построили только при Тите, в 80 г. н.э. Первый амфитеатр из камня появился только в 27 г. до н.э., а еще до него был построен первый деревянный амфитеатр в 53 г. до н.э. В тот же год Курион, задавшись целью впечатлить избирателей, хотел построить два переносных деревянных театра, спиной друг к другу. После утренних театральных представлений нужно было, к вящему ужасу зрителей, развернуть оба черных здания. После того как они будут поставлены лицом к лицу, остается только убрать перегородки, которые закрывают внутреннюю часть театров, тогда появляется амфитеатр, и онемевшие зрители увидят, как на широкой сцене появляются гладиаторы.

Популярность этого вида игр растет с каждым днем. В 65 г. до н.э., за двенадцать лет до Куриона, Цезарь вывел на арену двести сорок шесть человек, все в доспехах из чистого серебра[10]. Нам известно, что во времена Августа в гладиаторских сражениях приняло участие в общей сложности десять тысяч человек; столько же человек участвовало в течение четырех месяцев в единственном бое, организованном Траяном в 106 г.[11] Публика становилась все более и более требовательной: после того как римляне увидели на арене самнитов, галлов и фракийцев, она захотели увидеть и грозных германцев, даков, мавров с атласских гор и черных африканцев с их собственным вооружением. Императоры заботились о собственной популярности, предлагая публике все новые и новые варианты поединков. Нерон заставил сойтись в схватке черных рабов обоих полов[12]. В 90 г. н.э. на арене сражались карлики и женщи-

ны[13]. Впрочем, последние не уступали мужчинам в обучении; как описывает Ювенал женщину-воительницу, «шлем тяжелый какой ее гнет», когда «с каким она треском наносит мишени удары», в то время как в другие часы «этим же женщинам жарко бывает и в тонкой накидке, нежность их жжет и тонкий платок из шелковой ткани»[14]. Императоры выучили урок, преподнесенный им политикой конца Республики: проще всего народом управлять с помощью хлеба и зрелищ. В Колизее восемьдесят семь тысяч человек, как из самых богатых семей Рима, так и из рабов, следят за происходящим на арене, охваченные единой страстью, опьяненные жарой, несмотря на большие сосуды с ароматизированной водой, призванной заглушить запах крови. Граждане цивилизованного и культурного Рима давали таким образом выход звериным инстинктам, дремлющим в каждом человеке.

Однако не все римляне разделяли страсть к жестоким зрелищам. Можно даже задаться вопросом, как объяснить непрестанно растущую моду на иноземные обычаи в народе, который в первые столетия Республики отрицал практику человеческих жертвоприношений. Если гладиаторы были столь популярны в течение двух последних веков до нашей эры, можно ли в этом разглядеть влияние моды, пришедшей с Востока, где кровавые спектакли были в чести? Важные изменения в составе народонаселения Римской империи, тот факт, что многие выходцы из Греции и Азии переселились в новую столицу Империи, позволяют выявить причины столь высокой популярности подобных игр. Не будь население столь разнородным, столь космополитичным, они не были бы столь популярны. Недаром в римской архитектуре зданий для этого вида развлечений (сначала из дерева, а потом и из камня), долгое время вообще не существует, а потом они возникнут за несколько лет как памятники эпохи Империи. Это позволяет нам счи-

тать, что именно иностранцы, большей частью в последние десятилетия Республики, являлись основными распространителями моды на гладиаторские бои.

Те же тенденции прослеживаются и в истории развития боев с дикими зверьми — *venationes*. В течение I века до н.э. и в эпоху Империи гладиаторские бои происходили во второй половине дня. Утреннее время было отдано боям с дикими зверями.

Наше представление об этом виде римских игр в основном складывается из образа Бландины, пожираемой львами, или христиан, на тот или иной языческий праздник отданных на съедение диким зверям. На самом деле эти кровавые спектакли появляются достаточно поздно и не имеют ничего общего с боями с дикими зверьми в амфитеатре. Во II в. до н.э. этот вид зрелищ сводится к параду зверей, иногда с элементами дрессировки, перед глазами изумленной публики, зачастую видящей этих животных впервые. Затем появляются спектакли, воспроизводящие сцены охоты, иногда ставятся и элементы декораций: леса и горы. Понятно, что организаторы этих нововведений преследуют чисто политические цели. Главнокомандующие, возвращающиеся из дальних военных походов, могут засвидетельствовать достоверность рассказов о собственных героических деяниях и укрепить свой престиж среди населения, показав удивительных животных, которых они привели из покоренных стран. Со времен Первой Пунической войны римляне открывают для себя африканскую фауну. Конечно, после упорного сопротивления Пирра в Таранте слонами никого не удивишь, однако Плавт в самом начале II в. до н.э. упоминает страусов и леопардов[15]. Эта традиция получит еще более широкое распространение после завоевания Греции и Востока. Как мы уже говорили ранее, именно там, в персидском царстве, равно как и во всех азиатских странах, победоносные военачальники уз-

нали об этой царской привычке — устраивать большую охоту. В конце концов к этому обязывают и колоссальные резервы восточных райских кущ. Во II в. до н.э. мода на охоту находит своих приверженцев среди семей высшей аристократии, которые делают из нее особое привилегированное времяпрепровождение для собственного класса. Сами военачальники-аристократы стремились к процветанию собственного имиджа, представляя на потеху народа удивительных животных из азиатских садов и разыгрывая охоты, которые могли бы там происходить. Вполне возможно, что сама идея устраивать парад зверей имеет религиозные корни. Каждый год 19 апреля, в последний день празднеств в честь богини плодородия Цереры устраивалось большое цирковое представление, в котором стая лисиц несла на спине зажженные факелы. Мы не можем четко объяснить символическое значение этого ритуала, остается только выдвигать разные гипотезы[16]. Похоже, что с магическо-религиозной стороны это действо должно было умилостивить божество и обеспечить его защиту посевам пшеницы. В любом случае оно имело мало отношения к охоте на лис. Можно предположить, что, введя в ритуал других животных и отказавшись от его религиозного аспекта, римляне изменили и символическое значение ритуала, например превратив его в знамение победы, а одновременно ввели и новую моду. Ибо речь идет действительно о моде на необычных животных, которая становится одним из видов роскоши. В нем, как и в ряде других заимствований, римляне не знают меры. Ведь во времена Империи просто предъявить пресыщенной публике львов или страусов уже не достаточно. Нужно украсить этих зверей по самой последней моде, чтобы непременно были яркие ткани и пластины из серебра или золота. Толпа аплодирует быкам, выкрашенным в белый цвет, соседствующим с алыми баранами, страусам, раскрашенным кинова-

рью, и львам с позолоченной гривой[17]. Когда эффект неожиданности притупляется, можно прибегнуть и к крови, которая всегда провоцирует яркие эмоции: конные или пешие воины бьются с быками, предварительно раздразнив их красными лентами, а потом хватают за рога и валят на землю на критский манер...

Таким образом, можно сказать, что эти игры (*venationes*), которые становятся обычным явлением во II в. до н.э. и чья популярность все растет и растет, являются одним из побочных проявлений моды на все восточное. Сама по себе эта мода способствует коренным изменениям в римском обществе.

У истоков популярности игр с дикими зверями в Риме стоит Фульвий Нобилиор. Именно он в 186 г. до н.э. устроил грандиозные по своему размаху игры в честь своей победы над этолийцами за год до этого[18]. Множество актеров из Греции съехались на игры, чтобы оказать Фульвию честь. Тогда же римляне впервые увидели, кроме актеров, еще и борцовские состязания, а также травлю львов и пантер. Может быть, там был всего один лев, однако это новшество сыграло важную роль. Зрелища были устроены с таким размахом и блеском, что совет сенаторов запретил представления с участием диких зверей. Однако, учитывая интерес толпы, этот запрет был снят в 170 г. до н.э., и в следующем же году эдилы устроили еще более великолепные игры с участием шестидесяти трех диких зверей, сорока медведей и без счета слонов. Через год Эмилий Павел в свою очередь устраивает игры, его примеру в 146 г. до н.э. следует его сын; именно тогда в первый раз зверям на съедение были брошены предатели[19]. Без сомнения, во II в. до н.э. проходили и другие игры с дикими зверями, однако в дошедших до нас источниках они не упоминаются. Напротив, многочисленные бои с участием диких зверей, описаниями которых изобилуют источники времен последнего

века Республики, свидетельствуют об оригинальности и яркости устраиваемых игр.

До этого момента необычные звери хотя и были выставлены на показ публике, но в боях не участвовали. В 95 г. до н.э. Сцевола устраивает схватку нескольких львов, а несколько позднее Сулла обращается к своему другу Бокху-су, царю гетулов, с просьбой поставить ему сотню львов, которые будут убиты на арене нумидийскими ловчими, вооруженными копьями. В 79 г. до н.э. Лукулл, бывший в то время эдилом, устраивает схватку слонов с быками, которая имеет большой успех[20]. В 61 г. до н.э. сто нумидийских медведей убиты на арене африканскими охотниками[21]. Между 58 и 46 гг. до н.э. трижды устраивались зрелища такого масштаба и роскоши, что о них будут говорить еще четыре века спустя. Во-первых, это игры, устроенные Скавром в 58 г. до н.э., в которых публике были представлены сто пятьдесят диких животных, включая пять крокодилов и одного гиппопотама, в вырытом по случаю водоеме. Никогда еще римляне не видели столь впечатляющее животное. Через три года Помпей в ознаменование постройки своего театра устраивает незабываемые игры: говорят, на них публике была показана эфиопская обезьяна доселе невиданной породы, рысь, привезенная из Галлии, и носорог из Египта. На арене вооруженным людям противостояли шестьсот львов и около двадцати слонов. Публика ревела от восторга, наблюдая за этой массовой резней. Цицерон описывает эти игры в одном из писем[22], а Сенека осуждает их, как излишество[23]. К этому времени толпа уже хорошо знакома со слонами и зачастую предпочитает аплодировать их трюкам, когда они имитируют меж собой гладиаторский бой, или ложатся на пиршественные скамьи, не сбив стол, танцуют, или идут по натянутой веревке. Разве не ходило истории о том, как однажды ночью кто-то увидел одного из этих гигантов, тренирующих свой

единственный номер, которым хозяин был недоволен? У публики свои предпочтения, и, конечно, они оказывают свое влияние как на изменения в программе подобных спектаклей, так и на моду в целом. Наконец, в 46 г. до н.э. Цезарь устраивает свой триумф. Одновременно с представлениями с дикими зверями (в них участвовали четыреста львов!) он устраивает спектакль, повторяющий выигранные им битвы. Публика так же наслаждается слоновьими боями, а гвоздем программы является жираф![24]

Количество животных, приносимых в жертву, может показаться чрезмерным, пусть даже спектакли, изображающие охоту, длятся по несколько дней. Однако сам Август пишет, что в течение своего правления по его указам было привезено три тысячи пятьсот животных из Африки. Только на открытии Колизея в 80 г. н.э. в правление Тита пять тысяч зверей было убито за один день, а за сто дней, в течение которых продолжался праздник, всего было убито девять тысяч![25] Не имеющие границ требования императоров, диктуемые вкусом праздного народа, заставляют забыть о том, что наряду с представлениями с участием диких зверей завоевания послужили толчком к распространению моды и на царские охоты в восточном и африканском стиле. Римские правители, подражая восточным царям, устраивали собственные зоологические сады, как, например, Нерон в своем Золотом дворце, однако именно на арене эта мода достигла своего апогея, вплоть до отрицания собственных истоков.

При этом звери, выставляемые напоказ в представлениях, имели определенное отношение к эволюции политики Рима. В последний век Республики в моду вошел Египет. Экономические, политические и культурные контакты становятся все крепче и многочисленней во времена Помпея, Цезаря, а затем и Августа, не говоря уж о браке Антония и Клеопатры. Именно в эту эпоху в Риме становятся попу-

лярны египетские культы, в скульптуре и живописи прослеживается определенная стилизация под египетское искусство, а поэты александрийской школы пользуются особой благосклонностью младших поколений латинской литературы. Именно этим и объясняется желание Скавра показать на устроенных им в 58 г. до н.э. играх гиппопотама и его успех. Празднуя свой триумф над Клеопатрой в 29 г. до н.э., Август также предъявляет публике гиппопотама, а во 2 г. до н.э. охотники на арене сражаются с тридцатью шестью крокодилами. Нерон тоже продемонстрирует публике диковинки родом из земли фараонов: диких кабанов, обитающих у истоков Нила, зебру, гиппопотама и одну из разновидностей антилоп с вьющейся гривой и бородой — может быть, антилопу-гну. В ту же эпоху римляне узнают о существовании новой для них страны, которая становится столь же популярной, как Турция и турки во времена Людовика XIV, — речь идет об Индии. Именно в то время первые торговцы отправляются к далеким горизонтам. В 19 г. до н.э. посольство из Индии прибывает в Самос и привозит Августу живого тигра, а 4 мая 11 г. до н.э. на празднествах в честь открытия театра Марцелла римляне впервые видят прирученного тигра[26]. Другое индийское посольство привозит императору огромных ядовитых змей и громадную морскую черепаху. Флор упоминает также и делегацию из Индии и Китая, которая находилась в пути 4 года и привезла драгоценные камни, жемчуг и слонов[27]. Может быть, это были белые китайские слоны, которыми вызвали восторг толпы на тех же играх в честь триумфа Цезаря, когда был представлен и жираф, по меткому выражению Горация, «помесь пантеры с верблюдом, животным ей чуждым»[28]. Все необычное порождает любопытство, и именно любопытство стоит у истоков моды. Однако и моду, и эти необычные парады поддерживает и направление внешней политики, так как легендарные животные, которыми вос-

хищается толпа, являются живым доказательством власти Рима и его главенствующей позиции в мире в то время. Каждый тип зрелища имел свой успех в различные эпохи римской истории, однако не все они были одинаково популярны.

На моду и ее роль в жизни общества влияют различные факторы, в том числе внешние. Мы уже видели, как начиная со II в. до н.э. и весь I в. до н.э. развивается и набирает силу мода на гладиаторские бои и бои с участием диких зверей. Изначально гладиаторские бои не были частью игр в честь божества и не заменяли соревнований на колесницах, которые были единственным страстным увлечением древних римлян со времен основания Вечного города. Многие страницы истории античности посвящены этим соревнованиям, и Тит Ливий рассказывает, что сам Ромул не гнушался оспаривать первенство в беге на колесницах на Марсовом поле. Религиозная подоплека этих соревнований не вызывает сомнений, хотя их значение не всегда остается ясным: одни считают, что это ритуал, связанный с подземным царством, другие — что он связан с аграрной культурой. Однако для нас это не представляет важности. Нас интересует вот что: между теми играми на свежем воздухе, во время которых были похищены сабинянки, и теми, что столь тщательно организовываются в классическую эпоху в большом цирке в долине Мурсии, существует большая разница. Нельзя отрицать греко-этрусское влияние в том, что касается технических усовершенствований и организации этих соревнований. Их популярность все растет, вплоть до того, что игры в амфитеатре, которым аплодировала все более космополитичная толпа, затмевают игры, происходящие в цирке в конце Республики. Гораций, например, который часто пишет об увлечении своих современников гладиаторскими боями, фактически никогда не упоминает цирковые представления. Однако начиная

с I века Империи, в большей степени во время правления Калигулы, ситуация меняется. Теперь уже цирк играет главную роль в предпочтениях публики, несмотря на неугасающий интерес к амфитеатру. Откуда же взялась эта популярность?

Нам представляются две основные взаимозависимые причины: изменение политической ориентации гражданина Рима и появление фракций. Во времена Республики гражданин должен был участвовать в политической жизни города, даже если, как, например, в последние годы Республики, его роль была во многом ограничена существующей диктатурой. Он участвовал в комициях и должен был голосовать за законы и избирать магистратов. Империя, напротив, является режимом монархического толка, при котором обычный гражданин ведет праздный образ жизни и подчиняется воле правителя. Политически он демобилизован. В цирке в то время существовало четыре фракции, четыре спортивные курии: белые, красные, синие и зеленые, симпатии к которым до сих пор были только эмоциональные. Во времена Империи эти фракции становятся настоящими частными предприятиями, призванными обеспечить процветание и стабильность атмосферы курии, и обретают новое экономическое значение. В то же время их цвета означают все более четко определяющиеся политические различия: синие являлись партией аристократии, а зеленые — партией народа. Два других цвета присоединялись то к одной, то к другой из ведущих фракций. Прибавим к этому и то, что граждане таким образом, при помощи фракции цирка, могут обрести иллюзию политического значения, поддерживая тот или другой цвет, а императоры вызывали полемику в обществе, появляясь под знаменем то синих, то зеленых. Сложно сказать сейчас, на что мог толкнуть азарт представителей той или иной курии, вдохновленных примером таких фанатиков, как Калигула, Нерон

или Вителлий. Так, Калигула, не колеблясь, мог отравить лошадей синей фракции, если не самих возниц[29]. Калигуле, Нерону или Коммоду поддержка зеленых позволяла выказывать определенное презрение к аристократии. Вителлий, ярый сторонник фракции синих похоже получил титул правителя нижней Германии только благодаря поддержке одного из влиятельных людей, связанного с синими. Оказавшись на троне, он добивается благосклонности народа, флиртуя с зелеными, однако он же приговорил к смерти тех, кто осмелился поносить синих под тем предлогом, что они готовят почву для будущей революции[30].

Страсти, разгорающиеся вокруг той или иной фракции, в особенности вокруг зеленых, пользующихся наибольшей популярностью, выводят цирковые представления на первое место по сравнению с представлениями на арене. Они становятся самой модной темой для разговора. Каждый, будь он беден или богат, образован или нет, считает себя обязанным иметь свое мнение о цирке; граждане дома и на Форуме, учителя под сенью портиков не прекращают расточать похвалы или яростно спорить о той или иной лошади ли, вознице, который прославляет или позорит ленту определенного цвета... любое время и место хороши для таких разговоров, в особенности застолье. Марциал пригласил нескольких друзей на «скромную трапезу», а они не говорят ни о чем, кроме синих и зеленых (при этом трапеза состояла из козленка, колбасы, цыпленка, ветчины, бобов, свежего салата, спелых фруктов, не забывая и о вине[31]). Ювенал пишет: «Я бы сказал, что цирк вместил всю столицу сегодня; крик оглушителен: я узнаю о победе зеленых. Если бы не было игр, ты увидел бы Рим наш печальным и потрясенным, как в дни поражения консулов в Каннах»[32]. Плиний Младший настроен менее саркастически, однако и он в недоумении: тысячи взрослых мужчин единовременно, словно дети, жаждут увидеть бе-

гущих лошадей и стоящих на колеснице возниц. Это не может не удивить человека, далекого от этой новой моды. «Если бы их еще привлекала быстрота коней или искусство людей, то в этом был бы некоторый смысл, но они благоволят к тряпке, тряпку любят!» На какое-то мгновение писатель забывает о свойственном ему беспристрастном и терпимом тоне и фактически вторит Ювеналу: «Тут нет ничего нового, ничего разнообразного, ничего, что стоило бы посмотреть больше одного раза <...> когда я вспоминаю, сколько времени проводят они за этим пустым, пошлым делом и с какой ненасытностью...»[33] Общество времен Империи изнутри гложет настоящая мания. Возницы становятся героями нового времени. Статуи увековечивают их и их туники, символ принадлежности к какой-либо фракции. Кони становятся более известны, чем самые достойные люди Империи. Некоторые императоры, как, например, Нерон или Коммод, не колеблясь, назначают пенсию коням, заслужившим спокойную старость, а Калигула, покоренный великолепным жеребцом Инцитатусом, всерьез хочет назначить его консулом! Молодежь из высшего общества, да и люди более зрелого возраста, не считают для себя зазорным исполнять роль возничего. Можно увидеть, как они с хлыстом в руке разъезжают по дорогам со всей скоростью, на которую способны их маленькие колесницы, и клянутся Эпоной, лошадиной богиней, как возницы. После в своих владениях они собственноручно чистят скребницей своих коней и наполняют кормушки. Как пишет Ювенал, такое отношение со стороны молодежи еще можно понять. В конце концов, «и мы, молодые, такими ж были». Однако когда «толстяк»-консул предается этим же порочным увлечениям, правда, средь ночи, чтоб его не видели!.. «Пусть будет недолгой позорная удаль»[34], — морализует Ювенал. Однако он забывает о том, что некий Вителлий завоевывает благосклонность Калигулы, а потом и

Нерона именно благодаря той ловкости, с которой он управляется с упряжкой коней[35]. Фанатизм богачей толкает их на безумие: они строят для любимых коней мраморные конюшни с кормушками из слоновой кости и наполняют эти кормушки не ячменем, а изюмом и финиками; таким образом, новая мода на скачки и фракции затрагивает не только то, что происходит внутри цирковой ограды, но и частную жизнь граждан. Однако настоящее безумие наступает в день скачек. Начиная с первых проблесков зари многие уже приходят в цирк, чтобы обеспечить себе место на ступеньках на следующий день. Другие приходят рано с утра. В цирке собираются все — молодые и старые, женщины и дети, рабы и свободные граждане. Повсюду заключаются пари. Ступени заполняются народом — от двухсот до двухсот пятидесяти тысяч зрителей кричат, болеют, бледнеют от волнения, ждут результатов скачек. Если какая-то лошадь вдруг вырывается вперед, те, кто поставил на нее, будто в трансе, размахивают своей туникой, а те, кто не верил в ее победу, приходят в ярость или падают в обморок. Как тот зритель, который, увидев, что его фаворит был обойден, упал без чувств; его любимец вновь воспрял; времени хватило только на то, чтобы обрызгать его водой и привести в чувство, чтобы он мог присутствовать на триумфе, который без сомнения сделал его богатым. Фортуна зачастую меняла свое решение в самый последний момент скачек, одним даруя состояния, а других оставляя на грани банкротства. Половина зрителей вопила от радости, в то время как остальные бормотали проклятия из богатого репертуара, который им подсказывала ярость. Цирковые игры в начале I в. н.э. становятся не просто феноменом моды. Мода в данном случае накаляет страсти до такой степени, что устройство зрелища становится элементом повседневной жизни.

В наши дни соревнования колесниц или гладиаторские бои ценились бы прежде всего за те спортивные ка-

чества, которые в них проявляются. Однако в Риме времен Республики спорт не был популярен. Старинная традиция гласит, что тренировать тело нужно, чтобы быть хорошим солдатом и защищать родину, а не для собственного удовольствия. Катон и многие другие всегда считали, что греческие юноши в гимнасиях занимаются извращениями, так как их учат исключительно тому, как вести праздный образ жизни. Новое поколение, к которому относится и Сципион Эмилиан, открывает на греческой земле чудные виды спорта, такие, как, например, охота. Однако ей увлекается лишь аристократическая верхушка, а народ долгое время продолжает относиться враждебно к подобным занятиям. На играх, устроенных в 186 г. до н.э. Фульвием Нобилиором, кроме львов, публике были представлены и греческие атлеты. Однако успех диких зверей превзошел успех людей. Публика, которая все больше и больше увлекается гладиаторами, а в последний век Республики и охотами, разыгрываемыми в амфитеатре, не интересуется атлетизмом. Мода на гимнастику и кулачные бои появится не ранее начала Империи. Вне сомнения, ее распространение – заслуга Нерона, который интересовался всеми видами искусства, происходящими из Греции. Именно в эту эпоху, согласно Тациту, магистраты, ответственные за организацию игр, признают бои в греческом стиле, несмотря на недовольство консерваторов[36]. Тогда же начинают говорить и о пользе атлетизма для здоровья[37]. В 60 г. н.э. Нерон открывает первые празднества, скопированные с греческой модели, следующими конкурсами: бегом колесниц, гимнастикой и музыкой, поэзией, танцем и ораторским искусством. Эти игры становятся ежегодной традицией, и император становится одним из основных актеров, принимающих в них участие. Он также надеется на то, что многие молодые люди из хороших семей последуют его примеру. Он приказал построить гимнасий, примыкающий к термам, и раз-

дать масла сенаторам и всадникам. Недовольные жалуются, что «теперь вследствие заимствованной извне разнузданности, уже расшатанные отчие нравы окончательно искореняются, дабы Рим увидел все самое развращенное и несущее с собой разврат, что только ни существует под небом, дабы римская молодежь, усвоив чужие обычаи, проводя время в гимнасиях, праздности и грязных любовных утехах, изнежилась и утратила нравственные устои, и все это — по наущению принцепса и сената, которые не только предоставили свободу порокам, но и применяют насилие, заставляя римскую знать под предлогом соревнований в красноречии и искусстве поэзии бесчестить себя на подмостках»[38]. В эпоху Нерона еще мало кто из молодежи из знатных родов сражается на стадионе. Они предпочитают выступать на колесницах или в крайнем случае на песке арены. Напротив, многие молодые люди из семей среднего достатка становятся атлетами в надежде завоевать награды и подняться в обществе. Ювенал смеется над подобным карьеристом, который «знаком побед цирковых отличил умащенную шею»[39]. Атлет становится новым модным героем. Все больше и больше римлян занимается атлетизмом в частном порядке, и в больших хозяйствах рабы-атлеты тренируют своих хозяев и следят за их режимом[40]. Молодое поколение берет уроки гимнастики, и даже женщины отдают дань новой моде. Они теряют голову при виде великолепных тел греческих атлетов и делают им маленькие подарки в обмен на некие удовольствия. Ювенал, конечно, преувеличивает, описывая Огульвию, которая «все серебро, от отца что осталось, вплоть до последней посуды, дарит гладкокожим атлетам»[41], однако при этом он все же изображает характерные черты эпохи. Сенека замечает, что атлеты в большинстве своем полностью отдают себя спорту, становятся грубыми и тупыми, развивая мышечную массу в ущерб культуре духа. Их популярность возрастает

в конце первого века в той же мере, что ослабевают позиции приверженцев старых римских традиций. Лучшим доказательством тому служит стадион, рассчитанный на более тридцати тысяч мест, который Домициан приказал построить на Марсовом поле, на месте нынешней Пьяцца Навона. Именно там проходили капитолийские соревнования, учрежденные императором в 86 г. н.э., которые становятся столь же известными, как Олимпийские игры. Они просуществуют вплоть до последних дней Рима.

Для того чтобы лучше разобраться в феномене спортивной моды в начале Империи, необходимо отметить и важные изменения в быту – появление терм. Мы уже рассматривали термы как архитектурное явление, чьи истоки следует искать в восточной части Средиземноморья и которые отражают быт Италии после республиканских завоеваний. Для римлян термы – это место, где можно не только искупаться, но и расслабиться. Вокруг бассейнов располагались площадки для игр, палестры, сады, которые располагали к занятиям гимнастикой, полезной для здоровья. Здесь граждане всех сословий, в первую очередь молодежь, знакомились с атлетизмом в той его форме, которая практиковалась в Греции. Роль, которую играли термы в повседневной жизни – римляне проводили в них по два часа ежедневно, – оказала большое влияние и на судьбу чужеземного вида спорта, столь долго презираемого, а теперь быстро набирающего популярность.

Можно подумать, что театр, менее зрелищный, чем цирк или бои в амфитеатре, как вид развлечения играл менее значительную роль в сознании людей того времени. Однако на самом деле театр в разных своих проявлениях всегда пользовался большим успехом и являлся неотъемлемой частью больших игр во времена Республики с конца III в. до н.э. В то же время сложно ограничить театр несколькими значительными именами, среди которых Плавт

и Теренций будут самыми выдающимися. Разнообразие авторов римского театра и история его развития многим обязана моде и ее течениям. Прежде всего эволюция римского театра отражает те тенденции, чьи последствия мы уже отслеживали ранее. Согласно Титу Ливию[42], Рим был опустошен чумой в 364 г. до н.э. Но поскольку ничто не предвещало спада беспощадного мора и чтобы умилостивить гнев небес, правители решили учредить сценические игры — «дело для воинского народа небывалое, ибо до тех пор единственным зрелищем были бега в цирке». Впрочем, как почти всегда бывает вначале, предприятие это было скромное, да к тому же иноземного происхождения. Ни интриги, ни действия. «Игрецы, приглашенные из Этрурии, безо всяких песен и без действий, воспроизводящих их содержание, плясали под звуки флейты и на этрусский лад выделывали довольно красивые коленца. Вскоре молодые люди стали подражать им, перебрасываясь при этом шутками в виде нескладных виршей и согласовывая свои телодвижения с пением». Это представление еще не было греческим театром, однако уже можно говорить об отсутствии сакрального значения. Римляне, которые от природы с подозрением относятся к нововведениям, приняли все неизвестные им представления, так как хотели спасти свою родину из отчаянной ситуации. Таким образом, многие божества, ритуалы, жертвоприношения или церемонии были приняты римлянами в печальное время для их истории. Более века спустя, один аристократ принял у себя раба родом из Таранта, о котором мы уже говорили, — Ливия Андроника. Он сделал его учителем своего сына, введя новую моду, а затем, довольный его услугами, освободил его. Это была эпоха первых контактов с греческой культурой, когда римляне безо всякого предубеждения восхищались красотами Великой Греции, когда зарождалась мода на греческую культуру. Учительство благоприятство-

вало новому течению, и Ливий Андроник в первый раз пишет пьесу, вдохновленную греческим сюжетом, интрига которой развивается на протяжении всего произведения. Пьеса имела огромный успех, однако не стоит думать, что автор просто-напросто перевел или переделал греческую пьесу. Публика не узнала представленного сюжета. Ливий заимствовал из греческого театра аргумент, а вдобавок к нему использовал пестрые элементы традиционного итальянского театра. В конце концов, молодые любители всегда использовали форму народной комедии, которая развлекала людей. Мы знаем, что Плавт был одним из исполнителей в бродячей труппе, которая приносила радость в деревню, разыгрывая фарсовые сценки. Без сомнения, со временем эти фарсы претерпевали значительные изменения под внешними влияниями. Однако до Плавта обязательной была скрытая форма насмешки над крестьянами за счет изображения случающихся с ними несчастий, характерная для итальянского театра. В то же время, учитывая важную роль, которую в народе играли музыка, ритм фраз, произносимых речитативом, пение и танец, сложно отказаться от мысли, что они всегда были частью итальянской культуры. Все песенные речитативы, в сопровождении танцев и сакральной поэзии, изначально имели религиозное значение. Только оскские игры в IV в. до н.э., этрусские гистрионы в ту же эпоху, а позднее греки, финикийцы и азиаты оказали на театральную культуру Италии настолько значительное влияние, что на них появилась мода. Именно это и способствовало тому, что они сохранились. В 240 г. до н.э. после победы над Карфагеном на востоке Средиземноморского побережья все явственней проявляется роль Греции. Вполне понятно желание эдилов «эллинизировать» культ Юпитера, так как боги являлись первыми зрителями сценических представлений, разыгрывающихся в их честь. Ибо в сложившихся обстоятельствах

было очевидно, что греческий театр пришелся богам по вкусу. Во время Второй Пунической войны, когда в римских рядах царили упаднические настроения, ответ был найден в книгах сивилл: устроить в большом цирке игры в честь Аполлона. Первые подобные игры датируются 212 г. до н.э., и состояли они в основном из сценических представлений. С тех пор так и повелось, и театральные представления стали частью и всех других игр. Решающую роль в развитии театра сыграла греческая мода. Даже название пьес, которые показывались на играх, имеет греческий корень — паллиата происходит от названия греческого широкого плаща — палия, эллинофилы стали носить его вместо традиционной римской тоги. Плавт, самый известный обладатель паллиаты, охотно признавал, что его пьесы написаны на греческий манер, чтобы понравиться публике, — после нескольких неудач он на грани разорения, и его интересуют только деньги, которые он получит за пьесу[43]. С этой точки зрения театр Плавта действительно создается исключительно на потребу дня. Более тонкий и образованный Теренций при жизни не знал славы Плавта, по крайней мере, среди народа. Публике становилось скучно на его представлениях. Так, одна из пьес, «Свекровь», ставилась три раза, прежде чем к ней пришел успех. В первый раз внимание публики было отвлечено выступлением бойцов и канатных плясунов. Теренций пишет: «Пытаюсь ставить сызнова. И первый акт понравился; внезапно слух разносится, что будут гладиаторы; народ бежит, шумят, кричат, дерутся за места вокруг. На сцене удержаться я не мог тогда»[44]. Таким образом, если и можно говорить о популярности Теренция, то только в узком кругу аристократов-эллинофилов. Друзья Сципиона Эмилиана восхищаются им; к тому же он всегда может рассчитывать на поддержку своего известного покровителя. Однако большой успех пришел к нему и его театру уже после смерти. Удивитель-

Погребальные игры и гладиаторские бои. Реконструкция

Бой с дикими зверями. Реконструкция

но, что, пока он был жив, его удачливым соперником был Плавт; их работы постоянно сравнивали. Однако позднее работы Плавта будут забыты в отличие от работ Теренция. К сожалению, он сам этого уже не увидит.

В конце последующего столетия, последнего века Республики, жанр паллиаты фактически выйдет из моды. При Сулле популярным становится другой вид комедии — ателлана. Не то чтобы она была новым изобретением, скорее, наоборот. Ателлана — одна из древнейших форм театрального спектакля, однако до сих пор она не разделяла успеха паллиаты. Ателлана имеет кампанийские корни и представляет собой спектакль, который еще в стародавние времена являлся частью погребальных игр в Капуе. Она разыгрывалась сразу за гладиаторскими играми и в римскую культуру вошла тогда же, когда гладиаторы привлекли внимание аристократии. В ателлане не важен текст, она подобна ярмарочному фарсу с одними и теми же персонажами-типами и напоминает комедию дель арте. До Суллы она фактически не ставилась. Потом она претерпевает ряд изменений: теперь ее текст не импровизируется, а пишется заранее, тем же стихом, что и паллиата. Ее успех непродолжителен; уже в конце Республики появляется целый ряд театральных жанров, отличительной чертой которых была краткость.

Один из них все больше привлекает внимание публики. Это искусство мимов, чьи истоки уходят вглубь как греческой, так и собственно латинской культуры. Здесь мы снова можем говорить о возникновении моды на этот вид искусства, и успех его, скорее всего, обязан таланту двух соперничающих актеров, о которых продолжали говорить еще два века спустя. Изначально всего лишь яркая импровизация, во времена Суллы этот вид спектакля приобретает все достоинства литературного жанра. Учитывая его близость к имитации, его можно связать с шутовской ин-

термедией, которая обеспечивала связь между двумя представлениями.

Во времена Цезаря эти интермедии имеют даже больший успех, чем представления, которые они соединяют. Причина этого кроется в сюжетах. Мимы разыгрывают сценки из повседневной жизни в основном низших классов. Их язык груб и вульгарен. Публика смеется в ответ на скабрезности и радуется прозрачным политическим намекам. Они не щадят никого, даже самых великих. Цицерон, Цезарь, все римские императоры подвергались насмешкам в разыгрываемых мимом сценках, и публика без колебаний подхватывает особо язвительные стихи. Трудные политические условия времен конца Республики, злоупотребление властью сыграли свою роль в развитии моды на искусство мимов. Более того, среди власть имущих становится популярным содержать личного мима. Пока хозяин и его гости обедали, мим развлекал хозяев, шутил, плясал, разыгрывал язвительные сценки, вызывая у них зачастую жестокую радость, которая была столь необходима людям в те времена. Именно благодаря улыбкам и смеху, сопровождавшим пантомиму, она пользуется столь большой популярностью. Богатые и бедные чувствуют себя отомщенными, когда мим на публике выдает мысли и рассуждения, в которых они могут признаться себе лишь в глубине души. То, как он пародирует великих мира сего, или просто то, как он к ним обращается, напоминает о сатириках наших дней.

С начала Империи еще большей популярностью, чем представления мимов, пользуется новый вид театральных выступлений — пантомима. Если мим произносит текст, то пантомима — это немое представление. Танец, музыка, мимика — вот средства выражения пантомимы. Жест заменяет слово. Актер словно бы вновь обретает искусство древних гистрионов, пришедших из Этрурии в IV в. до н.э. Пантомима — театр без фабулы. Она одновременно явля-

ется и свидетельством декомпозиции, распада, раздвоения латинского театра. Изначально, как мы уже говорили выше, театр рождался из сочетания музыки и танца, с одной стороны, и текста – с другой. Уже Ливий Андроник выступает молча, так как будучи жертвой собственного успеха, он, согласно Титу Ливию, прибегал к услугам чтеца, а сам лишь жестикулировал[45]. Эта привычка стала нормой, и из подобной декомпозиции театрального действа появляются два направления, изначально дополняющие друг друга, но раздельные в сознании публики: пение и декламация, с одной стороны, жест – с другой. Вслед за эпохой и модой и публика сделала свой выбор; во времена Империи текст покидает театр и становится уделом публичных лекций (те чтения, о которых мы еще поговорим), в то время как на сцене царит искусство жеста. Эта последняя из двух театральных форм в какой-то мере воспроизводит игровой, чувственный и эротический характер римского театра до появления греческого влияния. Зрители не хотели видеть просто роскошное представление – им нужно было, чтобы оно при этом было реалистично. В мимическом представлении «Лауреолус», как пишет Светоний, актер должен был выбежать из рушащегося здания и его должно было тошнить от крови, для чего было привлечено множество второстепенных персонажей, чтобы сцена была действительно залита кровью[46]. Реализм театральных представлений зачастую повторял реализм реакции зрителей в амфитеатре. Именно это и объясняет любовь к театральным представлениям черни. Многие императоры пытались запретить подобные публичные спектакли, однако ни один запрет не продержался достаточно долго. Многие актеры пантомимы прославились, как, например, Пилад и Бафилл во времена Августа. Все римляне бросились брать уроки танца и пластики. Учителя зарабатывали целые состояния. Хотя римляне всегда рассматривали танец как

развращенное и немужественное упражнение, Сенека пишет, что во всех частных домах можно было увидеть маленькие деревянные сцены, на которых мужчины и женщины учились танцевать под руководством просвещенных учителей[47].

С начала I в. н.э. пантомима пользуется большой популярностью. Это увлечение римлян показывает эволюцию вкусов публики, в особенности если сравнить его с модой на Плавта, например. Наибольшее значение зритель придает физической привлекательности актера. Каждое движение головы, плеч, каждый изгиб тела, язык рук, каждого из его пальцев имеет свое значение. К этому следует прибавить музыку и хор, также важны пышные декорации, роскошные костюмы, грим... все должно свидетельствовать о совершенстве, красоте, молодости. Все зрелище в совокупности возбуждает фантазию людей и раскрепощает их желания.

Таким образом, актер становится первой жертвой моды, которую он сам и вызвал. Он – кумир толпы и раб собственного тела. Он активно занимается гимнастикой, делает дыхательные упражнения со свинцовыми пластинками на животе, следует строгому режиму питания, пьет слабительное, чтобы оставаться худым... Он – всего лишь тело, объект эротического желания. Его поклонники вступают в драку с поклонниками другого актера. Во времена Нерона, например, случились волнения на улице, которые потребовали вмешательства правительственных войск. Среди солдат были жертвы[48]. Женщины сходили с ума от любви к этим аполлонам. «Видя Бафилла, как он изнеженно Леду танцует, Тукция вовсе собой не владеет, а Апула с визгом, будто в объятиях, вдруг издает протяжные стоны...»[49] Согласно Тациту, эта мода – бич Рима[50]; она охватывает всю аристократию, словно заразная проказа. Уже Августу пришлось принять ряд суровых мер, чтобы наказать

некоторых мимов, которые преступали все границы в своем поведении. Он приказывает выпороть и изгнать актера Стефаниона, у которого была интрижка с замужней женщиной (эта последняя коротко остригла волосы и следовала за ним, переодевшись в мальчика). Он изгоняет из Италии даже прославленного Пилада, который осмелился показать пальцем на гражданина, который свистел во время его выступления. Кумир публики, даже будучи обласкан самим императором и знатными патрициями, не должен был забывать о своем положении — либо раб, либо вольноотпущенный, либо иностранец. В 15 г. Сенат запретил сенаторам часто посещать пантомиму, а всадникам — сопровождать актеров на улице[51]. В то же время действительно хорошие актеры получали большие гонорары. До вторичного открытия театра Марцелла Веспасий выплачивал компенсацию актерам, которые там играли. При этом кажый получил минимум 40 000 сестерциев, а один из них — даже 400 000 сестерциев[52].

То особое положение, которое актеры занимали в обществе, связано с тем, что, с одной стороны, профессия считалась позорной, а с другой — обожание со стороны императоров и народа было таково, что позволяет говорить об установлении в Риме так называемой звездной системы. Нельзя отрицать, что ряд гладиаторов, возниц и актеров имели большой успех, однако при этом они никогда не могли пользоваться гражданскими правами. Гражданин, который появлялся на сцене или на арене, был обесчещен. Причин этого морального осуждения достаточно много, хотя они и не совсем ясны. Ведь изначально именно молодые римляне соревновались на колесницах или подыгрывали этрусским гистрионам в разыгрываемых сценках. В Греции же положение актера никогда не было таким бесправным, как в Риме. Влияние со стороны греческого театра мало что изменило в той концепции, которая

сложилась, скорее всего, со времен, когда первые этрусские актеры были рабами. Таким образом, римские игры в какой-то степени становятся маргинализованными и в то же время все более и более профессиональными, по мере того как спектакли требуют тренировки и определенной специализации. Степень позора, выпадающего на долю участников римских игрищ, зависит и от их роли. Так, греческие атлеты и участники ателланы фактически не сталкиваются с презрением по отношению к ним. Самыми презренными считаются гладиаторы: пятно позора навсегда лежит на них. Ведь они не только выставляют себя на потеху публике, они льют кровь и участвуют в кровопролитных боях за деньги. Цицерон, желая оскорбить своего противника, намеренно называет его «гладиатором». В то же время многие граждане и всадники, иногда даже сенаторы, появлялись на сцене, на арене или в цирке, пока не были приняты запрещающие это законы. Презрение, испытываемое к актерам и гладиаторам, со временем сходит на нет, и в эпоху Империи народ, у которого уже не было права слова, все-таки заставляет считаться со своими вкусами. Даже гладиаторами заслуженно восхищаются, и их сверхчеловеческие характеристики одновременно героя и убийцы приводят в восторг (тем не менее, в отличие от актеров и возниц, ни одному гладиатору никогда не была поставлена статуя). Сами императоры служат примером толпе. Без сомнения, Нерон был наиболее эклектичным из всех римских императоров. Он не только разыгрывал и пел произведения собственного сочинения на сценах театров, наслаждаясь неминуемыми аплодисментами (на ступеньках солдаты наблюдали за тем, насколько популярен император). Он также участвует в соревнованиях на колесницах и спускается на арену. В Греции он участвует в Олимпийских играх и завоевывает приз в беге на колесницах, что не составило большого труда. Чтобы победа была ему обес-

печена, он соревновался сам с собой! В амфитеатре он сражался с заранее «обученными» дикими зверями — они были настолько ослаблены, что его императорское величество могло наслаждаться полным своим триумфом без всякой для себя опасности. Еще до него страстным поклонником гладиаторских игр был Калигула, который устраивал их прямо в своем дворце. Тит и Коммод также баловались гладиаторскими играми, когда не были увлечены вождением колесниц[53]. Говоря словами Ювенала, «странного нет в вельможном актере, когда сам Цезарь кифару взял».

Для всех участников игр жизнь становится более приятной. Они становятся частью свиты власть имущих и, даже будучи рабами или вольноотпущенниками, они имеют больше, чем бедные граждане Рима. Актер более всех нуждается в богатых покровителях, так как от них зависит и его продвижение, и его состояние, — именно они создают звезд сцены из актеров. Однако в то же время и сами аристократы нуждаются в актерах и возницах. Тот двор, который они содержат вокруг себя, должен отражать важность их положения в обществе и их богатство, придавая им ореол, вроде того, каким были окружены греческие цари. Соответственно, если аристократы вводили того или иного актера в моду, то именно для того, чтобы пользоваться последствиями этой моды к своей вящей выгоде и славе.

Даже карьера такого известного актера, как Росций, служит тому примером. По происхождению слуга, может быть, сын вольноотпущенника, он приезжает в Рим еще ребенком и там, несмотря на то, что он слегка коси́т, его исключительная красота становится ему пропуском повсюду. В пятнадцать лет, будучи принятым в свиту богатого римского эллинофила Лутация Катулла, он быстро обучается правилам игры в любовь и поэзию, принятым среди золотой молодежи Рима, в увитых зеленью беседках своего покровителя. Катул посылает своего молодого любовни-

ка учиться в театральную школу. Росций быстро становится известным в Вечном городе. Однако история идет своим путем, нарушив идиллию сладких часов, проведенных в соответствии с *otium graecum*. Катулл, жертва сторонников Мария, вынужден совершить самоубийство. Росцию в тот момент сорок лет, он блистает на сцене. Самому великому Сулле лестно считать его одним из многочисленных приближенных к нему артистов, с которыми он не брезгует имеет любовные связи. Слава Росция достигает своего зенита. Публика его обожает, его выступления оплачиваются золотом. После смерти Суллы Росций живет на средства своих верных поклонников и является частым гостем аристократов. Цицерон является его другом и защищает его в известном процессе. У него своя театральная школа, где он муштрует новичков. Прошедшим ее, говорит он, обеспечена слава на театральных подмостках. Умер Росций около 62 г. до н.э. Хотя его возраст в последние годы жизни и не позволял ему больше появляться на сцене в каких бы то ни было пьесах, его слава не меркнет; он становится признанным теоретиком театрального искусства, к которому не раз обращается Цицерон, сравнивая актера и оратора. Исходя из его биографии можно сделать вывод, что его карьера – карьера звезды – основана в какой-то степени на проституции, хотя публика никогда не сердилась на него за это. Таково двойственное положение актера: каким бы известным и почитаемым он ни был, он всегда остается слугой, игрушкой и ценным приобретением своего хозяина, марионеткой роскоши и моды, и никогда гражданином. И потому для гражданина стать актером или гладиатором всегда позор, пусть даже им и ставят статуи по всему Риму.

Можно ли представить себе, что страсть к модному вознице или гладиатору может дойти до своеобразного культа личности? Древние стены пестрят хвалебными одами в адрес любимцев публики. Не будь стены в Помпеях

исписаны именами и деяниями этих звезд, мы бы ничего о них и не знали. Поэты воспевают их, как, например, Марциал, который пишет: «Скорп я, о Рим, твоего я слава шумного цирка, были недолги твои рукоплескания мне»[54] или «Гермес может по-всякому сражаться, Гермес — и гладиатор, и учитель, Гермес — собственной школы страх и ужас, Гермес — тот, кого боится сам Гелий, Гермес и Адволанта презирает, Гермес всех побеждает невредимый. <...> Гермес — клад для барышников у цирка, Гермес — жен гладиаторских забота...»[55] Пятнадцати строк едва хватает, чтобы описать его успех и его деяния. Можно себе представить, что смерть Гермеса будет сродни национальному трауру.

Как и с фанатиками футбола в наши дни, царя арены окружает целая свита, называющая его своей звездой и позволяющая хитрым торговцам наживаться на ажиотаже. Они покупают кубки или лампы, на которых выбиты самые славные победы их кумира. Многие даже коллекционируют подобные предметы, как, например, Тримальхион, обладатель массивных кубков из серебра, на которых увековечены битвы двух героев, а персонаж Петрония хочет, чтобы эти битвы были изображены также и на его могиле![56] Слава некоторых гладиаторов такова, что мы находим их имена на стенах в Помпеях, хотя доподлинно известно, что они никогда там не бывали и что для большинства жителей Кампании это не более, чем просто имена. Однако эти имена были у всех на устах и к ним сводились все беседы.

И при таком положении вещей разве не будут все женщины Рима, даже всей Италии, втайне мечтать о том, чтобы прижаться к могучей груди этих модных героев? Во время раскопок в Помпеях в казармах гладиаторов был обнаружен труп матроны, увешанной драгоценностями, застигнутой врасплох извержением Везувия. Что делала богатая патрицианка в час сиесты в квартале, имеющем

столь сомнительную репутацию? Без сомнения, она проклияла бы археологов, что они открыли ее позор и бесчестие на обозрение потомкам. История донесла до нас и имена женщин из самого высокого общества, которым, как Мессалине, их положение и власть позволили осуществить свои мечты, равно как и страсть императора Коммода к гладиаторам, если верить слухам, имеет много общего с тайными посещениями гладиаторов его матерью... Ювенал не мог не упомянуть о подобных вещах, что могло лишь подогреть его желчный нрав. И он от всей души живописует нам портрет Эппии, жены сенатора, которая не боится оставить свой дом, мужа, плачущих детей. Она «с детства росла средь великих богатств у отца и привыкла спать на пуху в своей золоченой, резной колыбели». Но вот она «одолела моря, как раньше честь одолела», и терпит, что «трюм противен, вонюч, в глазах все ужасно кружится». «Если с развратником едет, она здорова желудком. Эту при муже рвет, а та, с моряками поевши, бродит себе по корме и охотно хватает канаты». Ибо Эппия увлечена мужчиной, и не просто мужчиной — гладиатором. «Сергиол, милый ее, уж давно себе бороду бреет, Скоро уйдет на покой, потому что изранены руки, а на лице у него уж немало следов безобразных: шлемом натертый желвак огромный по самому носу, вечно слезятся глаза, причиняя острые боли». Но все-таки он — гладиатор, а этого достаточно, чтобы покинуть мужа, детей, сестру, родину. За это она даже получила прозвище «гладиаторша»[57].

Ювенал, конечно же, преувеличивает. Мода на того или иного участника представлений (какими бы они ни были) не меняется во все времена. Эти удачливые артисты стали известными случайно. Сами их способности помогли им добиться успеха публики в определенную эпоху и позволили другому спектаклю украсть у них восхищение публики в силу политических или социальных причин,

гораздо более глубоких, чем привязанность толпы. В Риме, как мы видели, моду творят избранные, однако, когда речь идет о спектаклях, мода должна получить одобрение публики. Потому именно в том, что касается зрелищ, публика тоже причастна к зарождению и развитию моды. В этом кроется первая причина успеха того или иного представления и того энтузиазма, с которым его встречает народ. Другая причина сводится к внутреннему устройству грандиозных римских зрелищ: великолепие и престиж нации, которая сумела установить свою гегемонию во всем античном мире. Мода не более чем внешнее и поверхностное проявление сопутствующих обстоятельств этого масштабного завоевания мира.

Глава VI

МОДА И РЕЛИГИЯ

В основе спектакля или игр лежал религиозный смысл, в них проявляется трепет перед богами и уважение, которое люди им воздавали. Чтобы лишить эти действа священного характера, достаточно было внешних влияний, чьих-то личных амбиций, веяний моды. Трудно предположить, чтобы сходные факторы не затронули саму религию как в ее божественных, так и в культурных проявлениях. Среди них самой далекой от религии кажется мода, что вполне естественно, если смотреть на религию с точки зрения иудейско-христианской цивилизации. Но взгляд человека, воспитанного на христианских ценностях, вне зависимости от того, согласен он или нет с этим мировоззрением, не годится для античных религий. В Риме времен Республики понятия веры в том смысле, который известен нам, не существовало. Набожность римлян ничего общего не имеет с набожностью сторонников христианства или ислама. Для них религия – составляющая государства, объединяющая граждан, регулирующая их общие взаимоотношения с богами. Их первая забота – обеспечить «*pax deorum*», мирное сосуществование с богами, которое единственно гарантирует спокойную и благополучную жизнь. Вот почему следует внимательно следить за знаками, исходящими от божества, принимать их в расчет и ни в коем случае не идти против. Иначе гармония будет нарушена. Таким образом, ре-

лигия сводится к точному и вполне материальному соблюдению культов и ритуалов, которые позволяют поддерживать в отношениях с богами мир и равновесие. Впрочем, не только у людей есть обязательства перед богами, боги тоже должны соблюдать положения этого соглашения: таким образом, у каждого гражданина есть свой договор с теми, кто обязан оберегать процветание города.

Непрестанная забота о полном взаимопонимании между людьми и богами отчасти объясняет одну из важнейших составляющих римской религии – терпимость. Рим всегда умел принять и сделать своими иноземных богов, особенно тех, в которых верили покоренные народы. «Они [римляне] почитали побежденные божества, стремились сделать их своими, возводили алтари даже незнакомым богам и манам, душам умерших предков. Так они впитывали культы всех народов, чьи земли завоевывали»[1]. Иначе как господствовать над народом, если не заключен контракт с его богами? Ритуал «заклинания» состоял в том, что «вражеское» божество приглашали свободно обосноваться в Риме.

Легко понять, что в подобных условиях смешение религий происходило не только в «духовном» аспекте, но вовлекались и обстоятельства, ничего общего с религией не имеющие. Хотя греческие божества почитались в Риме с момента его основания и контакты с эллинистическим миром были многочисленны и казались вполне естественными, особенно в III веке до н.э., ясно, что завоевание Греции и восточных царств проделало в религии такую же брешь, как в политической, экономической и общественной жизни. Аристократы, исповедовавшие эллинизм, воспользовались восточной философией и религией, чтобы оправдать свое стремление к власти, а знание греческого позволяло им ссылаться на теологические трактаты, утверждая свое отличие от простонародья и превосходство над

ним. Если отрешиться от самой религиозной практики, то более рациональный, философский подход к религии приводил к появлению идеологического раскола между теми, кто его исповедовал, и теми, кто придерживался традиций. Новое мышление римских правителей привело к развитию здесь иноземных тенденций, которые лучше отвечали интересам этой аристократии. Например, обожествление восточных монархов нашло свой отклик в Риме.

Этот разрыв с устоями, вызванный иным взглядом на привилегированную роль правителя, о чем говорит стоик Панеций, а также появление индивидуализма породили в I веке до н.э. кризисную ситуацию. В политическом противостоянии начинают активно использоваться нетрадиционные религиозные воззрения. Политики опираются в зависимости от ситуации на то или иное божество, тот или иной культ, религия становится не только базисом, но и средством становления личной власти. Теперь речь идет не об одной, но о множестве религий. Город разрывается на части, каждая из которых проповедует собственную религию, чтобы иметь возможность действовать по своему усмотрению. После долгих лет гражданской войны появляется человек, который в состоянии объединить приверженцев традиций и сторонников неизвестных ранее веяний – Август. Император воплощает в себе и символизирует и город, и мир. С религиозной точки зрения эта перемена важна – теперь хранителями веры выступают не все граждане, а один человек, ставший посредником между городом и богами. Рим, не мысливший прежде существования вне понятия коллектива, что реализовывалось на практике через парламент, начинает признавать в соответствии с восточной традицией главенствующую роль отдельной личности. И это полный разрыв с традиционной религией, ее постепенная утрата, что открывает брешь для иноземных нововведений, которые в III веке приведут к

глубокому кризису в сфере духовной жизни. Безусловно, Август предчувствовал опасность, а потому боролся с распространением религий, отличных от прагматичной римской. Но он должен был заботиться об объединении Империи, а это было возможно только в случае признания верований всех народов, ее населявших. Хотя еще со времен установления Республики римляне с большой щепетильностью относились к другим верованиям из страха вызвать гнев какого-то божества и совершить святотатство. Результатом стало определенное легковерие. Если кто-то объявлял себя пророком или жрецом того или иного божества, обладая при этом достаточным красноречием и способностью внушать доверие, такой человек легко мог сколотить состояние. И здесь определенный успех выпал на долю греков — известных краснобаев, умевших подать себя. Можно предположить, что за многими новыми культами скрывалось шарлатанство. Тит Ливий утверждал, что предлагавшие очередную религию зачастую преследовали при этом исключительно собственные корыстные интересы[2]. Но говоря о подобных случаях жульничества, которые оскорбляли религиозное чувство людей, мы затрагиваем область хотя и очень близкую к религиозной, но собственно религиозной уже не являющуюся. Правильнее, наверное, говорить об извлечении выгоды из религии, т.е. об отношениях почти коммерческих. И это одна из тех областей, где важную роль играет мода. Прежде всего следует разобраться в том, как смогла развиться подобная ментальность, т.е. в какой момент традиционной религии оказалось недостаточно, чтобы отвечать на вопросы, которыми задавались жители Рима. Постепенное проникновение в религию черт эллинизма не было процессом непрерывным и не всегда имело положительный результат. Человеку нужны сомнения и неуверенность, чтобы пересмотреть свои верования; эти сомнения и неуверенность проявляются в кри-

зисные моменты, которые усугубляются нестабильностью жизни. При Республике самым тяжелым оказался кризис после Второй Пунической войны. Уже во время предыдущей карфагеняне доставили римлянам немало беспокойства. Для них это была первая «иностранная» война, которую они вели против народа, жившего не на территории Италии. Но вторая, продолжавшаяся семнадцать лет, посеяла ужас — неприятель разорял итальянские земли и угрожал существованию самого Рима. И какой неприятель! Ганнибал, один из величайших полководцев в истории, стоящий в одном ряду с Александром Македонским и Юлием Цезарем. Многие жители Италии, и на юге, и на севере, при приближении его войск проявляли малодушие и зачастую присоединялись к ним. Его победы отражены в римских хрониках как самые трагические поражения сынов Ромула, в особенности у Тразименского озера туманным утром 217 г. до н.э. и при Каннах год спустя. Практически все годные к военной службе мужчины призваны были защищать отчизну и впервые с такой силой сердца всех — от простолюдинов до сенаторов — охватил страх. Женщины и дети, укрывшиеся в столице, которая едва удерживалась под напором врага, во что бы то ни стало решившего ею завладеть, не знали больше, каких богов молить о помощи. Происходящее напоминало кару рассерженных божеств. В такой ситуации все средства хороши, а особенно те, что прописаны в книгах Сивилл, почитаемых и этрусками и греками. Следуя традиции обряда «заклинания», правительство «призывает» в Рим новые божества, в частности Венеру с Эрисийского холма. Храм этой богини, которой поклонялись греки и пунийцы, возвели на самой западной оконечности Сицилии. Замысел вполне ясный — это была самая уязвимая часть острова, населенного римлянами, но именно отсюда началось их успешное контрнаступление во время Первой Пунической войны.

Хотя богине этой было чем испугать защитников римских добродетелей: культ ее носил исключительно восточный характер и поклонялись ей в основном рабыни, занимавшиеся проституцией. Но перед лицом опасности не до морали, а ради победы можно пожертвовать всем, даже добродетелью. С этой точки зрения культу Венеры Эрисийской ничем не уступает культ Кибелы, которого потребовали от римлян книги Сивилл в 205–204 гг. до н.э. Этой азиатской богине служили мужчины-кастраты, принесшие с собой в Рим определенный религиозный «фольклор». Нетрудно вообразить, какой экзотикой казалось это оторопевшим римлянам.

В этих разнообразных и порой довольно зрелищных попытках смягчить гнев богов не меньшую роль играет Греция. Так, значительное развитие получил культ Аполлона, обогащенный множеством ритуалов и церемоний, молениями женщин, пиршествами... и даже ежегодными играми, которые появились наряду с традиционными, которые предписывала римская религия. Это произошло после того, как Фабий Пиктор официально посетил Дельфийского оракула, который перечислил необходимые церемонии и жертвы. На подобное событие нельзя не обратить внимание: путешествие в Дельфы, чтобы просить у иноземного бога в его храме совета о том, как справиться с «римскими» невзгодами, свидетельствует, что собственные боги не способны были вызвать к жизни обряды, которые вдохнули бы силы в защитников родины. Тут же иноземные оракулы разного толка почувствовали себя вправе воспользоваться этой несостоятельностью римских богов... и сколотить состояние, вне зависимости от того, будут ли признаны официально. И множество шарлатанов решили сыграть на доверчивости и ужасе растерянных римлян. Самый известный пример неожиданных, но важных последствий изменения ментальности римлян – успех

культа Вакха, последовавший после Второй Пунической войны. Вакху поклонялись в Италии и даже в Риме многие десятилетия после завоевания ее юга, но после войны культ получил невероятное распространение и способствовал этому новый пророк, жрец, грек по национальности, пришедший, как говорят, из Этрурии. Таинства Вакха, совершавшиеся в подражание греческим, быстро свелись к оргиастическим действам, во время которых молодые люди, проходившие обряд посвящения, приходили ночью в лес недалеко от Рима, где их окружали впавшие в состояние транса верующие, а неистовая музыка заглушала крики страданий новообращенных. Таинства эти позволяли посвящаемым избавиться от страха смерти и достичь сиюминутного блаженства с помощью мучительных и достаточно непристойных «священнодействий», весьма далеких от того, чему учила *virtus romana*. Очень быстро встречи эти приняли вид тайного сговора против Республики, чем воспользовались противники эллинизма, которые разоблачили заговор в 186 году до н.э. Осуждено было семь тысяч человек.

Размах, который приняли вакханалии, — яркое свидетельство изменений, произошедших в римской религиозной ментальности в начале II века до н.э. Атмосфера праздников и церемоний новых культов ничем не напоминала суровость римских ритуалов. Верующие, принимавшие в них участие, наслаждались человеческим теплом и весельем. Игры и пиршества в честь богов по греческим обрядам приглашали к радостям и удовольствиям. Изобретательность, с которой греки подходили к своей мифологии, богатства, доставшиеся римлянам после их завоевания, способствовали ускоренной эллинизации религии. Рим начинает тяготеть к Востоку, сталкиваясь с ритуалами, которые сопровождали культ Венеры или Кибелы. В этом нет пока ничего угрожающего для традиционной веры, но

иная ментальность уже угадывается, и именно она будет способствовать приходу в Рим из разных уголков Империи неведомых прежде религий и их развитию здесь. Римлянин II и особенно I века до н.э. начинает задаваться вопросами, на которые верования его предков, не способные заглушить его страхи, не в состоянии дать ответ. Такое состояние умов — основа процветания в Риме богов, пришедших с Востока. Оно же тесно связано с веяниями моды, пришедшими из Греции или с Востока и затронувшими, как мы уже видели, все сферы обыденной жизни. Теперь посмотрим, как проникали в Италию восточные религии. Самая древняя из них пришла из Фригии. Она появляется в Риме в самом конце III века до н.э., когда книги Сивилл советуют «вызвать» в Рим Кибелу и ее слугу-евнуха Аттиса. Но распространение этого культа начнется только при императоре Клавдии, который примет и другие анатолийские божества и станет на их защиту. До этого момента процесс тормозило то, что римлян мало привлекали религии, столь не похожие на их собственную. Рассказывают, например, что в эпоху заката Республики один из жрецов Кибелы из Пессинунта пришел в Рим и обошел Форум, надев длинное вышитое платье и золотую корону и призывая к публичному искуплению вины за оскорбление статуи богини. Но народ возмутился и вынудил его быстро ретироваться[3]. Во времена Империи уровень жизни был очень разным. Невероятно выросло число рабов азиатского происхождения, а их массовое служение при дворе определило степень их воздействия. Клавдий ввел новый праздничный цикл в марте месяце, чтобы отметить приход весны, которую символизировал Аттис. Торжества призваны были напомнить, как богиня Кибела нашла малыша Аттиса на берегу большой реки во Фригии; главный жрец — архигал — приносил в жертву шестилетнего быка, кровь которого должна была дать полям плодородие. Через семь дней

(семь дней воздержания) рубили ель и привозили в храм, где ее пеленали как тело умершего, — это подразумевало скончавшегося Аттиса. Следовали дни траура и похорон, во время которых жрецы пронзительно кричали, бичевали себя, умерщвляли плоть и доходили до состояния транса, в котором неофиты кастрировали себя острым камнем. Но безысходность смерти сменяет радость возрождения. И праздник расцветал шумными шествиями, бьющим через край весельем, апогеем которого было обильное пиршество. Заканчивался он триумфальным шествием толпы, окружавшей статую богини, которую осыпали цветами по дороге к реке, где следовало купание. Покровительство императора по мере своего развития обеспечило этому восточному культу популярность и в городах, и в деревнях.

У пришедших из Александрии культов Изиды и Сераписа судьба оказалась схожа с той, что была у Великой матери богов из Пессинунта. Их практиковали в Кампании, затем, во II веке до н.э. они достигли Рима, где их сторонниками стала довольно значительная часть населения. Они привлекали, так как звали приобщиться к таинствам, обещавшим бессмертие, а также потому, что взывали к чувствам и вводили понятие удовольствия в религию. В Александрии Изиду особо почитали проститутки, ее храмы служили убежищем молодым людям, которых разыскивали за их любовные похождения. Александрийская мода подготовила благодатную почву для прихода этой богини. В период Империи личность Изиды претерпевает изменения — требование чистоты тела и духа заставляет придать ей иной моральный облик. Если при закате Республики и начале Империи она вызывала опасения властей, поскольку полный таинств культ мог благоприятствовать появлению тайных обществ и политических заговоров, то во время правления Калигулы ей возводят храм на Марсовом поле, а при следующих императорах оказывают все больше по-

честей. Празднества, посвященные Изиде, как и те, что прославляли Кибелу, напоминали о смерти и возрождении Осириса. За траурным плачем и погребением бога следовало воссоздание его божественного тела Изидой, а на смену безнадежности приходил восторг, эта игра чувств привлекала все больше и больше сторонников. Но насладиться счастьем в полной мере могли лишь посвященные. Проникновение в тайну смерти было созвучно вопросам о том, что происходит «там», а обещание счастливого бессмертия притягивало «маленьких людей», которые чувствовали, что не в состоянии сопротивляться водовороту событий, в которые вовлекала их агонизировавшая Республика.

Кибела и Изида — восточные божества, которые обосновались в Италии и Риме раньше других. Но они не были единственными. Нельзя не сказать о сирийских культах, которые получили распространение с имперских времен. Но сирийские рабы, вероятно, принесли их еще во II веке до н.э., так как Эвн считал себя служителем сирийской богини и говорил, что получает приказы от нее с небес. Этот раб был избран царем своими товарищами по несчастью, произошло это в 135 году до н.э. на Сицилии во время знаменательного восстания, которое привело в волнение весь остров и потребовало вмешательства римской армии. Прошло несколько лет, прежде чем удалось восстановить спокойствие. При Республике сирийцы были слишком бедны, чтобы возвести храм своей богине. Они довольствовались тем, что собирались вокруг странствующих жрецов, которые ходили по деревням и предавались своим священным занятиям. Лукиан описывает молодых людей с накрашенными лицами, возглавляемых старым евнухом с сомнительными наклонностями, которые следуют за изображением своей богини, водруженным на спину осла[4]. Остановившись, они начинали свои конвульсивные танцы

под пронзительные звуки флейты — головы откинуты назад, слышны грубые крики. Когда в состоянии транса тела их теряли чувствительность, бичевали себя, кололи мечом и разбрызгивали кровь перед оцепеневшей толпой, которая затем выражала свое изумление щедрыми подношениями продуктами либо деньгами. Иногда участники процессии прорицали — сирийцы известны были своими способностями угадывать будущее. И если сирийские культы получили развитие при Империи благодаря активности негоциантов, которые имели поддержку у лиц, занимавших высокое положение, то умение этих выходцев с Востока предсказывать оценили гораздо раньше: считается, что Марий просил у сирийской прорицательницы совета о том, какие приносить жертвы[5]. К тому же халдеи считались грозными астрологами и их пророчества оказывали значительное влияние на умы римлян. Мы увидим, какова была доля моды в успехе, выпавшем на долю сирийских ведунов.

Наконец, нельзя обойти молчанием религиозное влияние Ирана, и в особенности культа Митры. Расширение завоеваний и обустройство покоренных государств способствовали усиленному проникновению на запад культурных и художественных традиций Ирана. Некоторые их приверженцы известны в Риме еще во времена Республики, но только в эпоху Флавиев римляне восприняли доктрину маздеизма. Официальное признание Диоклетианом культа Митры и покровительство со стороны императора увенчали усилия этих представителей Азии, препятствий к проникновению их традиций больше не было. Столь далекие от собственных верований, их вначале с восторгом восприняли римские солдаты, воевавшие на анатолийских плато. Именно они вместе с негоциантами и рабами, служившими у императора, стали первыми проводниками новой религии. Последний из Антониев — Коммод — даже согласился стать посвященным в таинства Митры и культ проник

во все слои населения. Тем не менее, в отличие от культов Изиды и Кибелы, в нем не было театрализованных проявлений, и сложно понять, какой именно след оставила в его проникновении мода. Благосклонность же к нему объясняется двумя своеобразными причинами, и прежде всего появлением принципа дуализма, когда противопоставляются дух и материя, душа и тело, добро и зло. Этим же принципом будет вдохновляться иудаизм, а затем и христианство, развивая представление об аде и дьяволе. Вторая причина состояла в том, что римское общество II и III веков почувствовало необходимость в деятельной, мужественной и взыскательной морали, которая отвечала бы нуждам правосудия и требованиям чистоты. В культе Митры обряд посвящения стирает все ранее совершенные моральные ошибки и обязывает к поиску душевной чистоты. Митра целомудрен, тогда как Изида – сестра и жена Осириса, Аттис – возлюбленный Кибелы. К подобной моральной высоте будет стремиться и христианство, и, если бы его не насаждали принудительно, сегодня, как справедливо заметил Ренан, религией нашей возможно был бы культ Митры.

Этот весьма поверхностный обзор основных восточных культов, которые почитались в Риме, позволяет лучше понять, насколько изменилась ментальность после Второй Пунической войны. Оставим в стороне культ Митры, для которого невозможно установить, какую роль в его головокружительном успехе сыграла мода, но о котором нельзя забывать вследствие его важности. Все остальные, напротив, получили распространение не только благодаря новым верованиям, которые они предлагали. Они естественным образом сопровождали приход в Рим с Востока идей и товаров и, подобно им, вызывали удивление, становились необходимыми, порождали сторонников и противников, вызывали к жизни определенный снобизм, одним сло-

вом, были типичными продуктами моды. «Вот уже многие годы сирийская река Оронт впадает в Тибр, неся с собой язык и нравы этой страны, она принесла с собой арфу со струнами, расположенными по диагонали, флейтистов и музыкантов, играющих на экзотических тамбуринах, девушек, которые поджидают клиентов у выхода из цирка»[6], — гневается Ювенал. Будоражит умы сама мысль о таинственном и неизвестном. Эксцентричные шествия и томные песнопения действуют скорее на чувства, чем на разум, — они чаруют, восхищают, околдовывают. Взрывы радости, душераздирающие крики страдания, кровь, которую разбрызгивают жрецы Беллоны, одетые в длинные черные платья, с длинными волосами, прорицающие, вонзая в руки острые клинки и кружась в бешеных танцах... Вот что впечатляет, задевает за живое. Живописные шествия жрецов Изиды — в льняных одеждах, с бритыми черепами — так непохожи на серьезные и сдержанные церемонии в честь Юпитера на Капитолийском холме. Это неведомое великолепие возбуждает интерес простонародья, но нравится и аристократии — к концу эпохи Республики Египет уже в моде, и культ Изиды не стал бы никогда столь притягателен, если бы ему не следовали, даже в проявлениях самых эксцентрических, люди очень влиятельные. В этом и состоит отличие: наряду с искренними сторонниками, действительно в него поверившими, есть те, для кого все эти проявления культа — всего лишь желание выделиться. Особенно подвержены этому оказались римлянки. Причина проста: в отличие от традиционной римской религии, культы признавали и принимали женщин. В то же время они апеллировали больше к чувствам, чем к разуму, и эта их «страстность» благосклонно была воспринята лишенными предрассудков прекрасными представительницами определенных кругов римского общества. Поэты последнего столетия Республики и начала Империи первыми посетовали на это. Катулл быстро раскаивается в том, что похвас-

тался «восемью мужчинами великолепной выправки», которых привез из Вифании, – тут же одна из его подруг просит у него этих людей и носилки, чтобы ее отнесли в храм Сераписа[7]. Не больше повезло и Тибуллу – его Делия стала преданной последовательницей Изиды, играет на систре во время церемоний, совершает священные омовения, носит льняные одежды, поет дважды в день хвалу богине и... предается воздержанию. Есть от чего потерять голову бедному поэту[8]. Не лучше участь Овидия, и он заклинает Изиду «ее сестрой и грозным ликом Анубиса...»[9] Но, быть может, этот внезапный переход к вере в египетскую богиню всего лишь попытка получить моральное оправдание вольностей, дозволяемых этими обрядами? Эти божества лучше приспособлены для свободы нравов. Овидий, давая советы молодому римлянину, ищущему любовных приключений, рекомендует не избегать празднеств в честь Адониса или сирийской богини. «Не избегай также храма коровы, египетской богини, одетой в льняные одежды: многих женщин она превратила в то, чем сама была для Юпитера»[10]. Более резкий Ювенал называет Изиду «сводницей»[11], и сразу вспоминается Деций Мунд, который напрасно преследовал своими ухаживаниями благородную даму, целомудренную, но преданную Изиде. Потребовалось пять тысяч динаров, чтобы жрецы согласились убедить ее, что сам бог Анубис хочет видеть ее ночью. Мунд в маске бога предстал перед ней и рассчитывал, что она разделит с ним божественный экстаз. Однако обман раскрылся, о нем узнал император, приказал отправить в ссылку Мунда, распять жрецов, разрушить храм и бросить в Тибр изображение богини. Без сомнения, Ювенал не ошибался, когда писал, что египетские жрецы прогуливались в маске Анубиса, «тихо посмеиваясь над серьезностью народа»[12].

Таким образом мода вносит свой вклад в легковерие как фактор распространения восточных культов. Жрецы знают, как добиться от своих последователей абсолютной

преданности и заставить поверить, что их устами говорит сам бог. Самые заметные женщины считают почетным с образцовой преданностью подчиняться предписаниям избранной религии. «На рассвете, в разгар зимы, наша последовательница разобьет лед на Тибре, чтобы окунуться в него три раза, и, даже если она не любит воду, все равно погрузится в реку с головой, потом голая и дрожащая проползет на окровавленных коленях вдоль всего поля Тарквиния Великолепного». И если ей прикажут, она пойдет в глубь Египта в поисках святой воды, чтобы окропить храм Изиды[13]. Это подтверждают различные надписи: женщины часто жертвуют на алтари, статуи, сооружения в честь богинь, пришедших с Востока. Они дарят им роскошные украшения, уверенные в том, что эти божества ценят богатства и наряды, а потому будут к ним благосклонны. Одна приказывает позолотить статую Кибелы, другая посвящает Изиде серебряную статую, усыпанную драгоценными камнями: диадему украшает одна большая жемчужина, шесть маленьких, изумруды, рубины... колье – тридцать шесть жемчужин и восемнадцать изумрудов, браслеты на руках и ногах, кольца на каждом пальце... даже сандалии украшены изумрудами[14]. Это идолопоклонство начинает оказывать влияние на официальные культы, и прославление Юпитера на Капитолийском холме уже напоминает церемонию почитания Изиды. Верующие приветствуют бога, когда он просыпается, восславляют его, сообщают ему время, беседуют с ним, натирают благовониями... Понемногу восточные культы меняют сам дух общепринятой религии. Богатства, обычаи и мода Востока мало-помалу проникают в жизнь римлян, а с начала первого века с тем большей легкостью, что император становится абсолютным властителем, который на Востоке обожествляется, что и было присуще эллинистическим монархиям.

Однако предоставим моде то место, которое принадлежит только ей. Если она и служит мощным средством

продвижения в Рим восточных религий и обеспечивает им радушный прием, она тем не менее не в состоянии обосновать это проникновение, объяснение которому лежит в другой сфере. Смутные, напряженные времена вселяют в толпу чувство неуверенности и уже недостаточно официальной религии, отвечающей требованиям ситуации, сложившейся когда-то раньше, до создания огромной империи, каждая часть которой по-своему оказывает влияние на Рим и умонастроения. Она остается холодной, деловой, а главное, «общинной», принадлежащей эпохе, когда гражданин являлся только представителем семьи, племени, города. Во времена основания Рима римлянин чувствовал себя полезным лишь как член этого коллектива, так как выполнял в нем политическую функцию. Начиная со II века до нашей эры начинает возрастать роль личной власти и роль гражданина становится менее важной, а в период Империи у него нет даже подлинного права высказывать свое мнение. Теперь он только подданный. И ощущает полное одиночество, свою бесполезность в политической и социальной жизни. Его религия не в состоянии больше ответить на мучительные вопросы, унять его тревогу по поводу того, что он есть и каково его предназначение. Цицерон и Сенека отразили это несоответствие между религией и человеком их эпохи; а Ювенал подытоживает, говоря о верованиях, касающихся смерти и загробной жизни, Стикса: «Даже дети не верят этому»[15]. Чувствуя себя свободным от обязательств, которые привязывали его к городу, римлянин становится равнодушен к религии, которую ему предлагают как общественный долг. Он чувствует необходимость в помощи более личной, но и более всеобъемлющей, понимает, что его тревога близка и другим обитателям бескрайней Империи. Культ императора — это всего лишь проявление преданности, он не в силах заполнить душевную пустоту.

При Республике первой попыткой поиска собственного пути стал рационализм. Рим завоевал Грецию, его наводнили философы, каждый из которых предлагал лечить душу по-своему, они открыли дорогу к мудрости и знаниям. Стоики, эпикурейцы, академики – все они предлагали свою картину мира, но расхождения между ними лишь посеяли сомнения в умах тех, кто пытался найти истину. К тому же философские течения, прислушиваясь к веяниям времени, вынуждены были подчиняться требованиям моды. Самое большее, что есть у них общего, это некое расплывчатое соображение о том, что мир возродит некая мировая, божественная Душа, и участником этого станет каждый человек. Подобное учение заставляло просвещенных людей покидать своих прежних наставников. Но когда они пытались проникнуть в суть – откуда приходит эта Душа? Какова природа божественного? Что такое душа? – наталкивались на противоречия между философами. Таким образом, разум не в состоянии был предложить им ничего, что могло бы придать жизни истинный смысл. За отсутствием возможности размышлять, человек хочет получить возможность верить. И он просит у божества то, в чем ему отказывает разум.

И вот уже открыта дверь магам и предсказателям, чье влияние тем более велико, что они считаются пришедшими с Востока, где более чистое знание, ведь там восходит Солнце. Посвящение и тайна способны превратить веру в уверенность одним только ощущением избранности, к которому приходят, например, через аскезу. Появляется и новый язык – язык символов. Его в состоянии понять только тот, кто заслуженно получил божественный свет, а это оставляет широкое поле для личного истолкования и становится источником духовного обогащения. Нельзя обойти молчанием и то, что при Республике, когда восточные религии совершают свой прорыв в Рим, возрождается пи-

фагореизм, который чудесно соответствует этой жажде мистического. Речь здесь идет не о философии, не об обращении к рассудку, но об обещании откровения посвященным, которые проникнут в символический смысл священных книг, ставших их моральным и духовным наставником и гарантирующих им после смерти путь на Острова Блаженных — Солнце и Луну. В Риме существовало множество лож пифагорейской школы, но ясно, что входили в них в основном римляне, принадлежавшие к высшим сословиям, от которых требовалось подчинение требованиям доктрины, принятие на себя определенных обязательств, т.е. четкое отделение от остальных граждан в политической и социальной деятельности. К этому следует добавить тайну, окружавшую собрания посвященных, и потому понятно, что пифагореизм был встречен с определенной враждебностью, особенно народом. Можно предположить, что и это течение не осталось в стороне от моды. Чем загадочная, но пользовавшаяся известностью школа привлекала людей, сгоравших от любопытства и желания быть похожими на тех, кто был наделен этим мистическим знанием? Мы знаем о роли Посидония Апамейского: в начале I века он был настолько знаменит, что под его влиянием находились высшие представители Республики, силой его убеждения многие римские общественные институты вдохновлялись учением Пифагора. Помпей, Цицерон и некоторые другие заметные личности, не будучи сами пифагорейцами, пропагандировали учение Посидония, внося тем самым вклад в распространение пифагореизма. Среди верхушки государственных деятелей были и сторонники этой школы, как, например, Нигидий Фигул, годом моложе Цезаря, сенатор, претор в 58 году до н.э. и легат в Азии в 52-м. Этот хранитель пифагорейского знания также увлекался астрономией и астрологией, был великим магистром ордена Пифагора, а также знаменитым магом и прорицателем, к

словам которого прислушивались. Когда отец будущего императора Августа в 63 году до н.э. опоздал однажды на заседание Сената, так как его жена только что родила, Нигидий сказал ему: «Ты породил властителя, который будет нами править». И это не единственное его пророчество, которое сбылось.

Откровение, даруемое священной книгой, по образцу Пифагора, произвело во времена Империи такой фурор, что не будет преувеличением сказать — речь шла и о настоящей литературной моде. Книги пророков, магические и астрологические, прибывали в Рим с Востока и потеснили греческую философию, особенно начиная со II века. Эти восточные учения заявляли о древних своих корнях, понемногу внедряя мысль, что варвары «подарили» грекам философию и стоят выше них, так как напрямую общаются с божеством, пренебрегая разумом и излишними рассуждениями. Диоген Лаэртский, живший в III веке и не разделявший подобного убеждения, между тем пишет во вступлении к своим «Жизнеописаниям философов»: «Некоторым хотелось бы верить, что начало философии положили варвары: у персов были маги, у вавилонян и ассирийцев — халдеи, у индусов — гимнософисты, у кельтов и галатов — друиды». Так оно и есть — Египет, Халдея, Персия и Индия стоят у истоков философии просто потому, что они более древние. И среди них пальма первенства принадлежит Египту как самой древней стране. Считалось, в книгах египетских жрецов сохранились доказательства того, что величайшие философы и поэты Греции, от Гомера до Платона и от Солона до Демокрита, побывали в этой стране. Не говоря уже о Пифагоре, который постигал там геометрию и науку чисел. Вымысел требовал, чтобы он поочередно посетил Финикию, Халдею, Персию, Индию и Египет, где пробыл более двадцати лет, овладевая всеми секретами, прежде чем противопоставить их греческим. Рядом с вос-

точной мудростью греческая не выдерживала сравнения. Превосходство первой обязано больше не умению глубоко мыслить, но внешним, довольно зрелищным проявлениям.

То, что рассказывали очевидцы об аскетической жизни восточных жрецов, впечатляло: удалившись от мира, лишенные какого бы то ни было богатства, они проводили время в созерцании. Жили в самых суровых условиях, в воздержании, почти не ели и посвящали себя очищению, наблюдению за светилами и развитию науки о мироздании. Их одиночество привлекало людей, уставших от волнений жизни, ищущих покоя. Эта простая, естественная и сосредоточенная жизнь показалась римлянам II века и решением проблемы поиска счастья, и средством прикоснуться к божественному знанию, ведь только оно позволяет жрецам и магам предсказывать будущее. Этим можно объяснить успех, которым пользовались оракулы, – каждому хотелось услышать слово из уст самого бога. Но власть тех, кто обладал этим двойным знанием – о божестве и мироздании, – выходит за рамки только общения с божеством, они могут воздействовать на стихии и разные природные элементы, а это уже магия. Таким было вошедшее в моду духовное течение, которое буквально затопило Запад во времена Антониев и унесло греческий рационализм. Это время оракулов, апокалипсисов, пророческих откровений, которые ценятся лишь в том случае, если пришли с Востока. Впрочем, уже при правлении Августа правительство вынуждено принимать меры, ограничивающие это влияние, так как было обеспокоено в том числе предсказаниями заката Империи и конца света.

Итак, все вошедшие в обиход мистерии были восточного происхождения: культ Кибелы пришел из Фригии, Изиды – из Египта, Адониса – из Финикии, Митры – из Ирана. Все они обещали продолжение жизни за предела-

ми отмеренного срока, претендовали на универсальность и предлагали в будущем вечное счастье. Господства добра на Земле, как проповедует греческая философия, добиться нельзя, только после смерти, и жизнь лишь подготовка к нему. Спасение души становится величайшей заботой человечества. Только четкое соблюдение обрядов очищения и искупления способно помочь в достижении блаженства. Символическая смерть при посвящении дает надежду на возрождение и бессмертие, которые приравняют неофита к богам. Но такой добровольный акт подчинения свободно выбранному богу требует от посвящаемого и физического страдания, иногда даже получения «вечной отметины», знака принадлежности к божеству — это могло быть увечье, татуировка или след от ожога... Отсюда понятно, что жрец играет совершенно особую роль. Он — проводник и хранитель знания, советчик. Ему доверяют верующие, в их глазах он воплощает бога. И в этом громадная разница между восточными культами и традиционной, холодной и суровой религией, где жрец выполняет исключительно административные функции. С приходом Изиды, Кибелы, Митры западная религия впервые перестает быть гражданским долгом и становится выражением личной веры; тело и душа каждого верующего, его разум и чувства теперь в руках духовенства, которое от имени бога способно ввести его в экстатическое состояние очищения, держит в полной духовной зависимости, что не может не угрожать поддержанию общественного порядка.

Мы видели, какую роль сыграла мода в распространении восточных культов. Главное — медленное изменение менталитета — все-таки не в ее власти, но внешние проявления этих культов, шумные, производящие впечатление — да. В остальном кажется ясным, что мода не имеет ничего общего с верой, если вера есть. Но это справедливо, только если бы вера посвященных всегда была чистой и искрен-

ней, а жрецов – лишенной какой-либо личной заинтересованности. Иначе говоря, если бы и те и другие были святыми. Легко утверждать, что так было не всегда, сложнее привести доказательства. И все же существует область, в которой обман и мошенничество раскрываются просто, а политические и экономические интересы, в которых феномен моды играет большую роль, стремятся забыть о существовании религии – это астрология.

Начиная со времен Республики почитание халдейских божеств, (*mathematici*), выросло в ущерб всем остальным формам обожествления. Причина этого успеха кроется в астрологии, которую тогда еще плохо отделяли от астрономии. Она считалась точной наукой, давая, таким образом, в руки козыри для обольщения толпы. Искусство предсказания основывалось на представлении о том, что души населяют небесные выси и спускаются, чтобы на время земного существования оживить тела. По дороге к нашей планете они проходят мимо множества других небесных тел, которые в зависимости от своего расположения наделяют их определенными чертами характера (достоинствами и недостатками), утрачиваемыми на обратном пути, по возвращении после смерти в обитель богов. Такая предначертанность, предопределяющая веру в связь между положением небесных светил и человеческой жизнью, позволяла астрологу делать предсказания, устанавливая зависимость между звездами и людскими судьбами. Надо было всего лишь уметь рассчитать положение светил в требуемый момент и таким образом прочитать предсказание. Чтобы сделать это, требовалось составить гороскоп, т.е. определить взаимное расположение планет по отношению к знакам Зодиака. И если теория кажется непростой, то на практике все еще сложнее. Необходимо было прибегать к действительно научным методикам, математике, геометрии, арифметике, которые и придавали этому волшеб-

ному деянию научную видимость. Кроме того, наблюдать за звездами днем невозможно. Астрологи пользовались специальными приборами, например армиллярной сферой или астролябией, которые позволяли с большей точностью следить за движением планет и звезд. Казалось, этот союз между греческой логикой и халдейскими верованиями неизбежно должен дать ответ на тревожные вопросы, которые задавал себе человек о взаимоотношениях небесного и земного, божественном и своем собственном существовании. Именно в этом причина исключительной популярности астрологии. Тем не менее наукой она не является, ибо не в состоянии отказаться от своих религиозных истоков и практикуют ее исключительно жрецы. Некоторые скептически настроенные умы быстро заметили, что теории эти ненадежны, что, например, люди, погибшие во время кораблекрушения, родились в разное время, а участь их постигла одна и та же. Астрологи отвечали на это, что отрицать влияние звезд — безумие, так же как безумием было бы отрицать возрождение природы весной, влияние Луны на моря и роль неба в изменении погоды. Постепенно все возражения отпали. Что до ошибок, которые непросто было спрятать, их приписывали шарлатанам или трудностям в определении положения звезд во время рождения человека и сложностью истолкования языка звезд.

Между тем астрология не наука, но вера. Она связана с планетами, носящими имена богов, черты характера которых хорошо известны каждому римлянину. Марс не мог не дать воинственный нрав, Венера благоприятствовала влюбленным, Меркурий — жуликам и коммерсантам. Узнавая о движении мира, можно было приблизиться к богам. Псевдонаучный характер этой религиозной дисциплины вызывал глубокое доверие народа и мешал разглядеть ее несостоятельность. Пришедшая с Востока астрология при-

влекла к себе многих, и астрологи в большинстве своем не упустили возможности обогатиться за счет этих простодушных людей. Они использовали свою «науку», чтобы пускать пыль в глаза и породить новую моду, которая понемногу должна была вытеснить все остальные способы обожествления. И быстро они стали незаменимы. Это сразу понял, например, Катон, который запрещал рабам общаться с халдеями. В дело вмешался даже Сенат и в 139 году до н.э. потребовал изгнать восточных прорицателей. Сципион вынужден был поступить также в Нуманции, когда обнаружил, что его войско наводнили проститутки и прорицатели. Отсутствие их было недолгим, а притеснения, которым они подверглись, принесли им лишь дополнительную славу. Государство могло винить халдеев, но отменить астрологию было не в его власти. В последний век существования Республики самые известные люди пользовались услугами астрологов и составляли свой гороскоп. Некоторые даже становились посвященными в это «звездное» знание, как тот же Нигидий Фигул, а поэты донесли до нас имена самых популярных астрологов — Горопса, Конона и Архитаса[16]. Гражданские войны позволили этим пророкам сколотить состояния, эксплуатируя царившую неуверенность и баюкая колебания честолюбцев. Накануне Империи Агриппа, правая рука Октавиана, восстановил порядок, вновь прогнав из Рима астрологов и магов. Тем не менее сам Октавиан оказывал доверие «математику» Феагену[17]. Став императором, он поспешил навести порядок в груде книг пророков, опасаясь, что они станут источником заговоров против него. Он собрал их и сжег. Книг было больше двух тысяч! Но он ничего не мог поделать с устными предсказаниями, которым предавались всевозможные прорицатели. Тогда он решил легализовать их деятельность, так легче было ее контролировать. Тиберий тоже был не в ладах с астрологией, как и его предшественник.

Его собственный гороскоп составлен был Скрибонием. Тацит рассказывает, что задолго до того, как стать императором, Тиберий имел привычку приглашать в дом астрологов и слушать их советы. В сопровождении мускулистого слуги он выходил с ними сначала на террасу, а потом прогуливался по крутой тропинке, которая шла по берегу моря над острыми скалами. Если прорицатель казался ему не слишком сведущим и не заслуживающим доверия, он делал знак слуге, который сталкивал того на камни. Так происходило, пока не появился Фрасилл, доставивший ему радость предсказанием восшествия на престол. Будущий император потребовал, чтобы тот, изучив собственный гороскоп, рассказал о своей судьбе. Фрасилл подчинился и заволновался, утверждая, что видит непонятную угрозу. Тиберий сжал его в объятиях, обещая безопасность, и сделал его другом, которого всегда держал при себе[18]. Был ли астролог искренен или ломал комедию? Но даже сын Фрасилла вкусил плоды того расположения, которым пользовался его отец, и тоже реализовал свои таланты при дворе императора, обещав власть Нерону. Эта известность отдельных великих астрологов, чьи имена история сохранила, которые пользовались доверием императоров, не помешала Тиберию, вслед за Августом, усомниться в их могуществе. Он понимал масштабы политического риска вследствие их влияния на значительную часть населения, и риск этот был тем больше, что мода на подобную практику получила широкое распространение.

После заговора, инициаторами которого стали халдеи, Сенат вновь принял решение изгнать их. Напрасный труд! По словам Тацита[19], речь шла «о племени людей, которые предают могущественных, обманывают тщеславных и которые, постоянно гонимые, навсегда останутся в нашем обществе». Действительно, через четыре года разразился новый скандал: представительница одной из самых

именитых римских семей была изобличена в том, что среди прочих преступлений задавала «астрологам преступные вопросы о доме Цезаря»[20]. Но еще со времен Августа к смерти приговаривался каждый, кто смел составить гороскоп императора. Гороскопическая астрология в политических целях была прерогативой лишь самых могущественных, т.е. властителя, даже если шарлатаны пытались распространять ее среди простонародья. Но необходимость соблюдать осторожность наоборот подталкивала народ к тому, чтобы подражать императору и не дать уйти этой моде.

Так утвердилась череда счастливых судеб астрологов при Империи. Нерон назначил мага Балбилла префектом в Египет[21]. Клавдий и Веспасиан также прибегали к его услугам, Домициан прислушивался к Асплетарию. Не отстали в этом и Антонии, а один из них, Адриан, сам стал замечательным астрологом, составлявшим гороскопы и толковавшим знамения. Говорят даже, что он узнал у светил час собственной смерти. К тому же на вилле, которую он велел возвести по собственному плану около Тибура, разные строения стали своеобразными символами астрологического знания, начиная с того, которое, безусловно, ошибочно называют «маленьким круглым театром».

Тем не менее все эти императоры строго наказывали шарлатанов, которые создавали вокруг правителя атмосферу заговоров, раздувая ненависть и жажду власти своими предсказаниями. Изгнанники всегда возвращались с ореолом мучеников, что лишь укрепляло их авторитет и делало еще более модными. Можно представить себе всех этих астрологов, вращающихся вокруг представителей высшего сословия, особенно вокруг женщин, становящихся незаменимыми благодаря своему псевдоталанту. Ювенал сетует, рисуя не без сатирического преувеличения, но сочно и живо портрет таких суеверных женщин.

Вот эта женщина, которая не довольствуется только поклонением Изиде, со всеми своими умерщвлениями плоти и покаяниями, которые культ предполагает. Как и все люди ее эпохи, она хотела бы знать будущее: скоро ли она получит наследство? Станет ли любовником прекрасный юноша из ее снов? Она без колебаний ищет совета у «трепещущей еврейки, которая украдкой, на ухо, просит подаяние» и за несколько монет становится толковательницей воли небес. Она с мучительным беспокойством задает вопросы гаруспику, который готов для нее всматриваться в легкое теплой еще голубки, ощупывать куриное сердце или внутренности щенка. Но еще «большее доверие внушают халдеи. Все, что говорит астролог, ей кажется, исходит от самого Амона, потому что тьма, окутывающая будущее, наказание роду человеческому». Выше всего котируются те из астрологов, кто «неоднократно побывал в ссылке» и «благодаря продажной дружбе и расчетам которого» пострадали несколько важных граждан. «Астролог не гений, если его ни разу не приговаривали к смерти». «Итак, твоя Танаквил консультируется с ним по поводу слишком медленной смерти своей матери от желтухи, но начинает она с тебя, она хочет знать также о времени погребения своей сестры и дядей, переживет ли ее любовник: какие большие милости могли бы послать ей боги?»

Та не может не обращать внимания на угрозы, исходящие от «темного светила Сатурна», и не знать, «в каком соединении Венера благоприятна». «Старайся избегать встреч с той, у которой ты заметишь в руках календарь... Та, что не дает никому советов, но которая к ним прислушивается сама, никогда не последует за мужем, выступающим в поход или едущим в родные места, если ей того не велят расчеты Фрасилла». Если ей надо совершить поездку, она «сверяется со своим руководством, чтобы узнать, в какое время лучше это сделать. Если уголок ее глаза чешет-

ся из-за того, что она его растерла, она не просит лекарства, не сверившись с гороскопом. Больная, слегшая в постель, она принимает пищу лишь в часы, назначенные ее «математиком».

Подобные консультации стоят дорого, и у каждой есть свои средства заставить прийти за плату фригийского священника, «знатока светил и неба, который на все даст ответ». Та, что не богата, всегда может пойти к большому цирку, где среди сборища шарлатанов всегда найдет кого-то, кто скажет «должна ли она покинуть кабатчика и выйти замуж за тряпичника»[22].

Но это желание знать ничто в сравнении с желанием воздействовать на силы природы и ее элементы. Астролог только расшифровывает божественную волю, маг владеет секретами, которые заставляют богов и природу ему подчиняться. Он может даже задавать вопросы мертвым, а это вполне отвечает запросам людей в моменты потрясений. Не случайно герой романа Апулея слушает рассказ мага, который превратил владельца кабака в лягушку, а адвоката — в барана. Подобные истории встречали самый живой отклик и в высшем обществе. Более серьезные авторы, например историки, никогда не забывали перечислить все предзнаменования и знаки, которые предшествовали великим событиям, в том числе касающимся императора и его двора. Уезжавшему Тиберию, отмечает Тацит, астрологи предрекали, что он не вернется, это породило слухи о его близкой кончине. Но они не могли предвидеть, что он будет править еще долгие годы, только с Капри или из других отдаленных провинций. В этом видны, согласно историку, «тонкая грань между наукой и ошибкой, а также какой тьмой окружена истина»[23].

Подобная трезвость взгляда свойственна не всем его современникам. Эпоха окутана атмосферой веры в предсказания, в оракулов, в знамения, посылаемые оккультными,

сверхъестественными силами. Государи в первую очередь растут среди самых невероятных суеверий, они буквально перенасыщены ими. Суеверия оказывали огромное влияние на суждения правителей, когда те решали вопрос о судьбе Империи, или мнение более скромных особ, когда дело касалось женитьбы, путешествия или попросту обеда либо визита к парикмахеру. Суеверия разрослись до такой степени, что превзошли уровень, который отвечал бы тревогам людей по поводу, например, конца света, и обнаружили наивные пристрастия, в которых, как мы убедились, видны веяния моды, тем более распространенные, что сами предсказатели на этом наживались. Астрология оказалась самой влиятельной среди способов прорицания и стала символом моды вследствие видимости научных гарантий, даруемых верящим в нее. Если же посмотреть в общем и на астрологию, и на другие восточные культы, даже если речь и не идет о новой вере, ясно, что увлечение, вызванное ими, не является только лишь ответом на духовный голод. Внешние, зрелищные проявления этих религий должны были быть поддержаны модой, чтобы обзавестись столь значительным числом сторонников. Что вполне естественно, так как это «религиозное нашествие» сопровождало экономическое и социальное проникновение Востока в Италию, а в этих областях мода играла решающую роль.

Глава VII

МОДА, ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ

Веяния моды, особенно греческой и восточной, которые лежали в основе глубоких изменений обыденной жизни римлян, были прямым следствием военных завоеваний и создания Империи. Неизбежно они нашли отражение в экономической жизни Рима, наиболее сильное – в торговых связях между столицей и покоренными провинциями. Появлялась мода не только на продукты широкого потребления, например некоторые зерновые культуры, но и на предметы роскоши, и это потребовало развития морского сообщения. Редкие и дорогие вещи подчеркивали превосходство тех, кто мог их купить, а их демонстрация обострила царившее в обществе соперничество. Весьма завышенная цена на товары, которые прибывали с другого конца света, объясняет тот факт, что во времена античности мода была исключительно прерогативой привилегированного класса. Пусть с риском для жизни, но зато с какой выгодой отправлялись торговые экспедиции на Восток, вплоть до Дальнего Востока, чтобы доставить в Рим то, что могло оказать влияние на моду завтрашнего дня – драгоценные камни и металлы, ткани, продовольствие, специи и даже материалы, необходимые для новых строений, возводимых в стиле восточных дворцов.

Едва закончилась Вторая Пуническая война, триумфальные успехи заставили людей пуститься в бешеную погоню за богатствами, а стремление выгодно торговать

вывело на морские просторы, в полную приключений жизнь. Теперь римскую моду питает вовсе не Запад, но Африка. Оттуда доставляют диких животных для разнообразных зрелищ, пурпурную краску для тканей, знаменитое дерево тую, которое особенно ценится за то, что позволяет выпилить из него, например, монолитный стол, из Африки везут прекрасный мрамор и разноцветные камни для колонн или мозаик, как, например, те, что украшают виллу на площади Армерина на Сицилии. Не потому, что Запад беден, но там можно найти только продукты земледелия и животноводства. Африка богата злаками, фруктовыми деревьями, овощами, ослами, лошадьми. Испания экспортирует зерно, вино, растительное масло, в Галлии, где выращивают множество овец, производят шерсть. Известно, что жители итальянского полуострова использовали и высоко ценили теплую одежду из Галлии, особенно ту, что носили путешественники и деревенские жители. К этому следует добавить развитое производство железа — славились доспехи и оружие эдуев, гончарное дело — изделия гончаров-галлов распространились вплоть до Африки, и, безусловно, великолепные колбасные изделия и сыры. Варрон говорит о превосходстве галльских ветчин и сыров[1], Плиний нахваливает сыры из Нима[2], а Марциал свидетельствует, что каждый мог купить на рынке сыр из Тулузы[3]. Но все эти продукты не модные, равно как богатства испанских гор. К концу эпохи Республики, когда сырьевые ресурсы Востока начинают истощаться, добыча их на Западе находится на подъеме. Испания занимает здесь особое положение: золото из Кордовы и северных областей, серебро рудников Нового Кардикия, которым уже попользовались карфагеняне, медь из Кордовы, олово из Галисии, слюда для окон, свинец из Бетики, с севера и из долины Ибера представляют собой неисчерпаемые богатства, следуют любым капризам моды, но имеют лишь косвенный

эффект. Мода нуждается в промышленных товарах. И если средиземноморский Запад теснил Восток в том, что касается добычи полезных ископаемых, то в области производства равных Востоку не было. Тонкие ткани, ковры, духи, драгоценности, помады, специи, украшения прибывали исключительно из Малой Азии, Сирии и Египта, не говоря уже о произведениях искусства, которые могли приобрести «новые римляне» — богатые западные собственники, приобщавшиеся к культуре и утонченной жизни.

Начиная со второго века до нашей эры итальянские коммерсанты ринулись на завоевание восточных рынков. Конечно, некоторым из них дорога в Азию была известна давно, но оборот их торговли был гораздо меньше того, что требовала наступившая историческая ситуация: меньше чем за полвека, прошедшие после победы при Пидне (168 год до н.э.), предпосылки к экономическим связям в районе Средиземноморья полностью изменились. С одной стороны, Греция перешла под власть Рима и знаменитый центр торговли Коринф был разрушен, с другой — Азия стала римской провинцией, и, наконец, с карты исчез Карфаген. В одночасье оказались разорванными плодотворные связи между пунической столицей и большими сирийскими портами — Тиром, Сидоном, Беритом (современным Бейрутом). Восточные товары сменили курс и направились в Рим, в то время как произведенные в Италии в изобилии можно было найти на прилавках богатых городов Малой Азии. Кроме того, в 166 году до н.э. появился новый перекресток торговых путей — остров Делос, объявленный римлянами свободным портом, который должен был занять место Коринфа. Удачное расположение позволяло ему стать посредником в торговле между Западом и Востоком, но все же выбор этот удивляет. Остров был очень беден и не знал никакого производства — ни сельскохозяйственного, ни промышленного. К тому же порт его был плохо за-

щищен от ветров и течений в отличие от глубоких рейдов на соседних маленьких островах. Но Делос имел свои преимущества: прежде всего там находился знаменитый действующий храм, и это религиозное предназначение защитило остров от всевозможных вторжений, гарантировав ему до некоторой степени статус интернационального. За много лет он повидал представителей разных государств и стал местом торговых связей между ними, чем римляне и захотели воспользоваться, взяв остров под свой контроль. Нейтралитетом Делоса можно объяснить тот факт, что еще до 165 года до н.э. сирийские торговцы встречались там с итальянскими, а потому Риму оставалось лишь развить коммерческие возможности этого острова, где, как знали купцы с Востока, они найдут верный рынок сбыта своих товаров западным покупателям.

В Малую Азию и Сирию в это время хлынули жители Италии, основавшие там многочисленные общины, о которых сохранились исторические свидетельства. В начале первого века до н.э. «переселенцев» насчитывалось более ста тысяч только в азиатской провинции, и, хотя в результате массовых убийств по приказу царя Митридата в 88 году до н.э. истребили практически всех, тем не менее западную экспансию замедлить не удалось — слишком высока была ставка в этот период заката Республики, когда Рим предавался восточным наслаждениям. Большие города Греции и Малой Азии обрушили на него поток золота и других богатств. Нельзя не вспомнить о сокровищах, завещанных Риму Пергамским царем Атталом в 133 году до н.э. Многие из «новых римлян» будут сопровождать торговцев, обосновавшихся в Азии, и сами останутся там, чтобы заставить свое золото приносить доход. Они предложат завоеванным городам и свергнутым правителям суммы, которые обеспечат им скорую наживу, а война против Митридата лишь увеличит поступления в их казну.

Так от Понта Эвксинского до Александрии начинают развиваться центры торговли, через которые в Рим стекаются предметы роскоши, что войдут в моду, и товары первой необходимости.

Это не касается Греции — слишком мало у нее богатств по сравнению с Азией. Помимо некоторых вин, оливок и скота, она интересует Рим исключительно своими произведениями искусства и мрамором. Первые особенно ценятся коллекционерами, которые хотели бы украсить свои новые виллы подлинными творениями. Мрамор используется и при сооружении общественных зданий — белый мрамор с Эвбеи и Пароса, зеленый — из каменоломен Гимета и Пентеликии. Мрамор из Малой Азии тоже знаменит, особенно из Синнады во Фригии, с красными прожилками, который, нарезав большими блоками, отправляли сначала в Эфес, а оттуда в Рим. Во времена правления Нерона в Каппадокии обнаружили великолепный сверкающий камень — фенгит, в котором все отражалось, как в зеркале. Император Домициан, мучившийся от страха быть убитым, потребовал облицевать им стены портиков, среди которых имел обыкновение прогуливаться, чтобы видеть того, кто за ним идет. Он и был убит, но в собственной постели, во сне[5]. Малая Азия предлагала, не меньше чем Греция, и произведения искусства, и сокровища. Из-за моды на коллекционирование цена на них немедленно подскочила настолько, что и в Азии, и особенно в Греции, появилась на свет новая индустрия — изготовление копий. Забавно наблюдать, до какой степени мода стала коммерческим предприятием: помимо греческих скульпторов, которые зарабатывали себе на жизнь таким воспроизведением подлинников, итальянские торговцы сами стали обживать Грецию, покупая и возглавляя мастерские, откуда выходили средненькие копии, которые между тем ценились на вес золота. Легко себе представить, сколько же

появилось подделок, которые выдавали за оригинал! Римляне, не сведущие в искусстве, но стремившиеся украсить свое жилище «по моде», полагали, что совершают выгодную сделку, покупая эти «произведения искусства» по цене, сопоставимой со стоимостью подлинника. Так, Цицерон уплатил за подобные статуи почти два с половиной миллиона сестерциев[6]. Известен и некий Эмилий Авиан, у которого была мастерская в Афинах и на Сицилии, славившаяся изделиями из бронзы и железа. Цицерон сделал ему несколько заказов. Плиний рассказывает, что Антоний увез Авиана с собой в Александрию, а Октавиан вернул обратно в Рим. Вернувшись на родину, тот больше никогда ее не покидал[7]. То, что было найдено на борту затонувших кораблей, свидетельствует о плохом качестве этого «коллекционного» товара: с несколькими действительно ценными произведениями в основном соседствуют статуи, которые в целях экономии и для удобства транспортировки были выполнены из отдельных кусков и весьма грубо.

Мрамор и статуи не единственное богатство, предложенное Риму Малой Азией. Хотя к закату Республики залежи ценных минералов были почти полностью исчерпаны и стало ясно, что воды Пактола вовсе не золотые, но в эллинистических царствах скрывались и другие сокровища. Гастрономическая мода расширила «географию чревоугодия» понтийскими областями. В Византии и на рыбных промыслах порта Синопы начали мариновать, используя соль, тунца и его внутренности, и приготавливать гарум[8], чтобы доставить удовольствие самым большим гурманам. Добавим к этому виноградные вина Памфилии, эфесских устриц, шафран и салат-латук из Киликии, трюфеля из Митилены... всё — изысканные блюда гастроманов. Генералы, сражавшиеся на азиатской земле, оставили рассказы о растущих там плодовых деревьях, также известно, что Лукулл привез оттуда вишню, которую акклиматизировал в

Италии[9]. Глиняные кувшины с сухофруктами и фигами отправляются в путь, чтобы доставить радость римским гурманам[10]. Животноводство и птицеводство в этих краях тоже переживает подъем: знамениты местные утки и гуси, экспортируется пчелиный воск[11]. Шерсть милетских овец считается лучшей в Средиземноморье. Не пренебрегают и духами, особенно из роз, выросших в Фазелисе, ценными породами деревьев, из которых производят дорогую мебель[12]. Торговцы из самых известных городов — Пергама, Смирны, Эфеса, Милета — способствуют проникновению восточной продукции в Италию, они без колебаний отправляются в дорогу и преуспевают благодаря умению адаптироваться к ситуации, живому уму и красноречию.

Это присуще и сирийским коммерсантам, о нашествии которых говорил Ювенал; остались свидетельства их пребывания не только в Риме, но и множестве других итальянских городов. Разговаривать с образованным римлянином о Сирии означало вызвать перед его глазами картины городов, одни названия которых заставляли мечтать: Антиохия, Дамаск, Тир, Сидон, Пальмира... Антиохия по своей значимости не уступала Александрии. Богатая торговля и судовладельцы, осуществлявшие связь с Западом, сделали город процветающим, утопающим в роскоши. Оживленные и днем, и ночью (благодаря искусственному освещению) широкие мощеные улицы вели к мраморным храмам и роскошным портикам. Знаменитые сады Дафны одаривали изысканными ощущениями жадных до богатства и удовольствий жителей. Собственного производства здесь практически не имелось, Антиохия была прежде всего торговым городом, выбравшим своим предназначением, как и другие порты, транзит товаров, приходивших из глубины страны. Религиозным центром считался Дамаск, при строительстве великолепных сооружений которого широко использовали местный известняк, мрамор, базальт и

алебастр. Из-за отсутствия лесов в сирийском градостроительстве редко применялось дерево, а новый архитектурный стиль скоро проявил себя и в Риме, когда Траян пригласил Аполлодора из Дамаска руководить строительством своего форума и возведением знаменитой троянской колонны, первым сооружением подобного рода в Италии, которое тем не менее было вполне в духе пергамской моды. Дамаск славился своими свежими и сушеными фруктами, особенно сливой, одна из разновидностей которой была привезена и прижилась в Италии и Испании и во времена Ювенала и Марциала считалась очень модным подарком[13]. Производства сухофруктов были многочисленны, но Марциал, прекрасно владевший искусством литоты (намеренного преуменьшения), показал, что сирийские фиги ничем не отличались от других: «Эти сирийские фиги, которые приходят к тебе, запечатанные в круглом или коническом сосуде, были ли маленькими, если бы были чуть побольше»[14]. Так что все дело исключительно в моде! Истинный снобизм заключался в том, чтобы уметь отличить чернослив из Сирии от выращенного в Италии: солнце Запада не такое яркое и итальянские дамасские сливы были не такими сморщенными, как настоящие сирийские![15]

Но как бы ни были известны сирийские сливы, другого товара из Сирии римляне ждали с особым нетерпением. Из больших портов – Берита, Тира и Сидона – прибывали тонкие ткани, лен, основными центрами производства которого были Лаодикея, Библос и Скитополис на берегу Иордана. Наибольшую же прибыль приносила торговля шелком. Его привозили из Китая тремя основными путями, которые мы рассмотрим. Один из них пролегал через Пальмиру, по дороге, ведущей из Дамаска к Евфрату. Этот перекресток торговых путей Востока и Дальнего Востока сумел воспользоваться особенным своим положением, так как служил Римской империи щитом против Парфянского

царства с тех пор, как Помпей завоевал Сирию в 64 году до н.э. Плиний отмечает, что Пальмира была независима от обеих империй, которые начинали посягать на нее в случае разногласий. Район Пальмиры перешел в подчинение Риму только при Тиберии, не утратив своего статуса буферной зоны. И если север этой области был зелен и вода там была в изобилии, то сам город казался путешественнику сияющим в пустыне оазисом со своими мраморными дворцами и белоснежными лестницами, роскошными садами с запыленными пальмами, двумя пересекающимися гигантскими проспектами (один шириной 22 м, другой – 11 м), вдоль которых стояли колоннады и крытые галереи. Здесь оказывались караваны, пересекшие пустыню, с которых в качестве таможенной пошлины требовали шелк, духи, специи, золотые и серебряные изделия, так ценившиеся римскими матронами. Именно благодаря этому Пальмира стала богатым, процветающим городом.

Столь желанный шелк привозили в Сирию в виде сырья, которое подлежало переработке. Одно время конкуренцию «сирийскому» шелку составлял произведенный на острове Кос и в Ассирии, бывший в моде во времена Августа, но слава его быстро померкла перед достоинствами китайского, основным из которых было его качество. Возможно, что шелк с острова Кос был некоей разновидностью «дикого шелка», который «вычесывали» из кокона, в то время как китайский пряли из кокона, куколку которого умерщвляли. Кроме того, кажется сомнительным, чтобы шелковичного червя на Косе выкармливали на тутовом дереве. Между двумя этими шелками была и значительная разница в цвете: китайский лучше переносил окрашивание, цвета его были более разнообразными. На этом сколотили состояние и Тир, и Сидон, специализировавшиеся на обработке и крашении дальневосточного шелка. Если верить Страбону, мастерских по переработке шелка в Си-

доне появилось так много, что было трудно передвигаться по городу. Среди множества цветов, в которые красили ткани, был один, особенно ценившийся у знати, – пурпурный. На самом деле следовало бы говорить о бесконечных его оттенках – от сине-фиолетового до темно-красного, самого востребованного. Его получали, выдержав на солнце экстракт из железы, расположенной на перегородке дыхательного тракта мурекса, игольчатого моллюска. Эта желтая жидкость становилась сначала сине-фиолетовой, затем фиолетовой, потом красно-фиолетовой и, наконец, черно-фиолетовой под воздействием солнечных лучей, поэтому при достаточном опыте можно было получить нужный оттенок. Единственная сложность состояла в том, чтобы собрать драгоценную жидкость сразу после гибели моллюска, и это объясняет, почему красильные мастерские располагались на морском побережье. Слишком мелких представителей этих существ для получения экстракта приходилось толочь. Затем жидкость мариновали с солью в течение трех дней, после чего десять суток беспрерывно медленно кипятили, и краска готова. Так как на выходе ее было совсем немного, а работу могли выполнять только квалифицированные ремесленники, цена крашеной ткани возрастала, особенно если она подвергалась дальнейшей обработке в емкости с субстанцией, взятой у другого моллюска, букцинума, которая способствовала закреплению цвета и приданию более яркого оттенка красному. Во времена правления Августа пурпурная шерсть стоила 4000 сестерциев за ливр (примерно 327 граммов), тогда как неокрашенная – всего 100. Нетрудно представить, что пурпурный шелк и вовсе был на вес золота! Двойная, «императорская» мода – одновременно на шелк и пурпур – обеспечила процветание Тиру и Сидону.

Тем не менее ни Тир, ни Сидон, ни Антиохия не могли считаться главным портом восточного Средиземномо-

рья. Звание это принадлежало городу, красоту которого мы уже описали. Основан он был Александром Великим, имя которого увековечено в его названии – Александрия. Этот огромный город стал главным портом, где пересекались Восток и Запад, благодаря богатствам внутренних территорий и доступу через Красное море на Аравийский полуостров. Перед городом был небольшой остров Фарос, который с материком соединяла насыпь, что позволило построить два порта, не считая внутреннего третьего, предназначенного для приема груза, прибывавшего из глубины страны по Нилу или вырытому при фараонах каналу, соединявшему Нил с Красным морем. Единственным неудобством внешних портов было то, что суда с трудом могли выйти оттуда при северо-западном ветре, который преимущественно и дул в период навигации. Поэтому корабли буксировали к выходу из порта небольшие гребные лодки[16]. Но это неудобство было ничтожно в сравнении с экономической выгодой, которую приносило городу его исключительное положение. На дальней оконечности Фароса была построена огромная башня, чтобы издалека обозначать вход в порт, расположенный на абсолютно плоском берегу. Днем это квадратное сооружение из белого камня сверкало на солнце, вечером в верхней его части поддерживали огонь. Это было одним из семи чудес света, но не хуже были и другие городские здания.

На улицах этого города-космополита можно было встретить греков, сирийцев, арабов, итальянцев и даже индусов. Значительная доля коммерции сосредоточивалась в руках евреев, составлявших 40% населения. Повсюду были склады и мануфактуры, превращавшие в предметы роскоши ценные минералы, которые привозили из Индии, Аравии и Эфиопии. Ежедневно Александрия получала золото, бронзу, железо, слоновую кость, черное дерево и драгоценные камни из Эфиопии, синайскую медь, золото и

серебро из государства набатеев, бериллы, аметисты и изумруды из Верхнего Египта, не говоря уже о сельскохозяйственной продукции и коже, обработкой которой занимались в специальных мастерских. Фабрики по производству духов и пурпура соседствовали с производившими ткани, папирус и изделия из стекла, известного уже две тысячи лет, монополия на которое при Августе стала принадлежать Римской империи. Прибыли всех этих предприятий обогащали императорскую казну, так как Египет находился в его подчинении.

Александрийский порт был и единственным в своем роде поставщиком в Рим модных строительных материалов, за которые богатые люди готовы были отдать состояние, лишь бы насладиться удивлением своих сограждан и гостей. Такие материалы находили даже на территории современной Бельгии. Это красный и зеленый порфир, красный гранит, черный базальт, диковинные, редкие сорта мрамора.

И наконец, отвечая модным в ту эпоху требованиям роскоши, здесь сходились три шелковых пути, сюда же прибывали индийские товары, о которых многие мечтали, – хлопок, слоновая кость, специи, перец, имбирь, фимиам, мирра, корица, драгоценные камни и... превосходная сталь. Все эти богатства шли через Александрию, прежде чем отправиться по морю к берегам Лация и Кампании.

Итак, корабли отплывали из Эфеса, Антиохии и Александрии, решаясь противостоять всем тяготам путешествия, так как судоходство в то время было далеко не самым надежным средством сообщения. Моряки прежде всего должны были принимать в расчет погодные условия, так как не каждое время года располагало к тому, чтобы пуститься в путь. Наиболее подходящим считался период с

мая по октябрь, вне его рамок не действовали гарантийные контракты, по которым судовладельцы получали компенсацию, если их корабль терпел крушение. Это вовсе не говорит о том, что лето идеально подходило для путешествий, так как с середины июля по конец августа в восточном Средиземноморье дул северо-западный ветер этезий, затруднявший дорогу с Востока в Италию. Самым лучшим в этот момент было предпринять обратное путешествие — из Италии на Восток. К тому же приходилось принимать в расчет местные ветры, которые дули вдоль побережья, — значительную часть навигации составлял каботаж. Здесь не в меньшей степени требовались знание моря и опыт, так как скалистые берега представляли явную опасность, особенно когда дул ветер, но и равнинные были столь же негостеприимны, поскольку море вблизи них было, как правило, неглубоким, с водоворотами. Существовала даже морская литература, что-то вроде руководства для отправляющихся в путь, с подробностями, которые необходимо знать, обозначением рифов и подводных камней, которых следует избегать, портов, где можно сделать остановку... Но практика плохо согласовывалась с теорией. Наступал момент, когда надо было покинуть берег и отправиться в море. Маршрут весьма приблизительно рассчитывали по положению звезд, моля богов, чтобы не вмешалась буря и не сбила корабль с курса. Моряки шли вперед, пока не показывался новый берег, по которому они могли сориентироваться, чтобы продолжить плавание. Но следовало ожидать и другой напасти — пиратов. При этом надо различать береговых грабителей, которые ложными сигналами вызывали крушение корабля, чтобы завладеть его обломками, и настоящих морских пиратов, хотя самому судну, на которое напали, было все равно. Пиратство расцвело во второй век Республики и, не желая довольствоваться мелкой добычей,

царило на море, впрочем, не забывая грабить и порты. Причины его распространения были политические: Рим позволил ему развиться, когда необходимо было пополнить рынок рабов на Делосе, – столице мира они были необходимы; но пираты не остались безучастны и к балансу сил на Востоке, присоединившись к Митридату во время войны против Рима, совершая вылазки даже на итальянские берега. Пиратский флот был настоящим военным флотом, и когда Рим осознал опасность, исходившую от этих морских властителей, то доверил Помпею полномочия и средства разобраться с ними. Соперник Цезаря сумел оздоровить ситуацию, хотя и не смог окончательно справиться с мелким пиратством, которое просуществовало в Средиземноморье до новейших времен, угрожая морякам, осуществлявшим каботаж. Образ действий этих грабителей мало изменился со времен античности до великих приключенческих романов позапрошлого столетия. Одни, укрывшись в скалах, поджидали добычу. При наступлении ночи зажигали огонь, который сбивал с толку бедных матросов, решавших, что близок порт. Другие ждали, когда путешественники бросят на ночь якорь, и, когда моряки засыпали, тихо приближались к кораблю на небольшом судне и внезапно нападали. После короткой стычки пираты уходили с добычей, часто уничтожив всех членов команды. Самые отважные засекали одинокий корабль из укрытия и бросались на абордаж на очень маневренных весельных лодках. Они заставали врасплох торговцев, которые были счастливы, если им удавалось выжить, даже став пленниками, проданными затем в рабство. Ни один берег не был свободен от пиратов, многие места славились как прибежище бандитов, например берега Киликии на юге Малой Азии, Фракии, Вифинии.

Все это превращало в весьма сомнительное предприятие морские путешествия, в результате которых в Рим

доставлялись предметы роскоши, с нетерпением ожидаемые богачами, страстно желавшими выделиться, а также оправдывало завышенные цены на эти товары. Каждая такая морская «прогулка» могла закончиться для судовладельца разорением или, наоборот, приобретением состояния, длительность ее предвидеть было невозможно, а значит, и невозможно было серьезно планировать коммерческую деятельность. Попутный ветер позволял совершить достаточно быстрый переход, но бури и штиль порождали ужас — уменьшались запасы продовольствия и питьевой воды. Известно происшедшее с Петронием в Иудее: Калигула приговорил его к смерти, но приказ императора прибыл уже после того, как появилось судно с извещением о смерти его самого! Таким образом, Петроний был обязан жизнью погодным условиям, сопровождавшим путешествие двух кораблей[17]. Длительность перехода от Александрии до Пуцолы или Рима варьировалась от семи-восьми дней при благоприятных ветрах до двадцати, особенно если судно по пути заходило в другие порты. Поэтому плавать из Италии в Антиохию, Тир или Александрию было делом нелегким, от римских путешественников требовалась отвага и определенный опыт. Неверным было бы утверждение, что итальянцы поддерживали регулярные торговые связи с Индией, Персией или Аравией. Да, конечно, некоторые торговцы, подталкиваемые любопытством, пускались в дальние странствия, но индусы и арабы косо смотрели на подобное соперничество. Связи с Дальним Востоком уже длительное время держал в своих руках Восток и даже греки, и знаменитые товары — шелк, специи — их стараниями доходили до больших городов — Александрии, Пальмиры, Петры, где встречались два этих столь разных мира. Последний из перечисленных городов принадлежал набатеям, которые следили за передвижени-

ем товаров через Аравию и не гнушались сами отвозить в Италию наиболее ценные из них. Их жестокий нрав не допускал даже мысли, что иностранцы пойдут через их страну, и римляне, которые попробовали это в первом веке, вынуждены были смириться, столкнувшись с враждебностью коренного населения, намеренно сбивавшего чужеземцев с пути или устраивавшего ловушки[18]. Точно так же монополизировали торговлю египтяне в Александрии, они плохо относились к вмешательству римлян в свои дела, особенно на закате Республики. Таким образом, можно предположить, что итальянская экспансия ограничивалась большими городами на завоеванных или сопредельных территориях, не выходя за пределы Пальмиры или Петры, где их уже не слишком дружелюбно встречали[19]. К тому же даже в Александрии сохранилось мало следов существования римской диаспоры до образования Империи, тогда как активность восточных коммерсантов на Западе была очень высока. Когда в 39 году до н.э. утратил свое значение порт на Делосе, они устроились в Пуцоле и Риме, где начали строить жертвенники в честь своих богов. Так, кроме дорогостоящих товаров, набатеи, сирийцы, египтяне принесли свои обычаи и верования, влияние которых, как мы видели, стало решающим в жизни римлян. При Империи деятельность итальянских торговцев еще тормозит запрет Августа: сенаторам и благородным людям нельзя было отправляться в Египет без разрешения императора, которому эта земля принадлежала. В общем, начиная со второго века коммерческая деятельность итальянцев сникла, уступив место представителям Востока, умеющим торговать, а истощение богатств, которые когда-то позволили итальянским финансистам давать в долг греческим или азиатским городам, заставило их уступить место азиатам и в банковской сфере. Не следует думать, что Рим при этом ничего

не экспортировал на Восток или Дальний Восток и что в сторону Антиохии или Александрии корабли отправлялись пустыми. Но обмен этот не был равным, что подтверждают две цифры, которые приводит Плиний[20]. Он говорит о предметах роскоши, этих бесполезных изделиях, которые вошли в моду в Риме и которые по большей части (и в том, что касается вещей самых дорогих) прибывали из Индии: по его словам, 100 миллионов сестерциев ежегодно уходило именно на них, и только на Индию приходилась половина этой суммы. В ответ на полученные сокровища Рим экспортировал продукцию из олова, свинца, немного вина и множество стеклянных предметов, среди которых выделялось цветное стекло и стекло с гравировкой, стеклянные бусины... они не имели особой цены, но производили большой эффект. В результате археологических раскопок, проводившихся в Индии, были обнаружены многочисленные римские монеты, по многочисленным источникам можно предположить, что они очень ценились.

Что касается импорта, то Рим получал из Индии товары, о происхождении которых часто не имел ни малейшего представления, например шелк, который сами индусы импортировали из Китая; хлопчатобумажный муслин, ценившийся за тонкость и легкость, его успех обеспечила римская мода на прозрачные ткани; корица, которую, думали римляне, делают в Аравии, на самом деле прибывала из Индии и Бирмы. Корицу применяли в косметике, для приготовления духов и лекарств, она была продуктом очень редким, за ней охотились, знаменитый кинамон — корица высочайшего качества — стоила 6000 сестерциев за римский ливр (327 граммов), если же она была качеством похуже, то 200. Перец тоже стал одним из великих открытий республиканского Рима — страсть римлян к специям быстро сделала его модным, его стали потреблять в огром-

ных количествах. Плиний удивляется, с какой благосклонностью перец был встречен, начиная с момента появления во втором веке до нашей эры[21], а спустя век увлечение экзотическими пряностями было таково, что пришлось строить амбары для перца. Цена на него не была заоблачной, но все же составляла 60 сестерциев за ливр. Римляне поглощали эти черные или серые шарики, не зная, откуда родом это растение и как оно выглядит. Более того, усвоив слово, которое употребляли греки, они верили в его персидское происхождение, хотя оно пришло из Индии (*pippali*). К этим основным продуктам следует добавить разные краски (индиго, растительную киноварь), составляющие духов и лекарств (сандаловое дерево, пальмовое масло), другие специи (имбирь), жемчуг, алмазы, драгоценные камни, слоновую кость (в Помпеях была найдена статуэтка, похожая на ту, что обнаружили при раскопках на юге Гиндукуша, а значит, она прибыла в Италию до 79 года до н.э.), черепаховый панцирь, ладан, который прибывал не из Индии, но из Аравии, где только племя сабеев могло собирать эту смолу, следуя четким ритуалам, установленным с незапамятных времен. Повсюду на Востоке, а затем на Западе запах ладана помогал людям возносить молитву к божеству.

Не все импортируемые из Индии товары не принадлежали к категории предметов первой необходимости, но далекое происхождение окружало их загадочным и магическим ореолом, повышавшим стоимость ввозимого, делая его самым желанным. Вот почему преимущественно они были самыми модными, и Плиний имеет в виду именно это, когда возмущается, что за эти товары уже заплатили в Индии 50 миллионов сестерциев, «а у нас продают в сто раз дороже». Мода устанавливает цену.

В этой ситуации многих историков удивляет, что римляне не проявляли любопытства в отношении того,

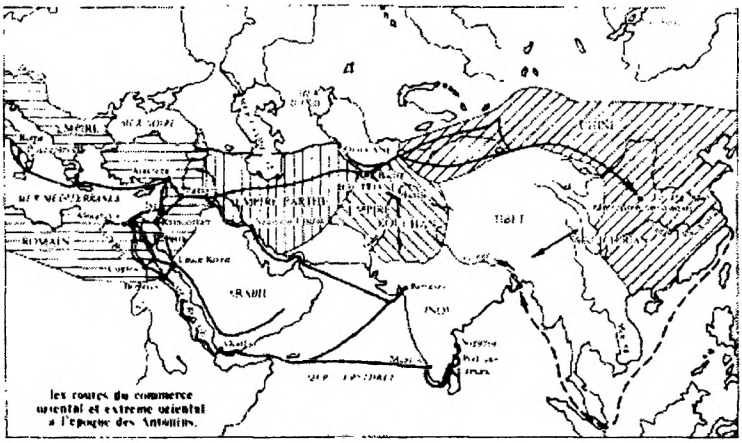
откуда происходят эти дорогостоящие и модные продукты. Они, например, не знали, где растет перец или как делают шелк. Один занятный отрывок из Вергилия свидетельствует, что ему казалось, будто «серы (так называли китайцев римляне) вычесывают из листьев эту тонкую пряжу»[22]. Плиний информирован не больше. Он пишет, что серы знамениты шерстью из своих лесов, которую они срывают с подшерстка листьев, женщины разделяют и прядут ее, и благодаря этим сложным действиям матрона может показаться на людях в прозрачной одежде. Речь идет о незнании или об отсутствии интереса? Тот факт, что говорит об этом и человек с любознательным умом, и известный поэт, второе обвинение отметает. Что касается неточности, можно ли обвинять итальянцев, познакомившихся с новым материалом, в том, что они ничего не знают о расположенном на другом конце света Китае? Коммерсанты, которые привозят шелк, сами ничего не могут рассказать, – Плиний пытался расспросить посланника, прибывшего с Цейлона в Рим. Тот описал серов как людей с большими голубыми глазами, рыжими волосами и грубыми голосами! Можно ли было ему не поверить? Знали ли римляне в действительности, что такое шелк? Безусловно, они умели различить спряденную шелковую и хлопковую нить, даже если последняя была очень тонкой, но в состоянии ли они были понять, насколько различно их происхождение? Из-за непохожести грубой хлопчатобумажной ткани и тонкого, эфемерного муслина, может быть, многие думали, что шелк еще качественнее? По тому, что говорят Вергилий и Плиний, можно думать, что речь скорее идет о сборе хлопка, чем коконов. И если никто из римских торговцев не встречался с китайцами, то многие из них знали индусов, рассказывавших о хлопководстве. Отсюда возникла вполне понятная путаница.

Но и столетие спустя после Плиния грек Павсаний все еще ничего не знает о коконе. Он слышал о существовании маленьких животных, производящих нить, в которую заворачиваются и которых серы особым образом кормят. Но это и все. Аммиан Марцеллин в четвертом веке знает не больше, как если бы – и в этом вероятно все дело – серы хотели сохранить секрет производства шелка. Наконец, есть и другая причина незнания римлян: итальянские путешественники в большинстве своем никогда не были дальше Пальмиры, Петры или Александрии. Там они встречали иностранцев, но тоже посредников, у которых и покупали товары индийского происхождения. Их личный опыт был хотя и велик, но ограничен.

Ситуация объясняется легко: западные купцы стали прибывать на Восток, где греки, арабы, индусы и египтяне их вовсе не ждали, так как многочисленные и плодотворные торговые контакты уже были налажены, а потому не могли равнодушно смотреть на новых конкурентов. Уже давно Индия поддерживала отношения с Аравией, и по двум дорогам индийские товары направлялись в Петру и Пальмиру. Но сами индийские мореплаватели не доставляли свои товары в эти города, так как арабы ревниво защищали свою монополию на торговлю с Западом. Следует уточнить, что для них это было единственным источником дохода, так как Аравийский полуостров был пустыней и у коренного населения не было иных средств к существованию, кроме торговли или пиратства. В то же время у индийских мореплавателей не было никакой возможности предпринять это путешествие, так как пришлось бы пополнять запасы в аравийских портах, и, если бы им даже удалось избежать встречи с пиратами, можно представить, какой прием уготовили бы им местные жители. Вследствие этого они доставляли свои товары в порты на юге полуос-

трова, где им на смену приходили арабы. Зато совершить этот не слишком большой переход они могли, не пользуясь каботажем, также известно, что они не полагались на звезды. Судя по словам Плиния[23], которые подтверждает и буддийский текст с Цейлона, написанный на языке пали, моряки брали с собой в дорогу «птиц, открывающих берега», за полетом которых и следовали. Два пути вели через Красное море в порт Левке-Коме, откуда караваны отправлялись в Петру. Далее товары перевозили в порт Риноколуры на Средиземноморском побережье и следом в нужных направлениях. Еще один путь пролегал через Персидский залив в страну набатеев. Евфрат позволял подняться к северу, и караваны достигали Пальмиры, где их ожидали греческие торговцы.

Что касается шелка, он шел из Китая прямо на Запад через Бактрию на севере, или транзитом через Индию, куда попадал через ту же Бактрию и город Таксилу Кушанского царства, или же через Сычуань и Бирму к Гангу. Первый путь, через Центральную Азию, был открыт довольно рано, так как китайцев привлекал Запад. Возможно, первый китайский караван пустился в дорогу в конце второго века до нашей эры. В следующем столетии китайский посланник отправился добывать сведения о Парфянском царстве и Сирии. Его хорошо приняли, но парфяне отговорили его от поиска нового пути вывоза товаров, кроме того, что лежал через их владения. Уж очень им не хотелось терять контроль над китайской торговлей и упустить свою долю прибыли. Из Бактрии путь шел по Оксу (Аму-Дарье), который разделял Бактрию и государство согдийцев, затем к Каспийскому морю, откуда по рекам и через равнины достигал Понта Эвксинского. Здесь Помпей, воевавший с царем Понта, узнал, что на Каспии поддерживают торговые отношения с далекими странами, и



Пути восточной и дальневосточной торговли в эпоху Антониев

Danube – Дунай
Mer Noire – Черное море
Rome – Рим
Pouzzoles – Пуцола
Empire Romain – Римская империя
Mer Méditerranée – Средиземное море
Antioche – Антиохия
Palmyre – Пальмира
Tyr – Тир
Rhinocolure – Риноколуры
Petra – Петра
Alexandrie – Александрия
Egypte – Египет
Coptos – Коптос
Bérénice – Береника
Nil – Нил
Leuce-Kome – Левке-Коме
Mer Rouge – Красное море
Arabie – Аравия
Ocellis – Оцеллис
Mer Caspienne – Каспийское море
Mer d'Aral – Аральское море
Sogdiane – Согдиана
Empire Parthe – Парфянское царство
Spasinou-Charax – Спасину Харакс
Bactre – Бактры
Bactriane – Бактрия
Taxila – Таксила
Empire Kouchan – Кушанское царство
Indus – Инд
Barygaza – Баригазы
Inde – Индия
Muziris – Музирис
Mer Erythrée – Эритрейское море
Tibet – Тибет
Gange – Ганг
Sopatma – Сопатма
Podouke – Пудук
Camara – Камара
Lac Baïkal – озеро Байкал
Chine – Китай
Tch'ang-Ngan – Чанань
Métropole de la soie – метрополия производства шелка
Yang Tseu Kiang – Янцзыцзян
Sseu-Tchouan – Сычуань
Mekong – Меконг

в Риме осознали, какую выгоду получат, взяв этот регион под свой контроль.

Следствием этого стали многочисленные военные походы и установление отношений с армянскими правителями. Аммиан Марцеллин рассказывает, что торговые связи между Китаем и Западом были установлены недалеко от Ташкургана: на правом берегу реки китайцы раскладывали шелк-сырец, шелковую нить и одежду из шелка, которые они обменивали на драгоценные камни, амбру и кораллы. Пока пришедшие с Запада выбирали, они удалялись и ждали до тех пор, пока не получали за свой товар то, что их удовлетворяло. Во время этого обмена не произносилось ни слова[24]. Да и на каком языке они могли бы разговаривать?

Что до путей, по которым шелк приходил в Индию, будь то через Таксилу или Бирму, и тот и другой были очень опасны из-за хищников и встреч с туземцами и трудны из-за сложного рельефа местности, бурной растительности и губительного воздействия климата. Вот почему в первом веке индийские корабли пустились за шелком прямо на восточное побережье Китая с Ганга, минуя неприветливый полуостров. По возвращении мореплавателей товар отправляли по суше от берегов великой индийской реки до портов западного побережья, откуда они шли к Красному морю или Персидскому заливу.

Со своей стороны египтяне поддерживали давние торговые отношения с Индией, но их процветание совершенно не заботило пришедших к власти в четвертом веке до нашей эры Лагидов. Птолемей II, преемник основателя династии, полководца Александра Македонского, послал в Индию двух ученых мужей, чтобы получить о ней больше информации, но все же предпочел заняться исследованием собственной страны — разливом Нила или мореплаванием вдоль берегов Красного моря. Он установил торго-

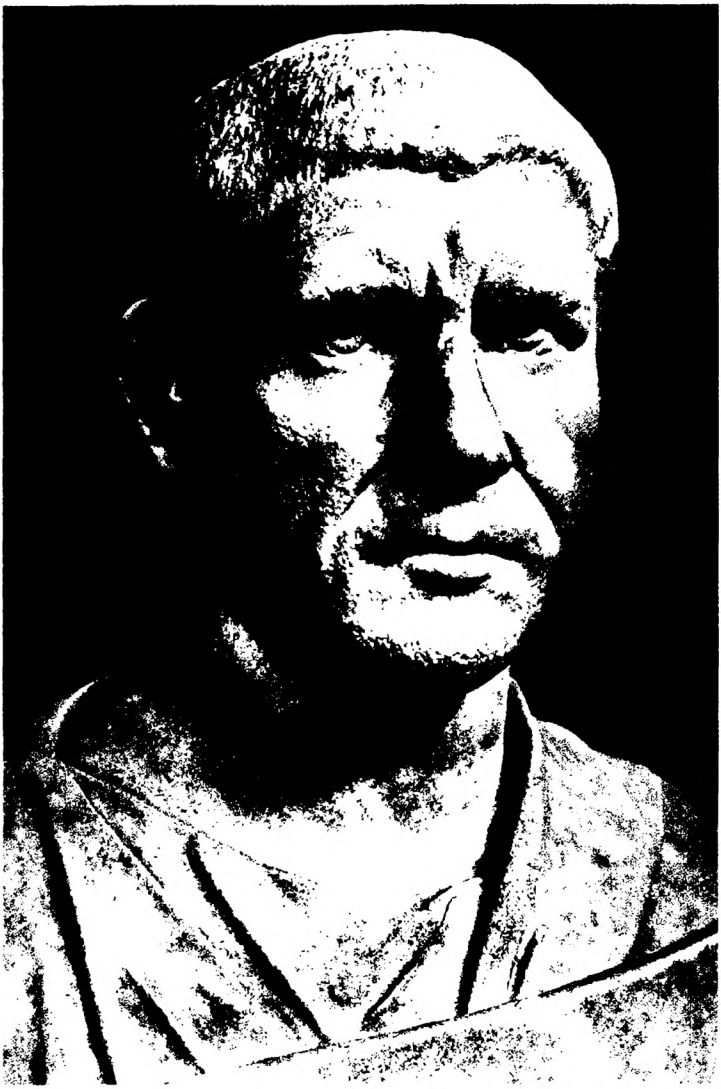
вые связи с Эфиопией, откуда импортировали слоновую кость, черепаховый панцирь, необходимых армии рабов и слонов, создал целую инфраструктуру, которая впоследствии оказалась весьма полезной для развития коммерции с Индией; приказал восстановить и канал, который вел от Красного моря к одному из рукавов Нила, что позволило кораблям проходить из Красного моря в Средиземное, потом по Нилу были проложены два пути до Коптоса, которые вели к двум важным портам на Красном море – Миос Гормосу и Беренике, где были построены перевалочные пункты и пункты снабжения, чтобы караваны комфортно совершали свои переходы.

Два века спустя, в I в. до н.э., у Страбона[25] можно прочитать, что египтяне дали новый импульс торговле с Индией. Египетский префект Элий Галл поднялся по течению Нила и обнаружил, что ежегодно порт Миос Гормос покидает около ста двадцати кораблей, отправляясь в страну специй. Коммерсанты воспользовались дорогами, проторенными Птолемеем II к портам Красного моря, а оттуда шли вдоль Аравийского полуострова путями, известными местным морякам. Благодаря этому у римлян в Александрии появлялись индийские товары, которые они отправляли в Италию.

Недостатком этого пути была высокая плата за каботаж вдоль берегов Аравии, местные жители облагали товары высокой таможенной пошлиной, не говоря уже об ужасных арабских пиратах. Но никто не решался без навигационных приборов пуститься в плавание напрямую через Эритрейское море. И вот в середине I века Империи необыкновенное происшествие случилось с одним вольноотпущенным римлянином, которого его хозяин Анний Плокам отправил блюсти свои интересы на берега Красного моря. У мыса Пряностей (современный Африканский рог) его корабль ветром отнесло к Цейлону. Местный царь

Скульптурный портрет императора Клавдия

Портрет Гордиана II.
III в., Капитолийский музей, Рим. Пример моды на ношение бороды.



Портрет Филиппа Аровитянина, III в., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Пример моды на бритое лицо

Скульптурный портрет Калигулы. Глаза императора были выполнены из драгоценных камней.

принял его гостеприимно, за шесть месяцев своего пребывания там римлянин выучил местное наречие в объеме, который позволил ему объяснить царю, кто такие римляне. Того особенно поразило, что римские динары имели одинаковое достоинство, независимо от того, портрет какого императора был на них. Он решил, что этот далекий народ должен быть исключительно честным и отправил своего посла, того, что дал римлянам сведения (неверные) о серах, которыми воспользовался Плиний. Некоторое время спустя греческий торговец, возможно, уроженец Береники, заметил периодичность ветров и рискнул пересечь море напрямую, теперь уже добровольно. Сам не зная того, он воспользовался муссоном. Звали его Гиппал, и он дал свое имя ветру, который отныне нес суда к индийским портам Баригазы или Музирису[26].

Об этом смелом, фантастическом по тем временам пути рассказывается в одном из практических руководств для древних путешественников, которое называется «Плавание по Эритрейскому морю». Автор его неизвестен, датируется оно примерно концом I в. н.э. Торговец покидал Александрию, шел до Юлиополя, оттуда вверх по Нилу до Коптоса, на что уходило дней двенадцать. Еще столько же требовалось, чтобы караван дошел до Береники, где осуществлялась погрузка на судно. Через тридцать дней делали единственную остановку на арабской территории в Оцелисе. Дальше начинались приключения, путешествие по прихоти ветров, которое должно было завершиться через сорок дней в индийском порту Музирисе. Таким образом, требовалось три месяца, чтобы попасть из Александрии в Индию, без учета многочисленных заходов в порты и разнообразных задержек, которые случались практически всегда. Отправлялись, как правило, в середине июля, когда начинал дуть муссон, и это позволяло добраться до Индии к октябрю. Для возвращения надо было дождаться зимне-

го муссона, дувшего в противоположном направлении. Поэтому мореплаватели оставались на месте не более двух месяцев, в течение которых совершали каботаж у южной оконечности Индии и заходили в порты Камару, Пудук и Сопатму. Столь небольшой срок, отпущенный на погрузку восточных товаров, позволяет предположить, что они были подготовлены к отправке сразу во многих портах. Быть может, там даже постоянно жили греческие и египетские, но представляющие интересы римлян коммерсанты и чиновники, в обязанности которых и входила подготовка всего необходимого в ожидании прихода кораблей[27]. Если к путешествию из Александрии и обратно продолжительностью восемь-девять месяцев добавить путь из Александрии в Рим, становится ясно, что товары с Дальнего Востока по большей части появлялись в Италии раз в год, по крайней мере те, что приходили через Египет. Безусловно, в больших центрах коммерции на римском Востоке существовали склады этой продукции, но в целом с большими интервалами достигали Рима новшества. Но именно они определяли моду. Можно представить, с каким нетерпением богатые римские матроны должны были ждать прибытия и разгрузки экзотических и драгоценных предметов, которые позволяли им выделиться, введя новые увлечения.

Итак, во времена начала Империи Александрия была самым важным портом Средиземного моря, главной точкой на пути следования к Западу индийских товаров и китайского шелка. Сменявшие друг друга императоры прилагали усилия к совершенствованию морского пути и обеспечению его безопасности, так как северная дорога была ненадежна. Парфяне хотели сохранить контроль за торговлей шелком, следовало учитывать дорожные опасности и бандитов, нестабильную политическую ситуацию в маленьких государствах, территорию которых приходилось пере-

секать. Бороться с пиратами Красного моря оказалось легче. К тому же Антониям захотелось наконец узнать, кто такие эти таинственные серы, производившие столь тонкую, нежную и одновременно теплую ткань. Марк Аврелий отправил в Китай посольство, которое руководствовалось в своем морском путешествии «Плаванием по Эритрейскому морю», чтобы благополучно обогнуть Индию. Послы достигли границы Аннама (в центре современного Вьетнама) и подарили правителю слоновую кость, носорожьи рога и черепаший панцирь. Китайцы начали упоминать в своих письменных источниках Римскую империю, название которой звучало как «Та-цинь», и расхваливать римских коммерсантов. Но во время кризиса Римской империи в III веке морская торговля пошла на спад и основной обмен товарами осуществлялся по северному пути. Годы процветания были впереди лишь у сирийских портов. Гораздо позднее тем же путем прошел Марко Поло. Таким образом, очевидно, что во времена античности торговые связи были невероятно широкими, но следует признать, что самые благоприятные для них периоды совпадают с крайне редкими временами политической стабильности в великих империях того времени: Китае эпохи второй династии Хань на Дальнем Востоке, Великой Римской империи на Западе, Кушанском царстве на севере Индии и Парфянском царстве. Этими же дорогами шли не только товары по непомерно высоким ценам, предназначенные высшему сословию, но и религиозные течения, направления мысли, которые тоже составляли моду того времени. Мы видели, какой интерес вызывали восточные мудрецы, сюда же следует добавить и индийские учения, подхваченные такими философами, как Плотин, греческим христианином Ипполитом и встреченные весьма благосклонно.

В III веке некоторые римляне с интересом открыли для себя загадочных брахманов, которые принимали в по-

слушники только самых чистых, жили в воздержании и крайней нужде, «голые, так как говорили, что Бог дал тело в качестве одежды для души»[28]. Они напоминали уже известных римлянам восточных мудрецов, покорявших своим аскетизмом, такая жизнь казалась непременным условием будущего счастья. Небезынтересно было бы посмотреть, что позаимствовал в Индии христианский мистицизм, ведь уже в эпоху последних Антониев основные индийские доктрины были знакомы римским христианам.

Но за всем за этим не следует забывать, что восточные, а еще больше индийские и дальневосточные рынки были прежде всего рынками предметов роскоши, бывших тогда в моде. И если ради их процветания торговцы отваживались сражаться с опасностями, значит, выгода была весьма значительной. Но быстро сколоченные состояния могли также внезапно исчезнуть из-за гибели их владельца. Сколько страха должны были натерпеться эти искатели приключений, со сколькими угрозами столкнуться, включая морских пиратов и грабителей, не говоря о диких животных, враждебно настроенном местном населении или эпидемиях неизвестных болезней. Дороги Индии и Китая требовали, чтобы торговцы обладали закаленной душой первопроходцев. Успех их тешил капризы богатых, от которых зависел доход коммерсантов. И тысячи мужчин и женщин по другую сторону Средиземного моря трудились, чтобы материализовать мечту римлян, ожидавших невиданных предметов роскоши в своих виллах на берегу Тибра. Приходилось ли этим «избранным» хоть раз задуматься о том, жизнями скольких неизвестных вымощена эта дорога моды?

Глава VIII

МОДА И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литература тоже не остается в стороне от моды. Во все времена писатели подвергались самым разнообразным влияниям, что позволяло им выделиться в литературных кругах своего времени. Они ищут новые жанры, новые способы выражения, изобретают новые слова или используют старые выражения в новом значении. Поэты и романисты в свою очередь воздействуют на вкусы публики, которая любит их или нет. Если они находят понимание, то может возникнуть мода, которой будут следовать уже другие авторы, желая воспользоваться благоприятным моментом или просто потому, что им близка эта новая манера письма. Эта мода может оказаться столь же краткосрочной, как и большинство модных течений, а может и превратиться в настоящее литературное течение. В последнем случае ее источник зачастую забывается.

Таким образом, в эволюции культуры определяющую роль играет мнение публики. Некоторые виды искусства, как, например, театр или ораторское искусство, являлись зеркалом общественного мнения в Риме. Мы уже видели, что такой драматический автор, как Плавт, в своем творчестве зависел от мнения окружающих. При этом публика реагирует в соответствии с полученным образованием и предварительной подготовкой. В начале своего существования латинская литература фактически сводится к произведениям ораторского искусства или в лучшем случае к

неорганизованным сценическим выступлениям во время религиозных праздников. В любом случае римляне не были приверженцами литературы во имя литературы, и древнеримская мораль, стремящаяся во всем отдать приоритет действию, активности, превозносила качества солдата и крестьянина. Любые художественные произведения были ей недоступны.

Ничего нет удивительного в том, что у истоков развития настоящей литературы стоят вовсе не римские граждане. Для зарождения литературы необходимо было, чтобы у авторов были средства жить и работать. Нравы времен Республики не позволили бы гражданину найти такие средства. Потому, как это ни парадоксально, именно иностранцы написали первые тексты, позволившие латинской литературе увековечить себя в письменном виде. Ибо до определенного момента она существовала исключительно в устной форме, о которой до нашего времени дошло мало свидетельств. Условия этого рождения литературы в III в. до н.э. чисто политические. Маленький город Лациум вот-вот добьется расширения своих владений в Италии за счет захвата Таранта в 272 г. до н.э. Таким образом, он получает власть и над теми южными греческими регионами, где литературная культура достигла своего апогея. Подобное объединение Италии привлечет в Рим поток «иностранцев», которые, зачастую будучи рабами или вольноотпущенными, и представят своим хозяевам тексты, в них мысль, заимствованная из родной им греческой литературы, получает латинское выражение. Конечно, можно возразить, что странно, что эти иноземцы греческого или италийского происхождения вдруг стали сочинять в Риме на латыни. Однако этому находится достаточно простое объяснение. После захвата Таранта судьба Рима изменилась. Будучи владыкой Италии, в глазах всего античного мира он приобретает новый политический, экономичес-

кий и военный вес. Теперь он должен озаботиться своим будущим и обеспечить пропаганду своего образа жизни, который ему может дать только литература. Однако невозможно написать национальную эпопею с нуля. Потому Рим прибегает к услугам профессиональных литераторов, людей, получивших образование в рамках эллинистической мысли, которые стали его подчиненными. Именно так появляется на свет «Одиссея» Ливия Андроника, чей сюжет вдохновлен эпосом Гомера. Ливий Андроник адаптирует его к новым условиям. К тому времени уже во многих греческих текстах Улисс предстает героем, знакомым со Средиземноморским бассейном в целом и с Италией в частности. В произведении Ливия Улисс умирает в Италии, что связано с историей появления Рима. Вполне возможно, что уже задолго до него эллинистическое влияние в Италии послужило вдохновением для подобных легенд. Но в III в. до н.э. Риму потребовалось появление официальной письменной версии национальной эпопеи, на которую потом можно ссылаться.

Этот Ливий Андроник, за которым история закрепила имя отца латинской литературы, был захвачен в плен и привезен в рабство в Рим совсем молодым, среди многих других греков, зачастую высокообразованных, тех, что способствовали эллинизации столицы. Мало-помалу римляне стали доверять грекам воспитание своих детей. Мы уже рассказывали, как некий аристократ Ливий сначала сделал Андроника воспитателем в нарушение старых римских традиций. Изменения нравов, богатство, пришедшее к римлянам за счет завоеваний, привели к изменению и образа жизни. Стало модным иметь наряду с другими рабами и учителя для детей. Это имело такой успех, что в Риме впервые открылись публичные школы. В них преподавали вольноотпущенники. Греки учили маленьких римлян. Довольный службой своего домашнего воспитателя, Ливий

даровал ему свободу. Тот, по традиции, взял себе имя господина и стал Ливием Андроником. Так началась его карьера официального поэта, который писал религиозные гимны по требованию государства, а также трагедии и комедии, первая из которых была поставлена около 240 г. до н.э.

Эта самая ранняя форма латинской литературы, появившаяся на свет в период между взятием Таранта и первыми шагами римских легионов по земле Греции и на Востоке, является официальной литературой. Лучшим доказательством этого стало то, что поэт Энний, выходец с юга Италии, был привезен в Рим Катоном, который, как известно, не сильно жаловал греческие нравы. Поэт, скорее всего, служивший в римской армии, был отмечен Катоном, тогда еще молодым квестором тридцати лет. Как и все его поколение получивший эллинистическое образование, будущий сенатор не отвергает эту составляющую римской культуры. И латинский поэт, который потом воспоет величие Рима, был открыт именно Катоном. В конце III в. до н.э. Энний пишет «Анналы», масштабную эпопею, в которой описывается история нации от троянских истоков до последних подвигов в борьбе против Карфагена. Тень Гомера витает над произведением, но это не мешает Эннию в последующих произведениях еще яснее обнаружить свою любовь к греческой поэзии.

Однако о развитии в Риме поэтического движения говорить еще рано. Поэт не может найти своего места в римском обществе. Для римлянина в эту эпоху поэзия все еще остается синонимом праздности и частью тех увеселений духа, на которые активное существование фактически не оставляет времени. Эллинизм только-только начинает проникать из Греции. Новые поколения смотрят на мир иначе, нежели их отцы. Поэзия, одобряемая государством (у которого свои политические цели), получает все большее распространение. Может быть, это связано и с тем,

что писали в основном рабы или вольноотпущенники, «эти маленькие греки», а благородные римляне не занимались подобными вещами. Однако такое отношение уже перестало быть всеобщим и все чаще подвергалось насмешке. Аристократы стали осознавать, что не могут игнорировать развитие литературы без опаски потерять и свой престиж, и свою власть. Потому они становятся защитниками поэтов, которые из благодарности посвящают им хвалебные оды, чем способствуют их славе. Вскоре среди аристократов становится модным иметь при себе двух-трех поэтов, чтобы показать, что они не отстают от времени, хотя сами и не опускаются до того, чтобы заниматься презренным искусством.

На тот исторический момент роли четко определились: если благородный римлянин и учится у грека, то только, чтобы говорить более красноречиво и писать законопроекты, полезные гражданину — активному участнику политической жизни страны. Иностранцы, как Энний, вольноотпущенники, как Теренций, или такие низкорожденные плебеи, как Невий или Плавт, могли писать комедии, эпосы, сатиры... аристократ мог оценить их труд, однако только когда отдыхал от своих серьезных дел. Поэта в подобном обществе чаще всего презирают; он ведет праздную жизнь, и ему остается только жить на содержании в доме большого человека. Только в этом случае у него есть шанс на какое-то снисходительное отношение. В то же время нам известно благодаря Авлу Геллию[1], что узы дружбы связывали поэта, без сомнения, самого Энния, с консулом Сервилием Гемином. Вечером консул звал «того, с кем охотно разделял стол, дружескую компанию, свои секреты, устав за день решать важные дела Республики на большом Форуме или на собрании почтенного Сената; того, перед кем он мог сказать все без утайки, как вещи, имеющие большое значение, так и незначительные и несерьезные; с кем

он мог разделить свою грусть и свою радость; верного хранителя всех его мыслей, спутника всех его удовольствий, как известных, так и тайных; человека, ни одно из устремлений которого не пойдет ему [сенатору] во вред, который не выболтает ничего ни случайно, ни умышленно; человека ученого, верного, приятного, скромного, довольного тем, что имеет, богатого малыми доходами; человека умного, умеющего говорить о делах и о торговле легко, не болтливого, разделяющего с ним старые воспоминания, иногда и забытые уже; того, кто знает как древние, так и современные нравы; того, кто разбирается в законах бога и человека; того, кому есть, что сказать, и кто умеет молчать». В ответ благородный патриций требовал от поэта, чтобы тот был его наперсником, который, не имея никаких амбиций, мог бы честно и открыто слушать его, понимать его и высказывать свои чувства.

Другие подобные истории также свидетельствуют о той близости, которая существовала между поэтом и его покровителем. В то же время можно предположить, что развитие поэзии во многом находилось под влиянием тех, кому поэт был обязан возможностью творить, и эта зависимость от одного из власть имущих сыграла свою роль в расцвете тех или иных литературных тенденций. Начиная со II в. до н.э. после военных кампаний в Греции и Малой Азии в Риме развивается греческая мода. Мы уже видели, что многие аристократы-эллинофилы преследовали свои политические цели в распространении этой моды. Как и греки, эти благородные и наделенные властью граждане любили окружить себя образованными людьми, от которых, конечно же, требовалось разделять увлечения своего патрона, его восхищение красотами Греции и воспевать новую моду. У писателей не было выбора: если они хотели жить хорошо, они нуждались в материальной поддержке своего духовного учителя. Это касалось как народного ис-

кусства, так и театра. Без сомнения, автор никогда не мог иметь успеха в своих постановках, если его не поддерживал кто-нибудь из богатых граждан, обладающих достаточным влиянием, чтобы рекомендовать эти пьесы эдилам, ответственным за организацию спектаклей.

Для развития литературе необходимы литературные круги. Иногда даже в них правят политические цели. Так было и со Сципионом Эмилианом, который объединил сторонников аристократии и эллинофилов. Там рождались произведения, которые пользовались одобрением и почетом, так как в них чувствовался дух новой эпохи, интеллектуальные устремления круга, так как они следовали моде и способствовали ее распространению. Вокруг Сципиона сгруппировались не только латинские писатели, но и греки — поэты, философы, историки, которые, как, например, Критолаос, Панеций или Полибий, играли значительную роль. Они придавали особый блеск этому кружку и создавали вокруг него образ, позволявший легко определить принадлежность автора к окружению Сципиона.

Именно в подобных кругах и зародились определенные языковые тенденции, придуманные интеллектуалами той эпохи в заботе о чистоте или оригинальности. Это соревнование, подстегивание друг друга способствовало развитию настоящего культа языка, как было и у греков. Это повлекло за собой возникновение вычурной и прециозной моды, чей комический эффект безусловен: люди слушали ораторов, не понимая, о чем они говорят, так как последние были заняты тем, что придумывали слова из неожиданных составляющих. Для них «говорить правильно означает говорить иначе, чем все»[2]. Существовали даже способы выделиться, в особенности если автор стремился преуменьшить недостатки своей культуры или своих способностей. Все, как один, жеманные и вычурные, но некоторые пытались выделиться за счет произношения. Одни

придерживались латинского произношения, несколько заученного и громкого, и старательно выделяли гласные, как Котта, особенно сильно произнося «е» и проглатывая «i» в подражание крестьянским диалектам. Это было их способом борьбы с новой модой. Другие, в подражание греческой школе, говорили легче и с придыханием. Эта мода произвела фурор в эпоху Цицерона. Катулл в 84-м стихотворении смеется над Аррием, который говорит «havantage» вместо «avantage». Ему кажется, что он красноречив, как бог, когда он громко произносит «х'окружение». И вот Аррия отправляют на Восток. Что за отдых для ушей! Но вот – ужасная новость. Ионийское море, с тех пор как Аррия отправили в те края, называется «Хионийским»! Последствием этих мимолетных модных течений явилось то, что красота языка стала сводиться к форме, а не к сути. Цицерон пишет о наставлениях Катулла, что «очарование его голоса и мягкость его произношения – вот что принесло ему славу оратора»[3].

Что более серьезно, мода на все греческое привела к тому, что многие и писать стали только на греческом, как Меммий, покровитель Лукреция. Эта же мода повлияла и на литературные жанры: диалог на манер диалогов Сократа, в котором блистает Цицерон, или исторические произведения, особенно популярные среди аристократии, которые, задолго до «Комментариев» Цезаря, зачастую сводятся к автобиографии. С начала I в. до н.э. хорошим тоном считается писать свои мемуары на греческом, в случае необходимости прибегая к услугам образованного вольноотпущенника-грека.

С легкой руки Сципиона Эмилиана, да и после него, стремление расширить число своих сторонников в литературе становится столь же важным, сколь привлечение новых политических сторонников. Писатели и ученые входят в свиту богатого аристократа и формируют придворный

круг наподобие тех, что были у греческих царей. Даже если хозяину окончательно надоест литература — что маловероятно, учитывая греческое воспитание, — он не может вести подобающий своему рангу образ жизни, не будучи окружен литераторами, которым он платит большие деньги. Мы уже говорили о педагогах. С последних лет Республики владелец большого дома может содержать даже целую маленькую школу, где учителя, в основном из числа вольноотпущенников, обучают молодых рабов тем функциям, которые они потом будут выполнять в доме. Те же, кто останется невостребованным, будут потом проданы. За них дадут хорошую цену, что несколько компенсирует затраты хозяина на содержание такой частной школы. Грамматик, получивший такое домашнее образование, мог стоить до 200 000 сестерциев[4]. Как мы уже видели, разбирая планировку дома, в нем обязательно должна находиться библиотека, в которой собраны все документы и свитки, свидетельствующие об образованности хозяина дома. Поэтому ему требуется и целый отряд рабов для того, чтобы заботиться об этих свитках, а еще нужны копировальщики и корректоры, подчиняющиеся библиотекарю. Последний должен получить великолепное образование, так как он отвечает за новые приобретения, которые должны оказать честь библиотеке господина. Нам известны чувства Цицерона, когда он узнал, что любовь к книгам толкнула библиотекаря к тому, чтобы убежать с некоторыми свитками. Оратор поднял всех на ноги, чтобы найти их[5].

Теперь в доме, достойном своего хозяина, необходим и личный чтец. Молодой образованный раб, предпочтительно еще и хорошо сложенный, является незаменимым компаньоном. Он читает вслух за столом, в банях или в носилках своего господина. В любой момент хозяин может наслаждаться чудной ритмикой известных стихов или гармоничной прозой. Связь, устанавливающаяся между хозя-

ином и рабом, зачастую является плодом долгих часов, проведенных вместе за чтением книги. Плиний пишет о беспокойстве, которое охватило его, когда во время путешествия у его драгоценного Энколпиуса вдруг пошла кровь. Он ощутил боль от того, что этот верный раб должен был оставить свои занятия. «Кто будет так читать мои книги, так любить их? К кому буду я так прислушиваться?» К счастью, кровотечение прекратилось. «Кроме того, сам он человек воздержанный, я полон заботы, врачи усердны»[6]. Однако больше всего знатному римлянину необходим не чтец, а секретарь. С ним устанавливается полное согласие и понимание, он записывает под диктовку слова хозяина, занимается поисками нужной информации и помогает оформить мысли хозяина в форме слов. Выбор хорошего секретаря — очень сложная задачи, потому что в какой-то степени он становится продолжением мысли хозяина. Цицерон пишет, как он заметил молодого человека, интеллигентного и открытого восприятию мира. Он дал ему хорошее образование и средства на то, чтобы тот расширил свою эрудицию в разных областях знания, а потом освободил его и сделал своим помощником. Он не пожалел об этом — преданность Тирона не знала границ. Цицерон и сам относится к нему с приязнью и общается с ним подружески. Он даже не может заниматься своими делами и грустит, когда Тирон болеет. Последний же выражает свою привязанность к хозяину даже после его смерти, он систематизирует его произведения и разбирает многочисленные письма, написанные оратором к вящей его славе.

Среди вольноотпущенников и рабов, которые постоянно находятся при доме богача, следует отметить также философов и поэтов, которых модно иметь в своем окружении. Домашний философ, другими словами, советчик, появляется в богатых домах во времен Сципиона Эмилиана. Его положению не всегда можно позавидовать. Необхо-

димо время, чтобы хозяин стал прислушиваться к своему рабу. К тому же домашний философ должен нравиться всем домашним и приспосабливаться к скачкам настроения хозяина с риском оказаться на улице, если его речи придутся не по вкусу. Для философа проживание в доме богатого человека, несмотря на все унижения, это прежде всего возможность иногда получить хороший гонорар, и уж по меньшей мере это возможность жить в роскоши. Философу тоже не чуждо ничто человеческое: вплоть до того, что ему доставляет радость, когда его советам все-таки следуют. В то же время большинство философов не строит иллюзий: покровитель содержит их только потому, что это модно, а не потому, что нуждается в их советах. Редко кто из философов бывает настолько глуп, чтобы верить, что прекрасные римлянки прислушиваются к его словам, когда они столь заняты тем, что тиранят армию слуг, обмывающих их, завивающих им волосы, помогающих им одеться и накраситься... Философы стоят не больше, чем хороший повар или мощные чернокожие носильщики, привезенные прямо из Африки, а может быть, и меньше. Потому хорошо уже и то, что им доверяют составить письмо возлюбленному или используют в качестве отвода глаз для прогулок с целью, далекой от философии. Тем не менее в некоторых домах, как бы ни было мало у них таланта, находятся люди, слушающие их разглагольствования о бессмертии души и ожидании будущей жизни. Может быть, они мало способствуют продвижению новых идей из Греции или Востока, но заставляют римлян обратиться к своей совести.

Как мы уже видели, поэты многим обязаны греческой моде. Они тоже входят в свиту богатого аристократа, следующего моде. Можно упомянуть Меммия, протектора поэта Лукреция, который заслужил репутацию эпикурейца, наслаждающегося жизнью, и который, осужденный на изгнание за участие в заговоре, закончил свои дни в Афинах

в увеселениях. Большой любитель Греции, при этом просвещенный, он сам баловался творчеством. Впрочем, его стихи не имели большой ценности. Он презирал латинскую культуру и с увлечением следовал греческой моде. Получив пост пропретора в Вифинии, он взял с собой не только поваров и шутов, но и многих поэтов, среди которых, может быть, был Лукреций, и точно были Гельвий Цинна и Катулл. Последний рассказывает нам, что Меммий требовал от своих поэтов не только чаровать его слух стихотворными каденциями, но и гораздо менее поэтических развлечений. Впрочем, он не является исключением[7]. Однако у поэтов не было выбора. Как можно прославиться, если ты не числишься в каком-нибудь литературном круге и не принадлежишь к свите богатого патриция?

Вплоть до конца Республики семьи патрициев безраздельно властвовали в литературе. С наступлением Империи, другими словами, с воцарением монархического режима, ситуация меняется. Через несколько лет влиянием начинает пользоваться исключительно император, и в последующие века литературные направления буду меняться по прихоти монарха. Мы можем проследить, как начиная со времен Адриана философия, презираемая до тех пор, войдет в моду. Однако при Августе в моде поэзия, переживающая особенный подъем. Столько поэтов будут пользоваться непреходящим успехом при императоре: Гораций, Вергилий, Овидий... Причины этой моды вновь уходят корнями в политику. С установлением нового режима уходит в небытие республиканская демократия, долгое время находившаяся на последнем издыхании. Граждане уже не ходят на Форум для того, чтобы свободно выражать свои убеждения. Крупные столкновения организационного характера на почве важных вопросов, которые потрясали Республику, уже не происходят. Ораторское искусство, чтобы найти себе место в новой обстановке, должно ме-

няться. Оно возвращается в школы, где отныне и остается. Гражданин перестает быть политическим деятелем. В то же время мир в Римской империи, установленный Августом, уже не требует столько усилий для своего поддержания. После всех гражданских войн, истощивших государство, рождается новый тип гражданина. Его страстью становится литература. Однако не все жанры получают свободное распространение при таком режиме. Поэзия притягивает к себе все таланты и всю энергию. Гораций жалуется: «Вот изменил уж народ неустойчивый мысли и пышет страстью одной – сочинять: и отцы с строгим видом, и дети, кудри венчая плющом, произносят стихи за обедом»[8]. Император поощряет занятия поэзией и объявляет себя покровителем поэтов, может быть следуя личным пристрастиям, а может быть исходя из политических причин. Он хочет отвлечь римлян от государственных дел и предлагает компенсацию за уничтожение трибун, с которых каждый мог свободно выражать свое мнение. Ссоры между авторами приходят на смену ссорам между политиками. Публика отдыхает после долгих лет гражданской войны и слушает, как поэты воспевают деяния ее императора. Поэты трубят во все трубы во славу императора, и их ролью в становлении нового государства нельзя пренебречь. Гораций понял это и написал: «Пусть до войны неохоч и негож, но полезен он [поэт] граду, если согласен ты с ним, что большому и малое в помощь. Нежных ребяческих уст лепетанье поэт исправляет, слух благовременно им от речей отвращает бесстыдных; после же дух воспитает им дружеским он наставленьем, душу исправит, избавив от зависти, гнева, упрямства; доблести славит дела и благими примерами учит годы грядущие он; и больных утешает, и бедных...»[9]

Без сомнения, в этом заключается и одна из причин, по которой Август назначает министром человека, кото-

рый станет одним из самых известных министров культуры за историю человечества – Мецената. Легенда превратила его в своеобразного охотника за поэтическими головами, который вербует их на службу императору. В действительности же все было несколько иначе. Поэты – друзья Мецената всегда могли сохранить свою свободу, и многие из них посещали и другие круги. Сам Гораций, например, предпочел удалиться от городской суеты на маленькую ферму, которой он был обязан щедротам своего друга. Меценат мечтал сам стать поэтом. Он даже пытался писать стихи, и до нас дошли некоторые из его сочинений. Слишком вычурные, они страдают от излишества и манерности, в которых его упрекали. Другими словами, его поэзия, не нашедшая поклонников, была не слишком хороша. Может быть, поэтому он, увлеченный поэзией и разочарованный в собственных творениях, стал помогать поэтам. Он хотел стать свидетелем обновления всех поэтических жанров, потому и приближал к себе тех, кто обладал талантом, в котором ему природа отказала. В последние дни Республики эпикурейская философия снова вошла в моду, и каждый мечтал об отдыхе, любви, благополучии. Наряду с апологетической поэзией в духе национальной традиции многие молодые люди пытаются воспевать чувства. Младший жанр поэзии переживает новый подъем. Эклектизм популярен в кругу Мецената. Гораций ратует за сохранение латинской культуры, объявляя о возвращении языка сатиры, пусть подчас и резкого, но жизнерадостного, в традиции «мастеров старинной комедии». Он считает, что нужно подражать им, и бороться с засильем александрийского стиха, введенного в моду Кальвом и Катуллом. Прочь греческие слова, которые смешиваются с латинскими названиями. Он пишет об отсталости приверженцев этого билингвизма и об обезьянничанье известного актера, читающего эти стихи. Конечно, признает Гораций, в молодости он, как

и все, баловался сочинением коротких греческих стихов. Однако он осознал свою ошибку, когда к нему спустился бог Квирин и сказал, что безумие — таскать дрова в лес, но еще большее безумие — желать пополнить собой батальоны греческих поэтов[10]. Сатира, эпос, элегия — всем поэтическим жанрам находится место среди друзей Мецената. Однако важно то, что латинская поэзия обновляется, потихоньку освобождается от сковывающего ее греческого влияния и заявляет о своей оригинальности, своих национальных особенностях. Вергилий, который вместе с Горацием является одним из самых известных друзей Мецената, именно с этими мыслями пишет свои «Георгики». Уже «Буколики» показывают италийские образы, несмотря на явное поэтическое влияние идиллий Феокрита. Конечно, можно сказать, что деревенские песни Сицилии явились источником песен Аркадии, однако желтые поля и зеленеющие равнины, в траве которых прячутся ручьи, кормящие белоснежных лебедей, не имеют ничего общего с суровой гористой местностью Греции. А желание «в скудости сельской, в хижинах низеньких жить, стрелять на охоте оленей»[11] не соответствует эфемерному тону греческой пасторали. Вергилий ко времени написания «Буколик» еще только начинающий поэт, ищет вдохновение в греческих моделях, однако передает в стихах собственные эмоции и чувства. Бытовые детали его стихотворений отражают его привязанность к италийским реалиям. В лирике Вергилия заключены глубокие мысли, она близка к философским размышлениям. Только форма, избранная для передачи послания, отсылает читателя к художественной моде того времени, к пасторальным темам, которые знакомы нам и по изобразительному искусству той эпохи.

Не только Меценат собирает вокруг себя молодых талантливых поэтов. Известны и другие литературные круги — например, окружение Мессалы, человека сурового,

не желавшего якшаться с толпой обыкновенных придворных. У него обрели славу многие поэты, самые известные из них – Тибулл и Овидий. Азиний Поллион отказывался склонять голову перед императором, и его желание было уважено. Ему мы обязаны объединением группы так называемых аркадцев. Речь идет о заальпийских поэтах, один из которых, Вергилий, стал величайшим поэтом латинской литературы и потом начал посещать круг Мецената. Сам Август, а потом и его наследники, следуя моде, снисходили до того, что сами писали стихи, как и все покровители искусства. От Светония[12] нам известно, что Тиберий сочинил лирическое стихотворение под названием «Элегия на смерть Л. Цезаря», а также греческие стихи. Когда приемный отец послал Тиберия возвратить царю Тиграну трон Армении, в походе его сопровождали многие писатели. Поэты оспаривали друг у друга честь быть отправленными в путешествие за счет государства, однако далеко не всем просителям это удалось. Став императором, Тиберий ввел моду на греческих поэтов, которыми он восхищался и чьи труды и портреты приказал поместить в общественных библиотеках. Чтобы польстить императору, многие ученые адресовали ему комментарии тех греческих стихотворений, которые имели счастье ему понравиться. Именно со времен правления Тиберия можно говорить о том, что литературная мода развивается в зависимости от капризов императора. У второго императора была милая привычка задавать окружающим вопросы наподобие: «Как звали мать Гекубы? Как звали Ахилла, когда он был переодет девочкой?» Тут же весь двор, и ученые, и писатели, пользовавшиеся покровительством императора, с тревогой задавались вопросом о природе песен сирен и других маленьких загадках. Эта мода докатилась до школ, и подобная псевдоэрудиция стала занимать и умы нового поколения. История сохранила и поэтические фантазии Нерона. Во время его

правления поэзия сводилась к низкой лести и банальному низкопоклонству. Нерон окружал себя поэтами, которых мог выгнать некоторое время спустя. Сам Тацит делает вид, что любит общаться с людьми, способными быстро сочинять простенькие стишки, что ему нравятся все эти поэтические игры, но их признание сомнительно, а ценность фактически равна нулю. В то же время создается ощущение, что император мог писать и приемлемые стихи. Он писал лирику, сатиры, эпопеи, и Марциал, в основном мало любезный с последним Юлием-Клавдием, признавал за ними некоторые достоинства. Все богатые люди, чтобы заслужить благоволение императора и сохранить свой престиж, буквально бросались наперегонки за императорами, мнившими себя поэтами и зачитывавшими стихи, отнюдь не всегда ими же и сочиненные. «Павел скупает стихи и потом за свои выдает их. Да, что купил, ты считать можешь по праву своим»[13]. И чего только не сделаешь, чтобы прослыть модным человеком! Богачи хвастались своими поэтическими опусами, не сознавая того, насколько становятся смешны, как, например, Тримальхион, который во время обеда с умным видом предлагает сравнить Цицерона с неким Публилием, неизвестным автором бесталанных мимов[14]. Другие, столь же необразованные, покупали за баснословные деньги рабов, которые в нужный момент могли подсказать им стих из Гомера или Гесиода, и терзали ими уши гостей, повторяя их, за неумением выучить. Из таких примеров становится ясно, что те, кто действительно обладал каким-то талантом, не могли отказать себе в удовольствии поэксплуатировать музу. Плиний Младший, человек видный и серьезный, в молодости написал греческую трагедию, а к сорока годам решил «последовать примеру Катулла» и опубликовать короткие стихи. Немного стыдясь этого, он оправдывается, что уже пытался сочинять гекзаметры в определенных ситуациях и про-

бовал разные размеры. «И наконец, я решил, по примеру многих, составить особо один томик гендекасиллабов, и не раскаиваюсь. Их читают, переписывают, распевают, и даже греки, которых любовь к этой книжке научила латинскому языку, исполняют их то на кифаре, то на лире»[15]. Разве не проглядывает в этих словах, за легким налетом самолюбования, признания в том, что Плиний не смог устоять перед велениями моды и гордится тем, что стал одним из популярных поэтов?

Первые десятилетия Империи стали свидетелями расцвета моды на поэзию, однако, как это ни парадоксально, первыми жертвами этой моды стали сами поэты. Разве патроны стали менее щедрыми? Разве стало меньше поэтов в их свите с тех пор, как, поддавшись влиянию моды, они сами сочиняют хорошие ли, плохие ли, но стихи? Представители новой аристократии времен Империи более скупы в том, что касается культуры, чем великие патриции времен Республики? Тут сложно дать однозначный ответ. Может быть, дело в том, что поэтам сложно жить, учитывая, что их количество постоянно растет. Значение и положение богача выигрывают, когда его восхваляют модные поэты и философы, однако не может же он содержать целую когорту писателей. Времена всегда были суровы к многочисленному племени поэтов. Прошла эпоха, когда Гораций писал: «Но в увлеченье таком и в безумии легком какие есть добродетели, ты посмотри: едва ли поэты жадны, но только стихи они любят и к ним лишь пристрастны; будят лишь смех в нем убытки, и бегство рабов, и пожары...»[16] Действительно, что за прекрасная беспечность! Однако при этом поэты плодятся, как кролики. Как много их, несчастных и бесталанных, удивляют прохожих рассказами о яростной тигрице, лишившейся своих тигрят, или змее, припекаемой тропическим солнцем...[17] В них даже кидают камни![18] Марциал заклеймил этот тип поэтов в образе некоего Ли-

гурина, который считает себя «поэтом сверх всякой меры»: «Кто стерпел бы, скажи, такие муки? Я стою — ты читать, присел я — тоже, я бегу — ты читать, я в нужник — тоже, в термы скрылся я — ты жужжишь мне в ухо, я в купальню скорей — не даешь мне поплавать, я спешу на обед — меня ты держишь, я пришел на обед — сгоняешь с места, я устал и заснул — меня ты будишь...»[19] Однако сам Марциал жалуется, что слишком часто единственной платой ему служат поцелуи. Когда его просят написать что-нибудь важное, он отвечает: «Дай мне досуг, но такой, какой в минувшие годы Флакку мог Меценат или Вергилию дать... Полем бесплодным идут под ярмом волы неохотно: тучная почва томит, но веселит самый труд»[20]. Ювенал в своих сатирах с той же горечью распространяется о том, сколь неблагодарны и равнодушны богачи, которые позволяют поэтам бродить по улицам, несчастным и голодным, в одном худом плаще. Самым обездоленным приходится заниматься каким-то трудом, чтобы выжить. Кроме как у императора, «если же ты, Телесин, еще откуда-то мыслишь помощи ждать в делах, заполняя стихами пергамент книги шафранной, то лучше потребуй немедленно дров ты, свиток в дар принеси огневому супругу Венеры или запри его, брось и отдай на съедение моли; ты, создатель высоких стихов в своей маленькой келье с целью плющ заслужить и тощее изображенье, жалкий, сломай-ка перо и покинь бессонные битвы: больше надежды нам нет, — скупой богатей научился авторов только хвалить, поэтам только дивиться, как на павлина дивится юнец»[21]. Далее сатирик едко замечает, что если бы у Вергилия не было собственного раба и крыши над головой, то «мощным звуком труба, онемев, не взыграла бы». А в наши дни «хоть скамьи и трещат под народом, — а Стацию кушать нечего...»[22]. Эпоха далека от того, чтобы «по таланту была и награда». Конечно, он несколько преувеличивает — ничего удивительного для сатиры. Однако в сло-

вах Ювенала есть доля истины – если многие богачи и подражали императору в его роли мецената, чтобы добиться его благосклонности, вполне может быть, что многие и не решались содержать большую свиту образованных писателей, опасаясь, что императору это не понравится и он решит, что они пытаются присвоить себе его привилегии. Нам известно, что Нерон не одобрил широких жестов Кальпурния Пизона, который открыл двери своего дома для всех ученых людей. Для всего первого века Империи характерен настоящий расцвет литературных талантов, быстро теряющихся в отчуждении, которое порождает воля монарха. Это обилие талантов забивается литературным дилетантизмом в эпоху, когда общество, претерпевая глубочайшие изменения, большую часть своей энергии тратит на то, чтобы следовать императорским увлечениям. Таким образом, поэзия приобретает характерные черты в тот век, когда зрелища, иллюзии и все искусственное тщательно маскируют муки существования людей, ставших подчиненными.

Во II веке, который так же называют «золотым веком» за то, что Антонии обеспечили Империи стабильность, благоприятную для римской политики, модные течения литературы всегда определяются императором. Однако атмосфера изменилась. Эллинизм, пройдя через все общество, в какой-то степени стал банален. Если интерес к поэзии не угасал – вышеприведенный пример из Плиния Младшего служит тому подтверждением, – то он уже не доминирует. Великие императоры этого века, Адриан или Марк Аврелий, в большей степени философы, нежели поэты. За все время правления Антониев не наберется и дюжины известных поэтов. Напротив, в обществе царит эрудиция во всех ее формах: повсюду люди увлекаются археологией, изучением древних документов и произведений древних авторов. Риторы становятся новыми идолами, они

толпятся под портиками, в термах или во дворцах. Они проповедуют возвращение к языку Катона и славословят архаизм. Никогда еще «в нашем городе умственная жизнь так не била ключом, как сейчас», — пишет Плиний Младший[23]. Рим охватила мода на интеллектуальные игры, как те головоломки, о которых пишет Авл Геллий[24]: «То, что является снегом, не град; снег белый, а град не белый. То, что является человеком, не лошадь; если человек одушевленное существо, то лошадь — неодушевленное существо...» Нужно найти отгадку к этому софизму, обнаружив ту часть рассуждения, в которой содержится ловушка, «*captio*». Философы и софисты наводняют города, дают советы императорам и вместе с риторами обучают молодежь. Однако где кроются корни этой новой моды на философию?

Философия появилась в Риме давно, еще во времена Траяна. Философы были частыми посетителями Форума в конце III в. до н.э., в эпоху Сципиона Эмилиана они пытаются создать собственные школы. Некоторые из них были достаточно известны и влиятельны. Например, учение стоиков оказало свое влияние на становление таких великих людей, как Сципион или Гракхи. Все укрепляющиеся многочисленные связи между Грецией и Римом привели в столицу многих философов-послов, которые должны были решать вопросы, связанные с их городами. Ожидая, пока их примет Сенат, они проводили публичные лекции, во время которых знакомили молодежь с основами греческой мысли. Многие могущественные люди, как, например, Цицерон, прибегали к отголоскам слов иностранных философов, чтобы ввести своих современников в лабиринты разнообразных исповедуемых систем. Тем не менее как в конце Республики, так и в первый век Империи философия фактически везде вызывала страх или даже ненависть. Старшее поколение римлян считало, что именно философия испортила мораль. Можно вспомнить и то, как Катон

был вызван в Сенат за то, что ранее, в 155 г. до н.э., принял Карнеада и его коллег вместо того, чтобы направить их обратно. Антиэтические рассуждения Карнеада о понятии справедливости не могли не взволновать умы римлян, не знакомых с тонкостями умозаключений. Практичный и реалистичный дух римлян испытывал определенное отторжение, по крайней мере недоверие по отношению к этим адептам идеализма и чистой теории. Другими словами, правители Рима боялись вреда, который может принести им такая идеология. Подобное отношение повлекло за собой значительное число более или менее скандальных изгнаний философов из Рима. И так продолжалось вплоть до правления Домициана. После смерти тирана и с изменением системы государственного управления императоры стали благосклонно смотреть на развитие интеллектуальной жизни во всех ее проявлениях, в особенности философии. Плиний отдает должное Траяну: «С каким достоинством ты говоришь с учителями, с каким авторитетом мудрости обращаешься с учеными! Насколько занятия снова приобрели при тебе и живой дух, и кровь, и отечество! А в прежнее время бесчеловечная жестокость преследовала все это изгнанием, когда принцепс, сознавая в себе все пороки, изгонял искусства, враждебные ему, не столько из ненависти к ним, сколько из уважения»[25]. Стоит только императору отметить риторов и философов, тут же повсюду появляются и те, кто действительно занимается этим родом деятельности, и те, кто только притворяется. Благосклонность императора порождает и расширяет феномен моды.

Лучшим примером всеведующего принцепса и философа служит Адриан. Открытый для любого знания, интересующийся всем, он являлся одним из самых образованных и всесторонне развитых людей своего времени. Он изучает все области знания: геометрию, архитектуру, увлекается астрологией, занимается искусством, охотно дает

советы специалистам в самых различных областях, обладая прямо-таки энциклопедическими познаниями. Его даже прозвали «*graeculus*» – маленький грек. Он путешествует по всему миру, встречается с самыми известными философами и мыслителями. Его посвящают во всевозможные культы и мистерии. Будучи весьма эрудированным человеком, он любил заводить своих окружающих в тупик, писал о самых разнообразных предметах, от медицины до орфографии, и сам сочинял стихи на греческом и латыни. Его приближенные тоже стали увлекаться литературой и развивать в себе остроумие и эрудицию. Придворные дамы были не самыми последними в этом искусстве. На Палатине и на вилле в Тибуре, в термах и библиотеках, в городе в читальных залах и за городом во время сбора урожая, во дворцах и больших хозяйствах бурлили дискуссии о вопросах литературы и права, грамматики и мифологии, физики и астрономии. Каково происхождение слова «Ватикан»[26]? Глагол «лгать» имеет ли то же значение, что и выражение «говорить ложь»? Грамматика и философия становятся модными науками, и люди раздумывают над каждым словом. Грамматик, ранее занимавший самую низшую ступеньку в иерархии рабов, теперь становится желанным гостем в императорском дворце, а следовательно, и в лучших домах государства. Легкий на подъем, Адриан переходит от одного к другому, вызывает споры, отвечает на греческом и на латыни, счастливый тем, что может разрешить многие вопросы и использовать свой авторитет во благо науки. Ученым, которые понравились императору, обеспечены самые высокие почести. Адриан первый создает своего рода университет – Атеней, где собирает самых знаменитых учителей. Он сам часто приезжает туда, чтобы тренироваться в ораторском искусстве. Самые престижные кафедры к услугам императора и обустроены согласно его желаниям. Благосклонность императора в основном

распространяется на латинских и греческих риторов, которых называют софистами. Последние благодаря Адриану становятся самыми известными людьми века Антониев. Приверженцы новой софистики вновь оказываются на культурной сцене. Во времена Траяна Плиний рассказывает о приезде софиста как о любопытном событии, которое может отвлечь его друзей от их литературных привычек. Речь идет об Иссее, который свои речи вел на чистейшем аттическом языке. «Введения его отделаны, изящны, приятны, иногда важны и возвышенны». Он предлагает слушателям самим назвать тему, затем запахивает свою тунику и начинает ясную, обдуманную речь; в его словах видна начитанность[27]. Уже через несколько лет Плинию не пришлось бы объяснять, кто такой софист; их полным-полно повсюду. Ободренные властью, они набирают себе учеников, которые в свою очередь становятся учителями. Они имеют дело с самыми разнообразными сюжетами, однако в самих темах можно проследить определенные предпочтения: их ценят за то, что они могут говорить с великими мира сего. Особой популярностью пользуются рассказы про Ксеркса, Дария и Фемистокла — в том смысле, что некоторые софисты упоминают их к месту и не к месту, за что заслужили кличку «марафонцы» — уж слишком часто упоминают они победу афинян над захватчиком. На самом деле своим успехом софисты обязаны, скорее, внешней форме, а не внутреннему содержанию своих речей. Они умеют держаться на сцене, носить роскошные одежды, изучают свои жесты и позы, их интонации настолько музыкальны, что буквально очаровывают слушателей. Их слава зиждется на умении преподнести себя. Однако модой, возникшей на их искусство, они обязаны именно интересу, который питает к ним император. Самые великие софисты имеют слабость считать себя равными ему. Эта мода превращает их в самых высокооплачиваемых препо-

давателей Империи. Они дают частные уроки, посещать которые считается хорошим тоном; появляются в роскошных спектаклях и, кроме значительных доходов, получают самые разнообразные подарки: своры гончих, ценных рабов... Они содержат большую свиту, живут в роскоши и всячески процветают. Многие из них становятся также и строителями, как, например, Герод Аттик, который дарит Олимпии акведук, Дельфам – стадион, Коринфу – театр и украшает Афины многочисленными монументами. Софистам достаточно лишь обратиться к императору, чтобы нужные средства были выделены. Таким образом, их действия в зачастую беспокойных греческих городах имеют положительный эффект. В то же время их обуревает гордыня, они раздувают свою значимость сверх всяких границ. Рассказывают, например, такой случай, произошедший с Антонием, когда он был проконсулом в Азии и возможным кандидатом на императорский трон. Прибыв в Смирну, чтобы провести там ночь, он поинтересовался, кому принадлежит лучший дом в городе. Его проводили в дом софиста Полемона. Того не было дома, и Антоний расположился у него без разрешения. Полемон вернулся посреди ночи и, обнаружив у себя незваных гостей, с большим шумом выпроводил Антония и его свиту. Император Адриан, приемный отец Антония, узнав о происшествии... беспокоился о Полемоне. Он боялся, что Антоний, когда станет императором, решит отомстить софисту. Тогда, чтобы защитить последнего, он записывает в своем завещании, что усыновил Антония только по совету Полемона! Впрочем, когда тот становится императором, он действительно вспоминает об этом случае, но без всякой злобы. Когда какой-то актер из Смирны жалуется при нем, что его преследовал пресловутый Полемон, император иронично интересуется, в какое время суток это произошло, и замечает, что в его случае была середина ночи[28]. При Адриане

софисты фактически являлись царями. Не было таких привилегий, которых они не могли бы вытребовать у императора, будь то высокие должности, освобождение от налогов, исполнение функций прецептора в императорском дворце, как в случае с Фронтоном, о котором мы еще будет говорить и который во многом способствовал успеху моды на архаизмы в эпоху Антониев. По происхождению африканец, он был учителем ораторского мастерства на латыни у будущего Марка Антония, в то время как Герод Аттик был его учителем красноречия в греческом. Будучи великолепным адвокатом, он прошел все ступени *cursus honorum*, вплоть до консульства, которое ему даровал Антоний. Жизнь Фронтона, известного учителя, является примером стремительной карьеры, которую мог сделать хороший ритор. Во времена Антония литературная жизнь менее активна, чем при Адриане. Конечно, новый император тоже увлечен литературой, однако он гораздо менее одарен, чем его предшественник. У него совсем другой характер. От природы мягкий и спокойный, он доброжелательно разрешает свои дела, и с политической точки зрения он часто считается лучшим императором века, так как его больше всего любит и уважает народ. Антоний продолжает чествовать талантливых риторов, однако ограничивает их претензии и сводит «литературные безумства» Адриана к более разумным масштабам. При его правлении шарлатаны теряют свое значение и великолепие. В то же время это ему Рим обязан созданием первых кафедр философии. Философы снова входят в моду при наследнике Антония — Марке Аврелии. Не то чтобы они не были в чести во времена Траяна, однако следует признать, что при Адриане наибольшим влиянием пользовались риторы и в моду снова вошла софистика. При Марке Аврелии риторы уступают место философам. На самом деле грань между философией и софистикой весьма тонка: ритор имеет дела с

вопросами нравственности, которые модны в данный момент, а философ, чтобы сделать понятными свои рассуждения, прибегает к методам ораторского искусства, введенным в моду софистами. Их разделяют только внешние различия: ритор — это оратор, который любит роскошь, удовольствия и ведет светскую жизнь, в то время как философ предпочитает посвятить себя размышлениям и жить в простых и скромных условиях. Марк Антоний возводит на трон философию, которая лучше отвечает его склонностям, и окружает себя мыслителями. Он охотно повторяет слова Платона: «Как процветало бы Государство, если бы цари занимались философией, а философы — правили». На самом деле это философы процветают в ущерб государству. Император оказывает почести многим из своих бывших учителей. Юния Рустика он делает своим советником и никогда не забывает почтить его дружеским поцелуем, в особенности в присутствии префектов из преторий, дважды назначает его консулом, а после его смерти приказывает установить его статуи. Он посылает Клавдия Максима проконсулом в Африку и, назначив сына Клодия Севера консулом, берет его в зятья. Судя по этим знакам отличия можно себе представить, сколько нищих тут же почувствовало себя причастными к философии, надеясь получить от императора пенсию или кафедру, приносящую приличный доход. В свое время стоики и циники носили длинные бороды и одевались в короткие плащи, вызывавшие насмешки, теперь улицы Рима наполнились проходимцами, чья борода была столь же молода, сколь стар был наряд. Самые хитроумные дошли до того, что ходили босиком и следили за тем, чтобы плащ был достаточно поношен. Чего только не сделаешь, чтобы идти в ногу с модой и понравиться принцепсу! Лукиан пишет, то они были «более злобными, чем собаки, более трусливы, чем зайцы, более льстивые, чем обезьяны, более вороватые, чем кошки, более вздор-

ные, чем петухи...» Таким образом, отдельные представители своей дурной славой навредили всему классу философов. Однако это не помешает Септимию Северу даровать им ту же свободу слова, что и при Марке Аврелии. Однако наступает III в., разражается кризис. И литературная жизнь приспосабливается уже к новым условиям.

Такой беглый обзор четырех веков истории латинской литературы показывает нам, насколько мало возможностей свободного и спонтанного самовыражения оставляет Рим литераторам. Во времена как Республики, так и Империи писатели находятся в более или менее прямой зависимости от власти своих покровителей, будь то аристократы или император. Им приходится следовать моде, которую их патроны диктуют из самых разных соображений. Однако не только власть имущие имеют влияние на литературу. Нужно принимать во внимание и другую составляющую литературного мира — читателей и зрителей, одним словом, публику. Конечно, вкусы народа не всегда соответствуют тому, что хотели бы видеть самые просвещенные люди государства. Однако энтузиазм народа, его способность придать размах литературному феномену не позволяет пренебречь его влиянием на развитие литературных течений. Реакция публики варьируется в зависимости от эпохи и классовой принадлежности. Наряду с образованными людьми мы видим значительное число граждан, которым развитие общественного образования позволило достичь порядочных, но посредственных успехов, и простой люд, лишенный литературной культуры и воспринимающий ее, руководствуясь внутренним инстинктам. Во времена Плавта и Сципиона публика в основном состоит из слушателей и зрителей. Книг очень мало, и с литературой люди знакомятся в театрах, на трибунах или на Форуме, во время выступления какого-нибудь политика. Судя по прологам

Портрет молодой римской девушки с дощечкой для письма. Фреска из Помпеи, Национальный музей, Неаполь

Скульптурный портрет Тиберия

Плавта, он не только раскрывает все основные линии развития интриги, но и подсказывает публике, где и как она должна реагировать. Мы не будем делать вывод, как некоторые, что зрители абсолютно необразованны и не имеют даже здравого смысла. Однако ясно то, что Плавт старается постепенно познакомить с культурой публику, большую часть которой составляют неграмотные люди, что неудивительно для простых людей того времени. Автор старается привлечь их внимание, заставить следить за развитием сюжета доступными ему средствами. Это важное стремление. Теренций жалуется, как сложно ему было поставить одну из своих пьес, так как ей пришлось конкурировать с гладиаторскими играми, и зрители предпочли последние. В то же время действительно яркое ораторское искусство не могло остаться незамеченным более или менее образованной публикой. Что бы делали ораторы и политики, не обладай они красноречием? Нет свидетельств тому, что оратор может устоять перед искушением польстить своей публике. Публика же больше реагирует на внешние данные оратора, нежели на содержание его речи. У многих актеров были свои верные поклонники. Были они и у ораторов, у тех, кто умел произвести впечатление мужественной осанкой или словарным запасом, который нравился людям. Мало-помалу публика получала определенное образование и становилась все более требовательной. Во времена Цицерона удачное словечко, блестящая фраза встречались громогласными изъявлениями радости. В театре слишком короткий или слишком длинный стих немедленно освистывался. Зрителям нравилось слушать рассуждения о вопросах нравственности, затрагивающие понятия добродетели и героизма[29]. В Риме времен Республики можно говорить о развитой культуре слова. Вот объявлен оратор, публика обращается во внимание[30] – и именно вкус, понимание, культура слова стимулирует того, кто произносит

речь. Много раз Цицерон дает понять, что понимание публики воодушевляет его, и он с радостью вставляет в речь остроумные пассажи. Оратор знает, как ему понравиться публике. Однако сам этот факт предполагает, что ему постепенно внушаются модные выражения, подсознательно или осознанно выбранные публикой.

В любом случае не стоит думать, что реакция публики сводилась исключительно к сентиментальным сентенциям и внешним проявлениям, острым словечкам, осанке и манерам оратора... Публике не все равно, что слушать. Не будем повторять то, что уже говорилось ранее о проникновении греческой культуры в Рим, однако следует вспомнить, что через какое-то время восторги поутихли, и римляне стали с недоверием и даже враждебностью относиться к грекам и их языку. Плавт в какой-то степени обязан своим успехом тому, что он смеется над греками и льстит национальному самосознанию. Прогрессирующее проникновение греческой культуры в народные массы происходило очень медленно, в основном за счет предвзятости образования и ученичества латинской культуры на первой стадии ее развития. Это проявляется и в моде, и уже нашло свое отражение в поэзии, к которой столь трепетно относился Август. Грамматики играют не последнюю роль в эволюции этой поэтической мании. Они обучают детей мифам и легендам с большим количеством ненужных деталей и обременяют юные головы спорной эрудицией. Именно после таких учителей будущий император Тиберий взял себе в привычку задавать такие пустые вопросы, как сколько гребцов было на корабле Улисса или как звали кормилицу Анхиза. К этим бесполезным упражнениям памяти следует прибавить и поэтические упражнения, в которых юные римляне рисуют блестящие картины священных лесов или сельского пейзажа, где горит костер и бродят несколько свиней[31]. В

том, что молодежь подражает великим поэтам, нет ничего предосудительного. Страшно то, что взрослые слушают своих маленьких херувимов и радуются этим упражнениям... и сами бросаются терзать музу, уверенные, что подражают Вергилию! Эта мода на маленькие поэтические картинки на манер александрийцев имела у публики такой успех, что ораторы, риторы и писатели довели ее до абсурда, вставляя поэтические описания в ущерб смыслу. Классики, как, например, Гораций, пытались бороться с этими «блестящими знаменами»[32], но с малым успехом. Мода на поэзию сказывается на общем качестве литературы. Квинтилиан, учитель риторики, требует, чтобы повествование не перегружали отступлениями, к которым в подражание поэтическим вольностям зовет нас дух...»[33] Петроний не знает меры в борьбе с этим дурным вкусом, который уводит мысль далеко от сути произведения...[34] Молодежь и зрелые люди не отказываются от попыток развить то, что сами они называют своим поэтическим талантом. Впрочем, в их оправдание и в оправдание столь опасной моды нужно сказать, что все образование молодого римлянина строилось на знакомстве с поэтическими текстами, от Ливия Андроника или Энния, национальных поэтов, до Виргилия, не забывая и о Плавте и Теренции. Во времена Августа римскому уху привычны музыка и красноречивые каденции, и ораторы, как и историки, чаще обращались к источникам поэтическим, нежели философским. Латинская культура основана на поэзии, а в эпоху Империи культура входит в моду даже в народе. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто расшифровать каракули, оставленные углем на стенах лавок и кабаков в Помпеях. Е. Лиссбергер распознал в них 58 цитат или имитаций Катулла, 91 — Тибулла, 113 — Проперция, 722 — Овидия, не считая цитат из Вергилия и некоторых других авторов[35]. Эти древние граффити много

о чем могут нам рассказать. Во-первых, получается, что эти поэты были широко известны даже среди низших слоев населения, раз их цитируют наизусть так легко. Во-вторых, можно отметить, что это не те произведения, что изучали в школе. Цитируются в основном любовные песни, что доказывает распространение культурного наследия среди народа и популярность поэзии. Наконец, видно, что мода касалась не столько всей поэзии в целом, сколько определенных поэтов, так как такие большие поэты, как, например, Гораций, не цитируются ни разу. Поэзия Горация была адресована всадникам, а не плебсу. Поэтому для него и не осталось места в коллективной памяти народа. От Тацита нам известно, что произведения Вергилия читались в переполненных театрах и что, если поэт был известен, на него на улицах показывали пальцем и даже следовали за ним[36]. Культура проникает во все уголки новой Империи, и страсть к сочинению стихов добирается и до обитателей самых отдаленных провинций. Многие отправляются в Рим только для того, чтобы увидеть великих писателей[37]. Плиний рассказывает, как в провинции встретил землевладельца, который обсуждал с ним последние новинки латинской и греческой литературы[38]. Можно говорить о новом возрождении моды на книги и библиотеки, несмотря на цену произведения и способ копирования. В течение буквально нескольких лет книга оказывается повсюду, ее берут с собой в путешествие, и изобретаются даже специальные форматы книг[39]! Даже самые бедные покупают себе одну-две книги[40]. А снобизм заставляет богачей собирать как можно больше книг и демонстрировать их посетителям. Так, у необразованного Тримальхиона, раба, ставшего вольноотпущенником и разбогатевшего, по меньшей мере, три библиотеки![41] Учитывая, насколько библиотеки входят в бытовую жизнь Рима времен Империи и светский харак-

тер многих библиотек, неграмотных среди населения остается все меньше. Самые презренные умеют, по крайней мере, читать и писать, за исключением, пожалуй, деревни. И даже среди рабов уровень неграмотности не так высок.

Еще один жанр литературы, кроме поэзии, получает широкое распространение — жанр декламаций. Если первая популярна благодаря грамматикам, то последняя — благодаря риторам. Первая, осознанно или нет, является результатом проникновения греческой культуры в Рим. Истоки ее можно обнаружить в школах. Вторая же, наоборот, развивается на Форуме и является отражением той любви, которую римляне испокон века питали к ораторскому искусству. Страсть к публичным дебатам — отличительная черта Республики. Кампании и выборные ассамблеи, всевозможные процессы... всегда пользовались популярностью в народе, который набивался даже на самые верхние галереи базилик, чтобы послушать речи известных адвокатов. С концом Республики интерес к ораторскому искусству не исчезает, однако место действия переносится в школы и на трибуны. На политической арене места ему больше нет: власть перешла сначала к диктаторам, а потом к императорам. Полученное у грамматика образование в области поэзии не может быть забыто у ритора, и обучение ораторскому искусству молодого римлянина находится под сильным влиянием поэтического языка. Именно по этой причине среди жанров ораторского искусства, получивших распространение в Риме, самым популярным становится азианизм. Мы еще будем говорить о нем в следующей главе. Однако само слово указывает на источник происхождения этого жанра. Существуя в Италии на протяжении достаточно долгого времени, азианизм только в данный момент становится частью ораторского искусства, так как ему не хватает строгости классицизма, он отвергает план

и играет на чувствах слушателей с целью потом нанести удар несколькими максимами, которые им понравятся, вот ключевое слово азианизма – нравиться, трогать. Темы, предлагаемые ученикам для упражнений, всегда апеллируют к жалости слушателя. Их действующие лица – жертвы: дети, рыдающие вдовы или старики, выжившие из разума. Эти темы вызывают бурную реакцию: ребенок, отобранный у мачехи дедом, отец, обвиненный в безумии после того, как заставил свою дочь покончить с собой... Жестокость и ужас ситуации нравились публике, которая не стеснялась смахнуть с глаз слезу в самые трагичные моменты. Отцы семейств, сидя на школьных скамьях, аплодировали сочинениям своих детей. Если верить критикам той эпохи, зачастую темы были абсолютно нереальные, да и отдельные фразы не имели смысла. Успех азианистов заключался именно в ритме и музыкальности их речей. Публика чувствительна к тому, насколько оратор умеет возобновить ее интерес, возбудить ее любопытство. Именно в этом и заключается так называемый колорит. Сенека, будучи ритором, приводил много примеров такого построения речи. Например, тема соперничества между отцом и сыном за военный пост: один считает, что отец занял его, чтобы его сына не предпочли никому другому, другой – что отец вмешался, так как народ не мог сделать выбор между старым военачальником и молодым, третий – что отец хотел избавить сына от тяжести должности, в которой, как он считал, тот неспособен проявить себя, и т.д....[42] В каждом упражнении интрига все продолжается в зависимости от фантазии оратора. Азианизм привлекателен своими убедительными высказываниями (*sententiae*), чье воздействие подчас усиливается повышением голоса и резкими жестами. Подобное проявление чувств приветствуется взрывом аплодисментов. Так, воображение в союзе с чувствительностью, знание формулы и приятный для слуха язык становятся ос-

новными характеристиками успеха определенной категории ораторов, которые скрывают за своей манерой произносить речи явные недостатки собственной культурности. Тем не менее они нравятся публике, которая и вводит их в моду. Их речи не сохранились до нашего времени. Может быть, их значение не было столь важным, чтобы они дошли до потомков. Однако их популярность можно рассматривать как настоящий феномен моды, который, отслужив свое, более не привлекал внимания переписчиков. Цицерон считал, что своей славой они были обязаны исключительно благосклонности народа. Он рассказывает об ораторе Гортензии, увлеченном азианизмом, который не был популярен среди образованных людей, зато восхищал толпу и молодежь. Направленная на современность и рассчитанная на зрительный эффект составляющая речей азианистов поражала в основном тех, кто не разбирался в литературе. Однако их успех позволяет нам сделать вывод о решающей роли публики в пропаганде той или иной тенденции: народ, которому надоели классические формы ораторского искусства, требовал чего-то нового. Нельзя отрицать, что тиранические требования толпы во многом определяли эволюцию литературных течений. Так, Сенека был кумиром молодежи и продолжил новый путь, несмотря на то, что Квинтилиан проповедовал доводы рассудка и искусство Цицерона.

Однако не только учителя и их ученики во времена Империи предавались упражнениям в ораторском искусстве. Люди, разочарованные своей некогда политической ролью, любили произносить речи на какую-то тему ради чистого удовольствия говорить перед собранием и слышать аплодисменты. Этот жанр подготовленной церемонии вызывает к жизни новый вид литературной деятельности, фактически неизвестной во времена Республики. Азиний Поллион в самом начале Империи ввел в моду так

называемые «*recitations*», т.е. публичные чтения. Это милое литературное пристрастие быстро становится важным занятием светского человека, который, прежде чем издавать книгу своих произведений, должен был прочитать свое последнее произведение в кругу избранных друзей, к которым он, естественно, потом сам ходил на такие же чтения. Прошли те времена, когда поэты-однодневки в тени портиков терзали уши случайных прохожих своими творениями. С тех пор как аристократия стала заниматься литературой, ей понадобилась особая церемония в соответствии с их социальным статусом. Конечно, в течение всего последнего века до н.э. существовала традиция чтений в маленьком кругу, предназначенных только для близких друзей. Чаще всего это происходило после совместной трапезы, в той же комнате. Других чтений Гораций и не признавал[43]. Однако снобизм и мода требовали установления другой церемонии. Для того чтобы принять у себя «весь Рим», необходимо было прежде всего разослать всем приглашения, а потом предусмотрительно подготовить место для проведения чтений. Больше всего повезло богачам, чьи просторные жилища могли принять всех гостей. Иногда поэту помещение щедро предоставлял его богатый покровитель. Он даже одалживал ему «отпущенников рассадить на последних скамейках» и «громкие голоса из среды приближенных, клиентов». Однако бедному поэту необходимо было обеспечить соответствующую обстановку, мебель, скамьи, подмостки... и вот уже удача, позволившая ему проникнуть в одну из больших усадеб, обходится ему достаточно дорого[44]. Порой приходится снимать специальные залы в городе. В день выступления автор, все предыдущие дни оберегавший горло теплыми шарфами и средствами для полоскания, облачается в свою лучшую тогу и появляется на подмостках с приветственными жестами и улыбкой. Он разворачивает свой манускрипт и приступа-

ет к чтению. Если сам он читает плохо, то он может прибегнуть к услугам своего раба или вольноотпущенника, как, например, Плиний, который тем не менее волнуется, как ему самому вести себя во время чтения: «Сидеть ли мне пригвожденным, немым и безучастным или, как некоторые, подчеркивать то, что он будет декламировать, — шепотом, взглядом, жестами»[45]. Плиний считает, что подобные чтения помогают услышать полезную автору критику от слушателей и что даже сам страх, что автора поправят, должен помочь ему избежать многих ошибок. Однако кто будет критиковать его? Во всем этом кроется определенная доля лицемерия. Кто же будет отпускать вам суровые замечания — пусть и заслуженные, — если каждый из приглашенных жаждет в свою очередь пригласить вас на чтение собственных стихов и подспудно жаждет ваших похвал? К тому же эти чтения происходят слишком часто, и быстро становятся похожи на надоедливую светскую повинность. К услужливым крикам восхищения (в основном от тех, кому за это заранее заплатили) прибавляется вопиющее равнодушие остальных. Обратимся к Плинию, который является привилегированным гостем подобных чтений: «Большой урожай поэтов в этом году; в апреле не было почти ни одного дня без публичных чтений. Я радуюсь оживлению литературной деятельности и выступлениям талантливых людей, публично о себе заявляющих. Слушатели, однако, собираются лениво. Большинство сидит в портиках, тратит время на болтовню и время от времени приказывают сообщить себе, вошел ли чтец, произнес ли вступление, свернул ли уже значительную часть свитка. Только тогда они собираются, и то медленно, с задержками, и уходят, не дожидаясь конца, — одни тайком и прячась, а другие свободно, без стеснения»[46]. Конечно, нужно отличаться завидным терпением, чтобы не испытывать отвращения к работе и чтению перед лицом «пренебрежи-

тельного равнодушия слушателей». Конечно, подобное отношение объясняется незначительностью самого автора. Если речь идет о чтениях действительно великого писателя Империи, зрители будут восторженно внимать каждому его слову до самого конца, прерывая криками восхищения и одобрения, как умеет только римская публика. Социальные обязательства отражаются и в утомительности публичных чтений. Плиний в одном из писем упоминает свое негодование, когда на чтениях одного его друга слушали только два-три человека. Он считает, что подобное отношение — глупость и дерзость. Зачем «тратить целый день на то, чтобы обидеть и оставить врагом того, к кому пришли, как к близкому другу»? Не стоит выказывать свою зависть — завидует слабейший. Аплодировать нужно в любом случае: «Если он выше и недостоин похвалы, то и тебя нельзя похвалить; если он ниже и равен тебе, то ты заинтересован в том, чтобы человек, которого ты обогнал или которому равен, казался очень значительным». И сам для себя Плиний делает вывод: «Я привык почитать и даже восхищаться всеми, кто хоть немного успел в умственных занятиях»[47]. Что он и делает, как свидетельствует другое письмо, в котором он рассказывает, как был на чтениях молодого Кальпурния Пизона. Стихи «нежные, текущие плавно и без запинок», вариации тем и приятные модуляции голоса, застенчивость чтеца, который постоянно заливался краской, — все доставило ему величайшее удовольствие. После окончания чтений он расцеловал юношу, похвалил его элегии поздравил его мать и брата[48]. Отношение Плиния свидетельствует в его пользу, однако сколько людей, равных ему по званию, могли так же продемонстрировать свою искренность, честность и справедливость?

Не все получают удовольствие от новой моды на публичные чтения. Она превращается в очередное обязательство этикета для людей, принадлежащих к определенному

кругу. Каждый, кто хочет поддержать свое положение, должен идти на поводу у этой моды. На самом деле эти светские условности касались исключительно небольшой группы населения. Это, конечно, не значит, что народ не знал и не ценил других форм публичных чтений. В ту же эпоху, т.е. с начала эпохи Империи, появляются настоящие литературные праздники, которые имеют большой успех. В театрах читают произведения таких известных авторов, как Вергилий, и охваченная энтузиазмом толпа устраивает поэту – даже в его отсутствие – настоящую овацию. Это соответствует тому, что мы уже обсуждали выше, – расцвету моды на поэзию во времена правления Августа. Появляются литературные соревнования, которые превращаются в имперский институт литературы. Они существовали в Греции и Малой Азии, и военачальники времен конца Республики вполне могли на них присутствовать. Нам известно, что Нерон благоволил к этой моде и учредил конкурс Нерона – Неронианы. Популярность этих интеллектуальных игр заставила императора Домициана построить стадион и одеон (там, где теперь находится *Piazza Navona*), на которых проводились атлетические соревнования, и устроить конкурс поэзии на греческий манер. Мир претерпел значительные изменения со времен первого знакомства с греческой культурой, когда народ презирал эти глупости, столь противоречащие исконно римским ценностям. Однако именно иностранное влияние мало-помалу и изменило вкусы населения, и мода в конце концов изменила менталитет.

Популярность чтения поэтических произведений в театрах и одеонах объясняется прежде всего тем, что они являлись своего рода учебными заведениями для народа и открывали широким массам доступ к культуре. Наряду с этим они позволили распространить литературные произведения среди разных социальных классов, которые иначе

не смогли бы ознакомиться с достижениями поэзии. Таким образом, латинская литература своим расцветом и распространением обязана многим политическим, экономическим и социальным факторам, среди которых важную роль сыграла и мода. Прежде всего это иностранное влияние, в основном греческое, на которое ориентировались аристократы времен Республики, богатые люди Империи и императоры, однако это и тот прием, который литературе оказывал народ, пусть и не образованный, но живо интересующийся различными формами искусства. Как показывают программы первых имперских конкурсов в I в. до н.э., публике больше всего нравились чтения поэтических произведений и упражнения в красноречии. Эти две дисциплины заслуживают того, чтобы мы остановились на них поподробнее, чтобы лучше понять на конкретных примерах, какую роль сыграла мода в их развитии.

Глава IX

МОДА И ЛИТЕРАТУРА (два примера: поэзия и риторика)

Не всегда легко увидеть, насколько мода определила расцвет нового литературного жанра. Тем не менее без этого участия обходится редко — в большинстве случаев предполагается, что писатель заботится о том, чтобы отличиться от других и приобрести известность. Мода — это в некотором роде коммерческая сторона отношений между автором и его читателями, и для привлечения аудитории в ход идут все ухищрения, от провокации до обольщения. Произведение не может быть полностью отрезано от публики, которой оно адресовано: либо оно вписывается в течение, следующее некой моде, либо резко выделяется на общем фоне и в таком случае может породить новую моду. Ибо произведение, не породившее желания подражать себе, вскоре исчезает и предается забвению. Развитие поэзии в Риме знало много решительных поворотов, блестящих творений, породивших вокруг себя скандал, но и открывших новые пути. Одного примера будет достаточно, чтобы попытаться уловить мимолетное присутствие моды в поэзии эпохи Республики.

Чуть раньше середины I в. до н.э. сформировался круг молодых поэтов, называемых «*poetae novi*», «*neoteroi*» (неотерики), т.е. новые поэты, новаторы. Это Лициний Кальв, Гельвий Цинна, Корнифиций... Часто мы знаем лишь их имена и несколько фактов, сообщаемых современниками. Но в их числе был и более известный поэт, чьи произве-

дения дошли до наших дней – Катулл, молодой веронец, попавший в Рим в возрасте восемнадцати лет. Рекомендации, данные отцом, позволили ему посещать высшее общество того времени. Была известна его страстная любовь к богатой красавице Клодии. Выше уже шла речь о свободной – по мнению некоторых, распутной – жизни этой молодой женщины, заботящейся о том, чтобы всегда оставаться законодательницей моды. Молодые поэты требуют права принадлежать своей эпохе, когда роскошь покоренного Востока изменила традиционный римский менталитет. Они хотят пользоваться всеми удовольствиями, которые дарит новая жизнь, наслаждаться свободой любви... и видеть признание своего таланта. Можно представить себе душевное состояние юноши, подобного Катуллу, прибывшему из своей отдаленной провинции в столицу мира. Он ослеплен роскошью, ему обеспечен материальный комфорт со стороны тех, кого он посещает, и моральная поддержка его соотечественников, встреченных в этом огромном городе, и он хочет обрести женщину, в которую он влюбился, когда однажды вечером она остановилась у него вместе с мужем. Он жаждет жить, любить, наслаждаться, и, поскольку вино всегда порождало вдохновение поэтов, а братство питало их амбиции, вместе с друзьями он решает отличиться, найти новую эстетику и новые размеры, чтобы выразить себя. Движение «новых поэтов» явилось на свет спонтанно, порожденное чувством товарищества, с твердым намерением порвать со строгостью классицизма, безличной и холодной важностью его поэтов, с суровостью его морали. Они хотят забавляться, шутить, впустить в свои стихи фантазию, выражение своих чувств, своего негодования, радостей и страстей... Ради этого они не останавливаются перед превышением чувства меры. Нужно шокировать всех этих формалистов, хранителей традиции, которая кажется им мертвящей и окостеневшей. Переме-

ны настроения быстро уступают место энтузиазму молодости, готовой, как в любую эпоху, воздвигнуть на развалинах прошлого храм, посвященный новизне. Но, чтобы произведение было долговечным, оно должно быть продумано и выстроено. Неотерики стремятся к чистоте форм. В этот период латинская поэзия больше не нуждается в выспренности речи, в помпезности, в возвышенной мысли. Предшественники уже снабдили ее всем этим, а поэты и трагики со времен Ливия Андроника и Энния возвели поэзию в ранг благородного искусства. Напротив, ей не хватает большего метрического разнообразия, утонченности, простого и непринужденного изящества. Вот уже два века греки иронически наблюдают за безнадежными, на их взгляд, усилиями победителей, которые увезли в Рим столько книг, столько библиотек... И все это лишь для того, чтобы создать торжественную поэзию, которая в эпоху новых нравов кажется скучной и напыщенной. Дайте место чувствам! Но еще нужно найти новую эстетику, которая упростила бы их выражение. С этой целью Катулл и его друзья обращаются к поэтам, которые в свое время также решили повернуться спиной к классицизму и создать новый жанр: это поэты-александрийцы.

В III в. до н.э. Александрия была центром Средиземноморья. Мы уже имели возможность описать этот великолепный многонациональный город, богатеющий за счет всех торговых сделок, совершавшихся в его портах. Среди грандиозных дворцов и в садах построены многочисленные библиотеки и знаменитый Музей, где собраны древнейшие рукописи, которые хранит и изучает множество ученых, чей труд оплачивают просвещенные властители. В этом культурном заповеднике также создаются новые произведения, написанные выходцами со всего восточного Средиземноморья и породившие литературное направление, названное александрийским или эллинистическим.

Всюду правит эрудиция, и целая армия филологов принимается за работу над рукописями древних писателей, исправляя ошибки копиистов и переделывая изначальные выражения авторов. Они составляют учебники по лексике и грамматике, сверяют редкие термины, которые впоследствии с удовольствием будут использовать новые поэты. Александрийские поэты пишут разнообразные произведения: гимны, элегии, эпиграммы... или трактаты по астрономии, но все едины в своем стремлении обновить греческую поэзию. Их легко узнать по утонченному и светскому характеру их творчества, по вкусу к эрудиции, по любви к живописному. Они стремятся удовлетворить новую публику, просвещенную, охотно вступающую в сговор с автором и находящую удовольствие в расшифровке скрытых смыслов. Поэзия находится в гармонии с тем новым миром, в котором развивается александрийское общество: утонченность, изысканность, культура и эрудиция – все это следствия необыкновенного обогащения города Птолемеев. Вот почему поэты не занимаются больше сочинением неимоверно длинных эпопей (Аполлоний Родосский является здесь в некотором роде исключением). Они предпочитают небольшие стихотворения, бьющие в точку, тщательно обработанные, где каждая строка как будто многозначительно подмигивает просвещенным знатокам. Нужно отметить одного из этих литераторов, к которому в той или иной степени обращались все латинские поэты: это Каллимах. Без сомнения, он наиболее значителен в глазах потомков благодаря эрудированности своих стихов, насыщенности мысли и высоким требованиям к самому себе. Он сочинял официальные произведения – «Гимны», писавшиеся по особо торжественным случаям, но его шедевром считаются «Истоки» («*Aitia*»), где в форме коротких, искусно построенных стихотворений излагается множество легендарных сюжетов. Именно благодаря «*Aitia*» он

сохранил свою известность. Греки и римляне вдохновлялись его утонченными стихами и вскоре возвели автора на один пьедестал с величайшими классиками. В своих «Эпиграммах» он нашел место и личным чувствам, воспевая любовь, дружбу и печаль, о чем вспомнят «новые поэты» в век Цицерона. Не так хорошо известен тот факт, что Каллимах не ограничивался поэзией. До нас дошли названия его трактатов по истории, географии, мифологии, словарей и трудов по лингвистике, а также полемических произведений о теориях литературы, которые позволяют нам увидеть соперничество и борьбу различных школ в литературном мире. Такое изобилие позволяет представить себе, каким исключительным человеком был Каллимах и как богата была александрийская литература в эту эпоху.

Век спустя все уже не так. Мир изменился, Рим пришел в Грецию, затем на Восток, и литература в столице Лагидов переживает явный упадок. Правители больше не обладают необходимым спокойствием духа, чтобы предаваться беспечным играм в эпиграммы. Кроме того, Птолемей VII проявляет себя жестоким деспотом, которому важнее наполнить свой живот, впрочем, действительно огромный, чем покровительствовать поэтам. Легенда гласит, что он был так тучен, что за тридцать лет своего царствования вышел из дворца только один раз — по случаю визита Сципиона Эмилиана в 143 г. до н.э. Римлянин ради забавы шел быстро, заставляя толстого монарха бежать, и, как говорят, заявил, что это было главным благодеянием его визита для александрийцев, — они увидели, как их царь ходит! Музей ничего не представляет из себя после смерти Аристарха, несравненного библиотекаря, и Птолемей соглашается вернуть ученых, бежавших от александрийского Нерона. Мало-помалу возрождается литературная и философская деятельность, но поэты не возвращаются.

Многие литераторы удалились в Пергам. В этом городе, культурном сопернике Александрии, Атталы так же взращивали любовь к литературе, как и Птолемеи, и владели роскошными библиотеками. Но и Пергам оказывается неспособен удержать поэтов. Идет середина II в. до н.э., и Рим уже пришел в Малую Азию. В 133 г. до н.э. последний из Атталов завещает свое царство римскому народу. Так, римское завоевание, с одной стороны, и преследования Птолемея VII – с другой, понемногу расшатали литературную жизнь Востока и изгнали александрийских поэтов из их академий. В то время как ученые возвращаются в Египет, грамматики, философы, художники и поэты рассеиваются по всему Средиземноморью в поисках островов или городов, которые могут предложить им убежище. Таким образом некоторые из них оседают в качестве учителей на юге Италии, в частности в самом греческом из крупных городов полуострова – Неаполе. Оттуда они перебираются в Рим.

Преподавали ли эти учителя александрийской школы своим юным ученикам последние творения писателей эпохи эллинизма? Скорее всего, нет. Еще до прискорбных событий, заставивших писателей отправиться в изгнание, в Александрии было принято решение касательно преподавания литературы: прекратить выделять в ней две эпохи – от истоков до смерти Александра, с одной стороны, и после смерти великого завоевателя – с другой[1]. Таким образом, учителя не преподают ученикам произведения своих современников и слишком новых авторов, словно желая сначала предоставить возможность потомкам сформировать о них суждение. Кроме того, в Риме эти современные поэты считаются опасными для нравственности. Многие среди них уделяют слишком большое внимание личным чувствам, любви, фривольным похождениям. В то время как юным римлянам в раннем отрочестве следует изучать

иные предметы, нежели любовные элегии. Греки пользуются слишком плохой репутацией, и слишком много стихотворений побуждает к разгульной жизни. Квинтилиан, преподававший уже в первые годы Империи, все еще подчеркивает необходимость отбора не только авторов, но и произведений. Нужно избавить детей от элегий, по крайней мере до определенного возраста. Учителя, счастливые уже тем, что в изгнании могут хорошо зарабатывать на жизнь, остерегались задевать эти моральные принципы и рисковать быть высланными, тем более что недостатка в учителях не испытывалось и конкуренция была весьма активной.

Тем не менее если ученики и не изучают тексты александрийских авторов, это не значит, что учителя никогда о них не говорят. Тем более что, как мы уже говорили, в Риме рано начинает распространяться мода на даровую эрудицию. Преподавателей засыпают праздными вопросами, на которые они должны отвечать, если хотят сохранить уважение хозяев. Таким образом, посредственные умы получают ценный и почти неисчерпаемый источник для удовлетворения неуместного любопытства в области мифологии — александрийскую поэзию, где эрудиция авторов превращается в кладезь сведений. Так что в школе если и не учат целиком стихотворения этого времени, то проглатывают неисчислимое количество отрывков и цитат, служащих для объяснения более древних произведений. А где же еще можно узнать, сколько кувшинов вина царь Сицилии дал троянцам?[2] Учителя продолжают развивать александрийскую любовь к комментариям, и ученики знакомятся со множеством имен современных поэтов, которые с течением времени мало-помалу превращаются в древних.

Итак, проследим жизненный путь юноши, увлеченного поэзией, в начале I в. до н.э. До шестнадцати лет он изу-

чал древних авторов с учителем грамматики. Он также слышал о современных александрийских поэтах, но знакомство с ними ограничивается мало удовлетворяющими его цитатами — ведь ему известно, что этих авторов считают вредными для нравственного воспитания его юной личности. Это лишь возбуждает его любопытство. Затем ему предстоит пройти курс у ритора и научиться декламации. Наконец, если он продолжает учиться, философ преподает ему искусство размышлять и рассуждать. Освободившись от школьной программы, он может вернуться к своей первой любви — поэзии. И вот он берет в руки произведения тех самых поэтов, которых называют скандальными, и, конечно же, обнаруживает совсем иное, нежели то, что он учил в классе у грамматика. И сквозь ученые комментарии, которыми охотно занимались его учителя, он чувствует, как в нем пробуждаются жгучие страсти, вызванные к жизни непосредственным, без цензуры, контактом с текстом. Полутаинственное очарование запрещенных стихов приводит к подобию озарения. Нашему юному поэту семнадцать или восемнадцать лет, и он позволяет Аполлону вдохновлять себя. Катуллу и Тибуллу нет и двадцати, когда они начинают писать, Проперций едва сменил детский золотой шарик на шее на взрослую тогу[3], а Овидий адресует любимому человеку стихи в подражание Каллимаху, когда лишь раз или два побрил бороду. Вергилий немногим старше в то время, когда получает признание как ученик Феокрита. Для всех этих молодых поэтов александрийцы тем в большей степени символизируют современность, что описанное в их стихах соответствует рождающемуся новому обществу: женщины становятся более свободными, более образованными, и литературные кружки вокруг них принимают тех, кто остроумно дразнит музу самыми фривольными и смелыми темами. Клодия Катулла (которую в стихах он называет Лесбией) и Цинтия Про-

перция входят в число этих модных молодых женщин, читающих элегии Каллимаха. Завоеватели Востока привозят в Рим целые библиотеки, как Помпей, извлекший из собрания Митридата интересующие его труды. А александрийцы действительно интересуют римлян — они воспевают наслаждение и воплощают новизну. Раз они в моде при дворе эллинистических монархов, они должны быть в моде и в Риме. Наш юный поэт пользуется успехом, посещая богатые дома, — его просят развлечь собрание несколькими стихами наподобие восточных дворов, где греческие поэты очаровывали владык. Он становится наследником александрийских поэтов. И, верх иронии судьбы, в домах великих мира сего он встречает и своих учителей, которые в школе толкуют только древних авторов, но в высшем обществе возвращаются к первоначальному своему призванию и продолжают традиции Феокрита и его современников, декламируя под портиками язвительные или томные стихи, нравящиеся изысканному обществу того времени. Вот Филодем, завсегдатай дома Кальпурния Пизона, философ-эпикуреец, но порой и поэт вопреки наставлениям хозяина Сада, восклицает в чистейшей каллимаховской манере, отплывая в Афины: «О Меликерт, сын Ино, и ты, лазурная Левкотея, владычица Океана, милостивая богиня, волны, сонм Нереид, и ты, Нептун, и ты, Зефир Фракийский, мягчайший из ветров, будьте ко мне благосклонны...»[4] Самым популярным поэтам покровительствуют известнейшие люди: Феофан из Митилены, которого считают самым выдающимся из греков[5], — клиент Помпея, Юлий Полиен с Сардинии — Цезаря. Парфений из Никеи, современник Цицерона, попал в плен во время войны с Митридатом и был привезен в Италию. Получив свободу, как когда-то Ливий Андроник, он открывает школу в Неаполе около 50 г. до н.э. Среди учеников этого последователя Каллимаха и знаменитого автора элегий есть хрупкий

юноша, чье имя впоследствии станет известно всем, — Вергилий. Таким образом все грани александрийской поэзии после долгого пути приобретают уважение в Риме времен конца Республики, и латинские поэты оказываются прямыми наследниками эллинистической школы. Элегии, эпиграммы, эпические и дидактические поэмы... не представлен только один жанр — лирический, которого сами александрийцы избегали, видимо, полагая, что невозможно подражать Пиндару, и потому греческие учителя не могли преподать его римлянам.

Итак, когда Катулл с друзьями открывают дорогу «новаторам», эллинизм уже не является в Риме новшеством, даже если греческие учителя не так давно появились в столице. Ливий Андроник и Энний — первые великие имена латинской литературы — выходцы из провинций, тесно связанных с Александрией через национальность, язык или обычаи. Если не считать местного диалекта, немного провинциальной роскоши и не столь активного следования моде, любой александриец не так явно чувствует себя чужим в Таранте в 250 г. до н.э., как если бы он оказался в Афинах времен Перикла. Если бы случай помог, Ливий Андроник вполне мог бы быть лично знаком с Каллимахом. Форма первых латинских стихотворений архаична, но не мысль, и уже появляются новые интонации и мысли. Кроме того, нам известно, что Энний прекрасно знал александрийских поэтов и, помимо заказываемых ему официальных произведений, не пренебрегал маленькими жанровыми сценками в александрийском стиле, а также в некотором роде ученой поэзией. Например, его перевод дидактического произведения сицилийского поэта под названием «Лучшие куски» своего рода гастрономическое кругосветное путешествие: «Нигде морского черта не сравнить с тем, что ловят в Клупее. Омары в изобилии водятся в Эне, устрицы — в Абидосе. Голуби есть в Митилене, Харадре и Амбракии, кефаль — в Бринде... Знай, что луч-

шая барабулька — из Таранта. В Сорренте следует покупать осетра; горбыля бери в Кумах. Но что это! я умолчал о дроздах, о меланурe, о хариусе и о рыбе попугае, подобной, если я осмелюсь сказать, мозгу великого Юпитера...» Незначительность сюжета весьма далека от националистических проблем зарождающейся латинской поэзии! Таким образом, «новые поэты» не первые черпали вдохновение у александрийцев, но они впервые сделали это открыто, защищая права поэзии, которую хотели скрыть от их юных умов, и заявляя о введении ее в моду. Катулл объявляет себя «потомком Баттоса»[6].

Нововведения Катулла могут быть сведены к трем главным пунктам: тщательный отбор лексики, менее тяжеловесной, нежели в традиционной поэзии, способной удовлетворить любого пуриста и одновременно передать все оттенки чувств; забота о простой композиции, поддерживающей любопытство читателя различными приемами, такими, как обрамление, неожиданность высказываемых точек зрения и многообразие тем; наконец, поиск разнообразных и отточенных размеров. Таким образом он намерен создать выразительную поэзию, пригодную и для дружеского, и для светского круга. Он охотно переводит и пересказывает стихи Каллимаха (или других авторов), как, например, в знаменитом 66-м стихотворении о волосах Береники, где локоны волос скорбят о том, что покинули королевское чело, или в стихах, где Аттис оплакивает свою несчастную судьбу[7]. Выбор сюжета очень точно рассчитан: в нем сочетается эротизм и причудливость восточных религий, которые в то время в моде. Любимец Кибелы изображен нежным мальчиком утонченной красоты, с белоснежными руками и розовыми устами (стихотворение 63, 8 и 74), и принесение своего мужского начала в жертву богине придает ему облик существа неопределенного пола. Вначале поэт употребляет по отношению к нему мужские окончания, но затем переходит к женским. Аттис подобен

одному из тех прекрасных юношей, которых художники рисуют на вазах, изображая момент из некоего действия. Именно так можно представить юного Аттиса, только что оскопившего себя*:

> И тотчас узрев, что тело без мужских осталось примет,
> И что рядом твердь земная свежей кровью окроплена,
> Белоснежными руками Аттис вмиг схватила тимпан,
> Твой тимпан, о мать Кибела, посвящений тайных глагол,
> И девичьим пятиперстьем в бычью кожу стала греметь,
> И ко спутникам взывая, так запела, вострепетав...[8]

Катулл обретает эмоциональную теплоту Каллимаха, как, например, в эпизоде, где александрийский поэт описывает маленькую Артемиду, сидящую на коленях Зевса: «Закончив говорить, она потянулась к подбородку отца, но напрасно простирала руки, изо всех сил пытаясь достать его. Ее отец склонил голову, улыбнулся и сказал, лаская ее: «Пусть богини всегда дарят мне таких детей!»[9] Одна и та же забота о точной детали, лишенной велеречивости, но самим своим присутствием передающей какое-то чувство, какое-то настроение, присуща и Каллимаху, и Катуллу.

В лирическом жанре Катулл, как и александрийцы, не намерен состязаться с Пиндаром. Как и они, он обращается к опыту архаических поэтов, Сапфо или Анакреона. Он даже полностью переводит строфу Сапфо в начале знаменитого 51-го стихотворения, где описывает поразившую его любовь к прекрасной Лесбии-Клодии. Далее, он заимствует у поэтессы с Лесбоса описание симптомов влюбленности. Она писала: «Потом жарким я обливаюсь, дрожью // Члены все охвачены, зеленее // Становлюсь травы, и вот-вот как будто // С жизнью прощусь я...»[10] Он пишет: «Лесбия, едва лишь тебя увижу, – // Голос теряю, // Мой

* Здесь и далее стихи Катулла в пер. С. Шервинского

язык немеет, по членам беглый // Заструился пламень, в ушах заглохших // Звон стоит и шум, и глаза двойною // Ночью затмились» (51, 7–12). Удивительно, что Катулл немедля спохватывается и упрекает сам себя в излишней страстности. Он заявляет, что причина его порыва – праздность. Возможно, это служит дополнительным подтверждением истинности его чувств, высказанных древними выражениями, или же считается подобающим римлянину после эмоционального порыва, о котором не принято кричать на всех перекрестках. Та же двойственность странным образом снова появляется в 11-м стихотворении, которое повествует о разрыве с Лесбией. Это единственные два стихотворения, написанные сапфической строфой, и между ними разворачивается целая история любви поэта к этой роковой женщине. Стихотворение начинается спокойно и не содержит ни слова о своем предмете или о страданиях поэта – речь идет о двух друзьях, готовых, кажется, последовать за ним на край света, и Катулл пользуется этим, чтобы пуститься в ученое перечисление географических названий в чистейшей александрийской манере: друзья последуют за ним, окажись он «или у гиркан, иль арабов нежных, // Или саков, иль стрелоносных парфов, // Или там, где воды окрасил моря // Нил семиустый...» Затем Катулл разражается беспредельно жестокими проклятиями:

> Сладко пусть живет посреди беспутных,
> Держит их в объятье по триста сразу,
> Никого не любит, и только чресла
> Всем надрывает...[11]

Подобная поэзия не могла не шокировать не только отсутствием умеренности, но и выбором тем, а также решительно новой для латинянина эстетикой. Это значит, что жизнь «новых поэтов» не всегда легка. Им нужно поддер-

живать друг друга и стоять единым фронтом против своих соперников:

«Смирну», поэму свою, наконец мой выпустил Цинна...
«Смирну» везде разошлют, до вод глубоких Сатраха
Свиток ее развивать будут седые века.
А в Падуанском краю Анналы Волюзия сгинут
И на рубахи пойдут тамошним карпам речным.
Будь же в сердце моем необъемистый подвиг поэта...[12]

Упомянутые «Анналы» Волюзия Катулл в другом месте обзывает «*cacata carta*»[13], что в переводе не нуждается[14]. Катулл может быть безжалостным, а его ирония — едкой, когда, например, он нападает на Цицерона, который не любил его, не в последнюю очередь потому, что сам поглядывал на красавицу Клодию. Катулл именует его «самый Ромула внук красноречивый» и называет себя «изо всех поэтов худший» так же, как тот «из всех... патронов самый лучший»[15]. Подобные литературные нападки не так уж неприятны Катуллу, который со всем пылом юности рвется в драку. И дерется — своими стихами. Во всем этом есть нечто от игры, от спортивного духа соперничества, которое составляет часть его образа и которым нельзя пренебрегать. Прежде всего Катулл — юноша, полностью поглощенный сочинением стихов. Его друзья слеплены из того же теста, и 50-е стихотворение прекрасно показывает нам, в какой атмосфере зачастую творили эти «новые поэты».

На досуге вчера, Лициний, долго
На табличках моих мы забавлялись,
Как утонченным людям подобает,
Оба в несколько строк стихи писали,
Изощрялись то в том, то в этом метре,
На вино и на шутки отвечая.
Я вернулся домой, твоим, Лициний,

Остроумьем зажжен и тонкой речью,
Так, что, бедный, к еде не прикасался,
Даже глаз не сомкнул мне сон спокойно:
Весь я словно горел, всю ночь в постели
Провертелся, скорей бы дня дождаться,
Чтоб с тобой говорить, чтоб быть нам вместе.
А потом, когда телом истомленным
На кровати лежал я полумертвый,
Это, милый тебе сложил посланье;
Из него о моих узнаешь муках...[16]

Своеобразная поэтическая лихорадка в сочетании с особенностями непрерывно меняющегося общества, светские игры юношей, свободных от всякой ответственности, и женщин без предрассудков — вот что побуждает Катулла ввести литературную моду, произведшую настоящий скандал: моду на короткие стихотворения на случаи, затрагивающие незначительные темы повседневной и чувственной жизни, но порой содержащие в себе жестокую сатиру. По выражению самого Катулла, это «*nugae*», «*ineptiae*», «*facetiae*», «*versiculi*», т.е. «безделки», пустяки, шутки, вздор, «стишки», — нечто внешне незначащее, даже если эти стихи требуют дарования и труда, а их автор вовсе не желает, чтобы назавтра они оказались забытыми[17]. Вряд ли здесь можно говорить о поэтическом жанре, равном эпопее, трагедии или элегии. Скорее, это легкая поэзия, изящная и остроумная, несущая в себе непринужденную атмосферу салонных бесед. Такие стихи — живые, блестящие, порой малопристойные, их ритм близок к прозе. Серьезные люди могли лишь снисходительно и презрительно поглядывать на эти «пустяки», недостойные римского гражданина — в крайнем случае ими можно было непринужденно развлечься вечером, когда закончен пир и немало выпито. Столкновения на Форуме еще слишком бурны, а римская культура слишком молода и подчинена правилам, чтобы

аристократия могла счесть искусством эти бесполезные забавы, которые претендуют на какое-то значение, несмотря на то, что называются «безделками».

Катулл и его друзья держались стойко, им хотелось приобщить римлян к этой поэтической форме и ввести ее в моду. И им это удалось, так как впоследствии высшее общество увлеченно предастся этому занятию, и не только писатели, в частности Овидий и Марциал, но и важные государственные деятели, такие как, Меценат или Плиний Младший, не сочтут его недостойным. Речь идет о легкомысленных и безыскусных коротких посланиях, адресованных друзьям или недругам, то любезных, то изящных, но иногда насмешливых или непристойных. Они повествуют об отъездах и возвращениях, ссорах и примирениях, восхвалениях и упреках, насмешках, свадьбах, приглашениях на ужин, любовных забавах... Словом, обо всем, что может быть противопоставлено римской «*gravitas*». Их объединяет размер, используемый поэтом, — гендекасиллаб, или одиннадцатисложник. Из первых шестидесяти стихотворений в сборнике Катулла сорок два написаны гендекасиллабом — это достаточно говорит о значении, которое поэт придает этому новому для Рима размеру. Но этот род поэзии изобрел не Катулл. У него очень древние корни, он популярен, поскольку встречался в греческом театре. Первые лирические поэты, Анакреон и Сапфо, также использовали его. И все же «новые поэты» снова обращаются в поиске образцов к александрийцам. Эти стихи идеально подходили к утонченной атмосфере эллинистического общества, к литературной полемике различных кружков. Они удовлетворяли любовь к немного вычурному слогу, к мнимой простоте, к отточенному стиху, изъясняющемуся намеками или загадками. Катулл лишь ввел в Риме александрийскую моду. В самом деле, этот род поэзии был так популярен в египетской столице, что гендекасиллаб стал там называться фалехийским стихом по имени александрийского поэта

Фалеха, особенно предпочитавшего этот размер. В Риме, в творчестве «новаторов», мы снова встречаем эти утонченные и остроумные наброски, маленькие жанровые сценки, которые так любили эллинистические поэты. Если говорить о наиболее известных, невозможно удержаться, чтобы не процитировать стихотворение, где Катулл рассказывает о воробушке своей возлюбленной и за которым чувствуется некий образец, принадлежавший, возможно, Каллимаху.

Плачьте, о Купидоны и Венеры,
Все на свете изысканные люди!
Птенчик умер моей подруги милой,
Птенчик, радость моей подруги милой,
Тот, что собственных глаз ей был дороже.
Был он меда нежней, свою хозяйку
Знал, как девушка мать родную знает.
Никогда не слетал с ее он лона,
Но, туда и сюда по ней порхая,
Лишь одной госпоже своей чирикал.
А теперь он идет дорогой темной,
По которой никто не возвращался.
Будь же проклят, о мрак проклятый Орка,
Поглощающий все, что сердцу мило, –
Ты воробушка милого похитил!..
О слепая судьба! О бедный птенчик!
Ты виновен, что у моей подруги
Покраснели от слез и вспухли глазки![18]

Другое стихотворение подхватывает давнюю эллинистическую тему поцелуя:

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики – за весь их ропот
Мы одной не дадим монетки медной!
Пусть заходят и вновь восходят солнца, –

Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста.
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет, чтоб мы не знали,
Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,
Зная, сколько с тобой мы целовались[19].

Это истинный цвет легкой поэзии. В другом тоне написаны маленькие послания, где гендекасиллабом изливаются огорчения и упреки или же рассказан анекдот или острота. С их помощью мы можем проследовать за поэтом по пути его влюбленности, радостей и горестей. Вот он укоряет друга:

Плохо стало Катуллу, Корнифиций...
Но утешил ли ты его хоть словом?
А ведь это легко и так немного!
Я сержусь на тебя — ну где же дружба?[20]

А вот поэт смеется над уличной сценкой и не может не поделиться впечатлениями:

Презабавная вещь, занятный случай!
Он вполне твоего достоин слуха,
Так посмейся, Катон, вослед Катуллу:
В самом деле, такой забавный случай!
Я мальчишку накрыл: молотит, вижу!
Девку. Я — да простит Диона! — тут же
Твердой палкой своей закончил дело[21].

Зачастую фелахийский стих превращается в боевое оружие, служащее для сведения счетов. Поэт охотно не

скупится на оскорбления. Вот, например, он упрекает бывшую любовницу за то, что она не хочет вернуть его письма, также написанные гендекасиллабом:

Эй вы, гендекасиллабы, скорее!
Сколько б ни было вас – ко мне спешите!
Иль играется мной дурная шлюха,
Что табличек вернуть не хочет ваших.
Ждет, как вы это стерпите...
Так кричите опять, кричите громче:
«Дрянь вонючая, отдавай таблички!
Отдавай, дрянь вонючая, таблички!»[22]

Если Катулл нападает на женщину, она превращается в настоящее лекарство от любви:

Здравствуй, дева, чей нос отнюдь не носик,
Некрасива нога, глаза не черны,
Не изящна рука, не сухи губы,
Да и говор нимало не изыскан,
Лихоимца формийского подружка![23]

Его атакам нет конца, и очень часто он переходит на непристойности:

Голова у Отона с черепочек;
Ляжки мост Герей, но по-мужицки;
Воздух портит Либон при всех неслышно, –
Ты и сам бы от них отворотился,
И Суффиций, в котле вареный дважды,
Будешь вновь на мои сердиться ямбы
Недостойные, первый полководец?[24]

Катулл не останавливается и перед нападками на величайших деятелей своего времени, таких, как Юлий Цезарь и его помощник Мамурра:

Славно два подлеца развратных спелись, –
Хлыщ Мамурра и любострастник Цезарь!
Что ж дивиться? Обоих тоги в пятнах –
Тот в столичной грязи, а тот в формийской.
Пятна накрепко въелись, их не смоешь.
Хворь одна у двоих: они – двояшки.
Спят в постельке одной. Учены оба!
В каждом поровну тать и соблазнитель.
На девчонок идут единым строем.
Славно два подлеца развратных спелись![25]

Но великий полководец ничуть не оскорблен – более того, у него хватит хитроумия сделать своим союзником поэта, чей кинжал так остро отточен. Впрочем, эти нападки по сути своей не являются политическими. Катулл снова и снова повторяет их, и сквозь них видно любовное и литературное соперничество, оправдывающее резкие слова. Это лишь излишества юности, не разделяющей чувственную и сексуальную жизнь и поэтическое творчество:

У стихов лишь тогда и соль и прелесть,
Коль щекочут они, бесстыдны в меру,
И легко довести до зуда могут, –
Не ребят, говорю, но и брадатых,
Тех, которым не в мочь и ляжкой двигать[26].

Если римляне старой закалки по-прежнему сопротивляются этой разнузданной поэзии, нужно признать, что надежды Катулла привить в Риме это новое искусство увенчались успехом – очень скоро легкие интонации понравились целой фракции населения, в частности грекам, увидевшим близкие их нации дух и культуру. Благодаря своей простоте эти стихи откладываются в памяти и подхватываются модными певцами. Двадцать лет спустя греческие артисты продолжают исполнять стихи Катулла и отводить ему

лучшее место в своем репертуаре на беду Горацию[27]. Если сравнение здесь возможно, можно вспомнить французскую литературу XVIII века, где импровизированные салонные памфлеты порой приносили авторам больше славы, чем более проработанные, более «классические» произведения, ныне забытые. Сквозь александрийскую традицию народ видит в бесчинствах «новых поэтов» напоминание о сарказме древнейшего латинского театра и ателланы. Но эта поэзия предназначается не любой публике. Традиционная критика ожесточенно сражается с новой модой. Стихи, воспевающие сладость любви и распутство, угрожают развратить нравы добродетельных сынов Волчицы. Они неприемлемы, и «суровые старики» из 5-го стихотворения считают бесстыдными поцелуи, тысячами дающиеся в следующих строках. Но в такой реакции нет ничего неожиданного: введение новой моды предполагает дерзость, желание потревожить, провоцировать, и Катулл вполне сознательно борется с предрассудками римского общества. Его последователи в последние годы Республики и во времена Империи сталкиваются с теми же преградами, несмотря на успех жанра. Плиний Младший, известный человек с серьезной репутацией, ждет годами, прежде чем осмелится опубликовать гендекасиллабы, и реакция не заставляет себя долго ждать. Друзья изумляются, как он мог сотворить такие стихи, он, «человек серьезный»[28]. Тем не менее он позаботился о том, чтобы, представляя их публике, в изобилии окружить себя ораторскими предосторожностями. «Ты, пожалуй, по обыкновению и требуешь и ждешь от меня речи, а я вынимаю тебе, словно из какой-то заморской изысканной покупки, мои поэтические шалости. Ты получишь с этим письмом мои гендекасиллабы, которыми я развлекаюсь на досуге, в повозке, в бане, за обедом. В них я шучу, забавляюсь, люблю, страдаю, жалуюсь, сержусь, даю описания, то сжатым, то возвышенным стилем и самым разнообразием этим стараюсь достичь того, чтобы одно понравилось одним, другое

другим, а кое-что, может быть, и всем»[29]. Более того, Плиний прикрывается авторитетом Катулла и цитирует 16-е стихотворение: «Целомудренным быть благочестивый // Сам лишь должен поэт, стихи — нимало»[30]. Но в этом и дело. Один из друзей пишет ему, что о его стихах ведутся «долгие и обстоятельные» разговоры и что суждения «самые противоположные». Показателен тот факт, что некоторые упрекают его не за содержание произведений, но осуждают уже за то, что он «писал и публично читал эти стихи». Тогда Плиний взывает к здравому смыслу и честности: «Я пишу иногда легкомысленные стихи, да, пишу; я ведь слушаю и комедии... иногда, кроме того, я смеюсь, шучу, играю — я хочу охватить все виды невинных развлечений — я человек»[31]*. Простой ответ Плиния как будто показывает иной поворот ситуации: если во времена Катулла модно было аплодировать гендекасиллабам или самим писать их, в эпоху Плиния этот род поэзии ценится в литературной среде, и теперь модно относиться к нему с презрением. Но если Плиний все еще подвергается столь суровой критике со стороны своего окружения, легко представить, какой скандал могли вызвать эти стихи полутора веками ранее.

Понятно, что Катулла обвиняли в том, что он «живет по-гречески», как говорил Плавт, т.е. в наслаждениях и разгуле. Саллюстий клеймит греков, которых погубили «*amare, potare*», т.е. любовь и пьянство[32]. Катулл не скрывает, что пробовал и то и другое:

> Мальчик, распорядись фалерном старым,
> Наливай мне вино покрепче в чашу...
> Ты же прочь уходи, вина погибель,
> Ключевая струя...[33]

Но Катулл — не распутный и порывистый безумец. Он — голос молодежи своего времени, и юноши, следую-

* Пер. М.Е. Сергеенко.

щие моде, узнают себя в нарисованной им картине новой жизни. В числе его друзей Азиний Поллион, чей брат однажды похитил у поэта платки на пиру, «за игрой и вином»[34]. Катулл угрожает сочинить ему в наказание за проделку «гендекасиллаб колких триста», если тот не вернет похищенное. Грубоватые шутки романтических подростков. А ведь через несколько лет тот же самый Азиний Поллион будет покровителем Горация и Вергилия... Новое веяние зарождается в буйных забавах золотой молодежи Рима. Среди разнузданных споров Катулл стал именно тем, кто дал латинской поэзии импульс для полета, проложил путь, которым проследуют юные питомцы Поллиона и другие. Он сумел привить александрийскую эстетику обществу, не готовому в полной мере ее принять, ввести в моду малые жанры, показав, что можно быть великим поэтом, пишущим на простые сюжеты из жизни. Ему удалось развить искусство, тесно связанное с устремлениями бурно меняющейся цивилизации. Своими гендекасиллабами, чей естественный танцующий ритм придает истинность выражению страсти, он смог приравнять моду к искусству.

* * *

Поэзия не считалась в Риме искусством, по крайней мере до тех пор, пока не стало ощущаться греческое влияние на новые поколения после Второй Пунической войны. Иначе обстоит дело с искусством красноречия, которым большинство народов античности занимались с самого рождения. Оратор всегда занимал определяющее место в обществе, поскольку он — это тот голос, посредством которого правящий класс обеспечивает свое политическое и социальное функционирование. В особенности при республиканском строе произносимые речи играют ключевую роль в организации и развитии общественной жизни. Любая античная цивилизация — прежде всего устная, и позиция гражданина формируется в зависимости от способности оратора убеждать. Искусство красноречия не может

существовать без толпы, и долг оратора — понравиться слушателям, так как довольная публика охотно дает себя убедить. «Я бы предпочел, чтобы... мое красноречие [понравилось] народу... оратор (как я, по крайней мере, думаю) должен достигнуть трех вещей: он должен вразумить своих слушателей, усладить их и взволновать их... Толпа слушателей в восторге, слова оратора влекут ее, она как бы купается в наслаждении... Толпа радуется и скорбит, смеется и плачет, любит и ненавидит, презирает и завидует; ее охватывает то сострадание, то стыд, то досада; она гневается, дивится, страшится, надеется — и все это происходит оттого, что сознание слушателей покорно и словам, и мыслям, и поведению оратора»*. И Цицерон, так ясно описавший огромную силу воздействия оратора на толпу, отвергает мнения «знатоков». Более того, он считает, что знатоки такого сложного искусства, как красноречие, могут лишь поддерживать мнение большинства[35]. Дело в том, что теория прежде всего должна подчиниться трудностям практики — профессия оратора требует физической крепости и твердости духа, которые Цицерон, не колеблясь, сравнивает с качествами солдата на поле боя. В самом деле, нужно представить себе излюбленное поле деятельности оратора: это Форум, место совершения важнейших судебных процессов и политический перекресток Рима, где сталкиваются противоречащие друг другу мнения. Здесь, между храмами и курией, упражняют свой талант те, кто пытается быть услышанным среди гула толпы, криков глашатаев и ликторов, возвещающих о приближении какого-нибудь официального кортежа или важной персоны. И счастливы еще те, кому не приходится перекрикивать адский шум похоронной процессии, которая пересекает площадь под пронзительные звуки музыкальных инструментов и причитания плакальщиц. Одержать победу над шумом — непростая задача, особенно если одновременно произносится несколько

* Здесь и далее трактат «Брут» цитируется в пер. И.П. Стрельниковой.

речей и нужно не дать части слушателей склониться к словам соперника, но это еще не все: необходимо сохранять присутствие духа, чтобы ответить на неизбежные пререкания остроумной шуткой, которая привлечет к вам слушателей, и достаточную боевитость, чтобы высмеять аргументы соперника, казалось бы, бьющие в самую точку. В таких условиях оратор больше похож на звезду арены, чем на вышколенного риторикой интеллектуала. В частности, по этой причине не каждый может преуспеть в этой карьере, как бы он ни был ею увлечен, — известно, например, что Вергилий был вынужден от нее отказаться, поскольку его физические данные не позволяли ему добиться успеха. Успех оратора зависит не только от весомости его речей, но и от складывающегося о нем впечатления, и симпатия, которую он вызывает, имеет большое значение для его популярности. Он умеет очаровать публику своей личностью не меньше, чем своими речами. Он превращается в своего рода героя: «Ты всегда несешь защиту друзьям, помощь посторонним, спасение тем, кто на краю гибели, тогда как в завистников и недругов вселяешь боязнь и страх, сам вне опасности, как бы огражденный пожизненной властью и таким же могуществом»[36]*. Этот человек всегда в моде и умеет следовать ей, чтобы обеспечить себе успех. Он умеет говорить то, что нужно, действовать, как подобает, чтобы привлечь к себе любовь публики и укрепить свою славу. К нему обращаются, потому что он известнейший в данный момент оратор, и, даже если он небогат, «и бездетные старики, и богачи, и могущественные люди» приходят к нему, чтобы «поручить ему ведение в суде существенно важных дел, как своих собственных, так и своих друзей»[37]. «А множество ожидающих твоего выхода и затем сопровождающих тебя именитых граждан! А какое великолепное зрелище в общественном месте! Какое уважение в судьях! Какая радость подняться со своего места и стоять перед хранящи-

* Здесь и далее цитаты из Тацита в пер. А.С. Бабовича.

ми молчание и вперившими взгляды в тебя одного! А народ сходится и растекается вкруг оратора и проникается всеми чувствами, какие ты внушаешь ему!»[38] По мнению Апра, никакое другое искусство не может принести подобной известности и подобной славы. Имена модных ораторов — первые, которым родители учат детей. Это те, «кого называет по имени и на кого указывает пальцем этот темный, неискушенный в науках люд, этот прикрытый одною туникою народ»[39], и приезжающие в Рим иностранцы всегда узнают тех, чья слава дошла до самых дальних уголков их муниципий и колоний.

Если популярный оратор становится модным, в то же самое время его красноречие нравится публике, потому что следует настроениям эпохи, а это значит — следует моде. Наилучшим образом это показывают несколько фраз Тацита: в «Диалоге об ораторах» Апр говорит, что «формы и разновидности ораторской речи меняются вместе со временем»[40]. Апр приводит в пример некоего античного оратора, которого поклонники древности критикуют за удаление от того, что они считают «проторенным и прямым путем ораторского искусства». Он же заявляет, что этот оратор действовал «совершенно сознательно и руководствуясь здравым смыслом». «Ибо он увидел, что вместе с приносимыми временем сдвигами в обстоятельствах и общественных вкусах должны быть изменены... также форма и самое содержание ораторской речи»[41]. Затем Апр объясняет эту эволюцию вкуса слушателей приобретением новых познаний, таких, как риторика или философия. Когда-то, по его словам, «были в большой чести» речи со сложным построением, следующие «на редкость сухим книгам Гермагора и Аполлодора». «А если кто-нибудь казался хотя бы понюхавшим философии и к тому же включил в свою речь крупицы ее, того превозносили чуть ли не до небес. И неудивительно: ведь все это было новым и доселе неведомым, да и между самими ораторами лишь ничтожно малая часть была знакома с предписаниями риторов и положениями философов».

Напротив, сегодня, продолжает Апр, «и то и другое стало достоянием поистине всех и каждого», все имеют хотя бы малейшее понятие об этих науках; следовательно, «для красноречия необходимы новые и более тщательно проложенные пути, дабы оратор не нагонял скуку на слушателей»[42]. Публика любит новизну, ее легко привлекает то, что ей неизвестно, и она способствует появлению новой формы ораторского искусства, потому что требует и приветствует все новое. Чтобы упрочить свою известность, оратор может лишь следовать вкусам своей аудитории, принося таким образом жертвы моде. Конечно, это не значит, что история искусства красноречия в Риме сводится к последовательной смене мод, но мы увидим, что различные течения — можно даже сказать, различные школы, существовавшие в ораторском искусстве, в разные периоды переживали свой звездный час, и эти периоды успеха неотделимы от явлений моды.

В самом деле, история ораторского искусства ведет свой отсчет лишь от Второй Пунической войны. Не то чтобы до этого времени не было ораторов, но древние сохранили воспоминания лишь о мужланах с тяжеловесной манерой выражаться. Их вдохновение ограничивалось практическими нуждами текущего момента — предвыборная речь, дискуссия в Сенате, торжественная речь перед войсками. Первые ораторы, от которых необходимость убедить требовала определенной резкости речей, составляют предысторию ораторского искусства, и их трудно сравнить с великими деятелями Греции, которая, по словам Цицерона, «поистине пылала страстью к красноречию и долгое время им славилась и преуспевала в нем больше других государств»[43]. Более того, обращаясь к истории ораторского искусства в Риме, знаменитый консул-оратор не заходит дальше конца III в. до н.э., чтобы назвать имя по-настоящему «красноречивого человека»[44]. Тем не менее это не означает, что Цицерон утверждает превосходство Греции над Римом в этой области. Скорее, он говорит о ее

предшествовании, обязанном тому, что история Греции началась гораздо раньше римской, и напоминает, что истоки ораторского искусства «очень древние по нашему счету лет и совсем недавние — по их собственному»[45]. Таким образом, римское искусство красноречия, истоки которого восходят ко временам основания города, имело возможность учиться у Греции, уже достигшей в этой области мастерства, чтобы улучшить это сложное искусство, которым ни одна цивилизация не могла овладеть, не достигнув прежде определенной зрелости.

И снова при контакте с эллинизмом, т. е. преимущественно со II в. до н.э., римское искусство красноречия получает новый импульс. Оратор учится отказываться от резкости выражений в пользу упорядоченной речи, методичной и мирной аргументации, хитростей убеждения. Для этого он располагает всем арсеналом греческой мысли, в частности философии, которая позволяет ему одновременно с политикой говорить о человеке, о добродетели, о справедливости, о согласии, о праве, о бессмертных богах... Все эти идеи, сами по себе не содержащие ничего оригинального, составляют фон для размышлений и требуют от оратора некоторого уровня культуры. Но это те самые идеи и та самая культура, о которых идут споры в проэллинских литературных кружках, как тот, что собрал юный Сципион Эмилиан. Таким образом, развитие ораторского искусства тесно вписывается в рамки больших интеллектуальных перемен II века, когда Рим открывает для себя красоты Греции и понимает, что искусства необходимы для духовного взлета цивилизации, стремящейся владеть всем миром. Латинское красноречие не пришло из Греции, но расцвело от соприкосновения с восточными веяниями, чтобы стать настоящим литературным искусством.

Поднявшись до утонченности искусства, красноречие приобретает новую силу, которой надо уметь пользоваться. Это требует обучения. Законы и техники выступления

последовательно фиксируются по мере того, как они становятся школьным предметом. Но если первая школа красноречия открывается в Риме лишь в начале I в. до н.э., это не мешает греческим риторам приезжать в Италию и в столицу со времен завоевания юга полуострова в III в. и распространять там порой противоречивые теории, которыми овладевает мода. Сам персонаж ритора моден во II веке. Как грамматик или философ, он входит в «интеллектуальное» окружение богатого горожанина, который просит его помочь ему сочинять речи. Предчувствуя опасность, в 161 г. до н.э. сенаторы решают изгнать из Рима философов и риторов[46]: они поняли, что, обучая построению речей, риторы могли также влиять на их содержание и, таким образом, вмешиваться в римскую политику. Но после ухода риторов риторика осталась. Вскоре учителя возвращаются, овеянные славой изгнанников, и от этого они лишь еще более популярны. Более того, искусство произносить речи столь ценится, что философы-стоики намереваются разработать на эту тему собственную теорию. Нам известно, что Панеций, у которого брали уроки Сципион Эмилиан или Тиберий Гракх, заявлял, что лишь мудрец может быть хорошим оратором, ибо только он знает истину и может преподать ее. Он прививал своим ученикам умение чувствовать «уместное» в речах, презрение к ораторским ухищрениям, стремление к ясности и потребность в определенной строгости и торжественности.

Ригористическая позиция стоиков в середине II века вписывается в рамки соперничества между двумя противоположными стилями риторики — азиатским и аттическим. Первый является самым древним и представляет собой не что иное, как воплощение классического афинского стиля. «Когда красноречие вышло из Пирея, оно... совершило странствие по всей Азии, да так, что запятнало себя чужими нравами, растеряло всю здоровую чистоту аттической речи и почти утратило дар слова. Отсюда пошли ораторы-

азианцы, которых следует порицать не за воображение и изобилие, а за то, что они говорят недостаточно сжато и слишком многословно»[47]. Цицерон вполне точно излагает положение вещей. Иначе говоря, утонченное афинское искусство оратора частично лишилось в азиатских землях своей сдержанности и приобрело нечто от восточной цветистости и неумеренности. Для сторонников классицизма азианизм представляет собой развращение вкуса, своего рода незрелость, отсутствие изящества и утонченности, что у не слишком одаренных ораторов может привести к соединению вычурности с вульгарностью. Для защитников азиатского стиля, напротив, эта разновидность риторики обладает неоценимым достоинством — она придает речи движение и жизнь, пробуждает страсть и взывает к целой гамме человеческих чувств. Проще говоря, азианизм обращается к сердцу слушателя, и тем самым популярен. Подобная концепция красноречия не могла не понравиться римлянам в начале II века: она напоминала о прежней пылкости римских речей, и даже противники греческой моды не смогли воспрепятствовать преподаванию этой риторики. Во времена Катона она стала привычной и прекрасно подходила для яростных споров, патетики и некоторого выставления себя напоказ, что нравилось старому цензору. Приобретя популярность, азианизм таким образом оказывается в моде в то время, как Рим приходит на Восток.

Именно с этой модой предстоит бороться проэллински настроенным аристократам, которые хотят сделать греческую культуру достоянием своего сословия. Сципион и его друзья предпочитают держаться на расстоянии от толпы с ее грубыми удовольствиями. Они предпочитают объединиться в кружок под сенью садов своих богатых поместий. Многословию и сентиментальности азиатского стиля они предпочитают большую сдержанность выражений, краткость, порой граничащую с сухостью, тщательный подбор употребляемых слов, одним словом, стиль, свободный

от страстей и проникнутый достоинством. Их идеал – аттические ораторы, Лисий и Демосфен. Таково искусство красноречия, считающееся модным в образованных кругах того времени. Итоги не без юмора подводит Цицерон (который признавал за азианизмом выразительность и страстность и упрекал в их отсутствии аттикистов): «Наши аттики... даже не понимают... что иначе и быть не могло: когда предстояло выступать Демосфену, то вся Греция стекалась послушать его! А когда говорят наши собственные аттики, то от них разбегаются не только посторонние слушатели (что уже печально), но и собственные друзья-помощники»[48]. Один случай, впрочем, показывает, что Цицерон нисколько не преувеличивает. В лесу Сила произошла резня, погибло несколько известных лиц. Обвинение пало на значительную часть арендаторов одной дегтярни. Дело было важным, и защищать работников взялся один из самых блистательных умов своего времени – Лелий, друг Сципиона Эмилиана. Оратор, как истинный аттикист, говорил «очень тщательно и изящно». Судьи не были убеждены и отсрочили вынесение приговора. Через несколько дней Лелий произнес вторую защитительную речь, но приговор был снова отсрочен! Тогда защиту обвиняемых поручили Гальбе, оратору-азианисту. Сам Лелий посоветовал выбрать Гальбу за его более резкую и страстную манеру речи, за выразительность и горячность. Тот с пылом взялся за подготовку речи в оставшееся ему время. Когда наступил решающий момент, «перед многочисленными слушателями... Гальба произнес свою речь с такой силой и внушительностью, что каждый ее раздел заканчивался под шум рукоплесканий. Таким образом, после многократных и трогательных призывов к милосердию арендаторы в тот день были оправданы при всеобщем одобрении»[49].

Мода на азианистов вызвала неприязнь не только у аттикистов. В частности, римляне старой закалки ожесточенно сражались с любыми греческими модами, каковы бы

они ни были, и пытались вернуть уважение к древним авторам, которых уже долгое время никто больше не читал, превознося выбор лексики и выразительность ораторов, не подвергшихся еще греческому влиянию. Но во II веке у них почти не было слушателей, и соперничество в области искусства красноречия могло быть сведено к столкновению двух мод, у каждой из которых были свои пылкие сторонники: большинство, чувствительное к азиатской пылкости, и интеллектуалы, сторонники аттической чистоты.

Некоторые критики уподобляли это противостояние двух форм красноречия спору «древних» и «новых», где «новые» представляют азианистов, а «древние» — аттикистов, реакцию на прогрессирование постоянно развивающегося и очень популярного стиля. Подобный анализ положения вещей не представляется верным. Прежде всего с хронологической точки зрения азианизм намного старше аттикизма. Кроме того, сторонники аттикизма во II веке, Сципион и его друзья, никак не могут быть отнесены к «древним». Напротив, мы уже видели, что они были в Риме инициаторами неоспоримых новшеств, вводящими эллинистическую моду, которой предстояло глубоко изменить римский образ жизни и мыслей. Нам кажется, что противостояние двух стилей ораторского искусства, скорее, должно быть проанализировано с социальной точки зрения — как противостояние популярного в народе модного стиля и реакции привилегированного класса, который хочет оставаться таковым, поскольку осознает свое достоинство. Как мы уже говорили, эта аристократия обозначила себя принятием эллинизма в самых развитых формах, и аттический стиль был для нее лишь средством обозначить свою утонченность, проводящую дополнительную границу между ней и остальным обществом. Дистанция, отделяющая ее от народа, становится очевидной в рассказанной Цицероном истории о Лелии и Гальбе. С этой точки зрения аттикизм предстает новой модой, введенной аристократией и

для аристократии, так же как появлялись моды архитектурные, интеллектуальные, кулинарные и др.

В последнем веке Республики продолжают существовать различные типы искусства красноречия, развившиеся в предыдущем столетии. Сторонники архаизма малочисленны, и постоянное использование иностранных и редких слов занимает лишь отдельных людей. Конечно, все ораторы любят порой вставить в речь вышедшее из употребления слово. «Изредка употребляемое поэтическое выражение и речам придает более возвышенный оттенок»*, — признает Цицерон, который поэтому рекомендует употреблять эти слова поэтам[50]. Квинтилиан также считает, что архаизмы способны понравиться публике, придавая речи определенную величественность. Кроме того, эти слова «обладают весом всего древнего, а поскольку они вышли из употребления, в них есть приятность нового»[51]. В любом случае систематическое обращение к архаичным оборотам или использование паратаксиса, чтобы разбить период, как это делал Катон, навлекают на таких авторов, как Саллюстий, критику современников, которые обвиняют их в плагиате с речей знаменитого цензора. Эпоха предъявляет другие требования. Поиски новизны побуждают писателей разработать классический, типично римский стиль, первым носителем которого предстоит стать Цицерону. Азианизм по-прежнему пользуется успехом, и родосский ритор Молон, прибывший в Рим с посольством, чтобы защищать интересы своих сограждан, открывает в столице одну из первых крупных школ риторики. Цицерон был его учеником около 84 г. до н.э., прежде чем отправиться на Родос и обучаться у известнейших мастеров. Другие школы вскоре принимают знатных юношей, желающих получить настоящее образование в области риторики. Ораторское искусство становится предметом организованного изучения.

* Пер. Ф.А. Петровского.

В противоположном лагере по-прежнему немногочисленные аттикисты не торопятся сложить оружие. В основном это те же молодые люди, которые вслед за Катуллом стремились обновить поэзию. Они еще тверже противостоят испорченному и полному излишеств стилю азианистов. Они заявляют, что ненавидят легкие пути, и в порыве неумеренного пуризма превозносят точный и изящный стиль Лисия или сдержанную энергию Фукидида. Эти излишества не слишком нравятся публике — она предпочитает срединный путь, выбранный Цицероном.

Имя знаменитого консула 63 г. до н.э. действительно является одним из величайших в искусстве красноречия этого века, и, если он изведал взлеты и падения, успех и неудачу, все же он бесспорно многократно оказывался самым модным оратором своего времени, заложившим основы того, что последующие поколения будут воспринимать как классический латинский язык. Ученик великих риторов различных школ, как в Риме, так и в Греции или Азии, он был знаком со всеми тенденциями в ораторском искусстве. У азианистов он ценит действенность, определенное искусство метких изречений и жгучей сатиры, но упрекает их в отсутствии некоего духа серьезности. Для него пыл азианистов подобен пылу юности[52]. Все же его симпатии, скорее, принадлежат аттическому стилю, но лишенному упорного стремления к оригинальности. Он любит его богатство, но желал бы видеть его более простым, более естественным, без низменного, но и без непременного изгнания любой легковесности. Впрочем, именно за эту простоту на него сердиты аттикисты. Тогда он напоминает им об истинном предназначении оратора: оно заключается не в том, чтобы, как Фукидид, писать историю в прохладе своего кабинета, но в том, чтобы говорить на площади, с тем «боевым красноречием», к которому никогда не прибегал историк. Ему нужны результаты: «Зрители стоят толпой, судья насторожен... частые крики одобрения, щедрые

знаки восторга... чтобы слышался смех — по слову оратора, плач — по слову оратора!» Можно подумать об азианистах. Неверно: «Так, по преданию, говорил и Перикл, и Гиперид, и Эсхин и, конечно же, прежде всего сам Демосфен». Конечно, добавляет Цицерон, «если кто любит речь тонкую, разумную и в то же время бесхитростную, сжатую и сухую, кто не пользуется тяжеловесными ораторскими украшениями и считает это аттическим слогом, — что ж, он прав в своей похвале...» Но он безапелляционно заключает: «Не всякий, кто говорит по-аттически, говорит хорошо; но все те, кто говорят хорошо, говорят по-аттически»[53]. Излишне говорить, что Цицерон относит себя к их числу.

С расцветом эпохи Августа наступает золотой век латинской литературы. Но искусство красноречия больше не играет определяющей роли в политической и общественной жизни. Император благоволит поэзии; Гораций и Вергилий стремятся к более отточенному современному стилю, ища вдохновения в классической Греции или Александрии. Впрочем, им ставят в вину эту мнимую симпатию, заставляющую их использовать — весьма рассудочно — самые простые слова и в некотором роде превозносить ученую ясность слога. Несколько консервативной публике трудно следовать за этими новаторами, которые мало во что ставят былую литературную славу и охотно ставят себя на одну доску с великими именами древности. И все же триумф новых гениев в конце концов затмевает славу древних, и поэт, подобный Вергилию, становится новым ориентиром и воплощает новый классицизм. Нужно отметить, что сам император «в слоге... стремился к изяществу и умеренности, избегая... по его выражению, «словес, попахивающих стариной». «Любителей старины и любителей манерности он одинаково осуждал за их противоположные крайности и не раз над ними издевался»[54]. Таким образом, Август равно презирает Мецената, чья поэзия слишком проникнута вычурностью, и Тиберия, а также еще нескольких, которые находят удоволь-

ствие в употреблении архаичных и малопонятных форм. Поэтому августовская эпоха неблагоприятна для сторонников архаики, которые остаются малочисленными и неизвестными публике, как и школам риторики.

Успех и увеличение числа этих школ — самый поразительный феномен времен Августа. Никогда еще риторика не была настолько модной. Теперь же ученики с жаром предаются «декламациям», иначе говоря, ораторским упражнениям для обучения будущих ораторов. Это явление уже три столетия известно в школах Азии, но в Риме практикуется чуть меньше века, и само это слово до Цицерона не употреблялось. Но и он использует его с осторожностью, настаивая, что речь идет о новом слове для обозначения уже известного упражнения[55]. При Августе декламации приобретают для образовательного процесса доселе неизвестную важность. Во времена Цицерона только юноши, готовящиеся к политической или адвокатской карьере, занимались ими, и это рассматривалось только как тренировочные упражнения; они происходили исключительно в присутствии учителя и нескольких соучеников, которые должны были вносить поправки и высказывать свое мнение. Иная ситуация складывается в первые годы Империи — число декламаторов увеличивается, все лихорадочно предаются этому занятию, в том числе римляне самого скромного происхождения и даже вольноотпущенники. Юноши толпятся в школах... и даже давно уже не юноши не стыдятся садиться рядом с мальчиками, хотя порой уже занимают видное положение в обществе. Школьное упражнение из частного дела превращается в настоящее зрелище, на которое рассылают приглашения, как на публичные чтения. Император не против послушать декламацию и почтить некоторых учителей своим присутствием. Упражнение приобретает теперь совершенно иное значение — помимо соучеников, необходимо блеснуть перед публикой, собравшейся прежде всего для того, чтобы услышать удачные остроты или убе-

дительную аргументацию. Слушатели, как и во время чтений, не сидят неподвижно во время декламации. Они выслушивают вступление и часто уходят, чтобы вернуться к концу речи, оставляя скучное развитие мысли для слуха школьников. Учитель, предложивший тему для размышлений, выслушивает со своей кафедры учеников одного за другим. Каждый берет слово, читает с места составленное им развитие темы, затем поднимается и декламирует его стоя, с соответствующими жестами и мимикой[56]. Аудитория не перебивает, но и не остается безразличной — смех, крики или аплодисменты выдают ее чувства, а молчание — несомненно, знак наивысшего осуждения. Затем учитель высказывает свои замечания и может предложить исправить ошибки. Таким образом, это возможность для некоторых преподавателей блеснуть перед публикой, и есть такие, кто способен говорить девять часов без остановки![57]

Эту показную моду Тацит объявил зловредной[58], напоминая о подозрительном отношении предков к риторам. Школа риторики — место, которое вредит воспитанию юных душ, там почти нет вероятности преуспеть, поскольку все «равно несведущи», а ученики «с одинаковой беспечностью и говорят, и выслушиваются другими». Техника становится самоцелью, а содержание лишь предлогом. Темы («какие поистине несообразные, какие нелепые темы!») не имеют никакой связи с реальностью: «В школе ежедневно произносятся речи... о выборе, предоставляемом претерпевшими насилие девушками своим похитителям, или о мерах пресечения моровой язвы, или о кровосмесительных связях матерей с сыновьями... или о чем-либо ином в этом же роде, что рассматривается в суде или исключительно редко, или вообще никогда». Тацит не преувеличивает. Наиболее лишенные здравого смысла, самые невероятные темы, зачастую патетические или сентиментальные, заставляют слушателей обливаться слезами или приходить в воодушевление. Например, та-

кой сюжет: «Летом несколько юношей из Рима отправились в Остию; гуляя по берегу, они заметили рыбаков, готовившихся вытягивать сети, и заранее по установленной цене купили у них улов. Они долго ждали, и, наконец, когда вытянули сети, вместо рыбы в них была полная корзина золота. Рыбаки хотят оставить ее себе, юноши требуют отдать ее. Кому она принадлежит?» Или такой: «Два брата в раздоре между собой. У одного из них есть сын. Второй впадает в нищету. Несмотря на запрет отца, юноша кормит его. По этой причине он отвергнут отцом и не протестует. Его дядя усыновляет его и получает богатое наследство. Его отец становится бедным. Несмотря на запрет дяди, он кормит его». Таковы сюжеты, увлекавшие молодежь, собиравшие толпы... и обеспечивавшие образование будущим знаменитостям Империи.

Помимо любви римлян того времени к картинам нравов или небольшим философским рассуждениям, именно Империю можно счесть объяснением этого увлечения всего общества декламациями. Скорее всего, успех этой моды должен быть связан с изменением политического режима. Граждане больше не являются действующими лицами в политике как во времена Республики, и большую часть времени проводят в праздности. У юношей больше нет надежды блеснуть на Форуме в тех великих политических речах, утверждавших репутацию оратора. При Августе знаток права может рассчитывать лишь на выступление в нескольких процессах, которые не принесут ему ни славы, ни богатства. Крупные дела, такие, как процесс над Аспреном, обвиненным в отравлении ста тридцати гостей, пришедших к нему на ужин, рассматриваются не каждый день, в то время как в риторике победы даются легко и можно очень рано быть замеченным. Школа заменяет Форум и приобретает больший престиж в глазах молодежи. Кажется, что риторика дает последний приют свободе слова, и порой общие темы о тиранах позволяют вставить в речь несколь-

ко коварных намеков по адресу нового режима. Можно также восхвалять великие имена в истории Рима, и тогда от декламации словно слегка веет духом Республики.

Успех школ риторики приводит в I веке к определенной какофонии среди теорий ораторского искусства. Рядом с азианистами, которым по-прежнему противостоят несколько аттикистов, сталкиваются между собой различные знаменитые риторы, такие, как Аполлодор, учитель Октавиана, и Феодор, наставник Тиберия. Первый требует строгих правил для речей, которые всегда должны быть разделены на четыре части, второй не приемлет узы, налагаемые подобными правилами. Чтобы кратко изложить сложную ситуацию, стоит обратиться к ее анализу, сделанному одним из известнейших преподавателей I века, Квинтилианом. Он поделил ораторов на три категории: «древние», которые отвергают ухищрения риторики и хотят оставаться близкими к природе, поскольку считают главным содержание; «новые», которые, напротив, стремятся понравиться слушателю, и «классики», следующие стилю Цицерона (к ним он иногда относит аттикистов). О первых можно сказать, что мода против них. Это те немногие, кто коллекционирует редкие слова и превозносит ораторов времен Катона и до него, и они подвергаются многочисленным насмешкам. Напротив, «классики» привлекают к себе определенный интерес и придерживаются золотой середины между преувеличениями «новых» и сухостью «древних». Но этот классицизм уже не живой: его предпочтения отданы классическим авторам прошлого века, и задача «классиков» ограничивается тем, чтобы подражать некоему стилю, рискуя помешать литературному творчеству. Поэтому по-настоящему модны именно «новые» ораторы.

Своим успехом они, без сомнения, обязаны поиску новых эффектов, их характеризует забота о том, чтобы понравиться и привлечь аплодисменты. В течение перво-

го века вырабатывается новый стиль, перевоплощение выразительной манеры азианистов — это «возвышенный» стиль, как его определил Псевдо-Лонгин в «Трактате о возвышенном». Речь идет о том, чтобы ничем не оскорблять слух аудитории, но польстить ему изысканными созвучиями, необычным словом, неожиданным сравнением. Значимым представителем этого стиля был Сенека, не упускающий случая поставить его на службу философским идеям, которые он исповедовал. Увы, не все были сенеками, и для многочисленных учеников, упражнявшихся в школах риторики, требования моды сводились к тому, чтобы гораздо больше заниматься формой, чем содержанием, и удерживать внимание слушателей, насытившихся декламациями и публичными чтениями. Апр заявляет без обиняков: «При чтении некоторых древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других — сон»[59]. Современное искусство красноречия приспосабливается к запросам публики, а для борьбы с равнодушием пресыщенных слушателей нужно придумывать что-то новое. Возможно, в результате этой необходимости, как жалуется Квинтилиан, этим декламациям, весьма далеким от «битв Форума на затупленном оружии» и «сочиненным лишь для развлечения, не хватает жизненной силы»[60]. Но сюжеты слишком нереальны, чтобы походить на нечто иное, кроме обыкновенных школьных упражнений. Тогда оратор изощряется в поиске острот и украшений, в воздействии на слушателя посредством неожиданного выражения оттачивает искусство точных формул, называемых *sententiae*. Так как обычные слова кажутся слишком банальными, он отдает предпочтение редким словам, придающим речи блеск. Утонченный и необычный лексикон немедленно возвышает оратора в глазах публики. Редкие слова становятся объектом тщательных поисков, и фраза все больше уподобляется инкрустированному изделию. Цицероновская простота утрачена.

Кроме того, поскольку в моде поэзия и, в частности, отдельные поэты, как, например, Вергилий, ораторы, не колеблясь, заимствуют у него отдельные слова и выражения. Наконец, слушатели требуют, чтобы речь была украшена поэтическим орнаментом, и в таком случае всячески восхваляют оратора. К тому же поэзия предоставляет обширный репертуар необычных и неиспользуемых в прозе слов. Положение дел прекрасно излагает Апр в «Диалоге об ораторах» Тацита: «От оратора требуется и умение привести к месту стихи, и не какую-нибудь ветошь из Акция или Пакувия, а что-нибудь извлеченное из священной сокровищницы Горация, или Вергилия, или Лукана. Так, считаясь со вкусами и приговорами современников, и возникло поколение наших ораторов, овладевших более красивою и изящною речью. И наши выступления от того, что воспринимаются судьями с удовольствием, не стали менее убедительными. Ведь не сочтешь же ты современные храмы менее прочными, потому что они возводятся не из беспорядочных глыб и кирпича грубой выделки, а сияют мрамором и горят золотом?»[61] В некотором роде «новые» ораторы признают правоту Цицерона: публика решает все и диктует моду в искусстве красноречия.

В следующем столетии, особенно начиная с правления Адриана, постоянный поиск эффектности и новизны обретает новое направление в связи с состоянием умов, определяющим эволюцию вкуса. Император (по-прежнему остающийся законодателем мод) внушает своему окружению идею возвращения к классической эпохе. Мы уже видели решающую роль, которую сам Адриан сыграл в области искусства, предложив художникам и скульпторам искать образцы для подражания в славнейших временах Греции V века. Везде царит стремление подражать классическим канонам. Риторика не стала исключением, и влиятельные преподаватели, такие, как Фронтон, весьма почи-

таемый учитель будущего Марка Аврелия, будут способствовать возвращению преклонения перед древнейшими ораторами и утверждать то, что можно назвать архаизирующей модой. И все же желание внедрить в область красноречия архаику не противоречит моде, введенной в предыдущем столетии «новыми» ораторами. Да, возвращается вполне катоновская идея, что содержание не должно приноситься в жертву форме, идея — выражению, но риторы продолжают утверждать, что язык и стиль должны быть тщательно изысканы и обработаны, чтобы лучше выразить мысль. Вкус к архаичному не противостоит теориям азианистов, но, напротив, становится их завершением, высшей точкой развития, которая позволяет дать публике, жаждущей необычного и блестящего, приток формальной новизны. Архаичность позволяет азианизму достичь предела утонченности. «Новые» ораторы предчувствовали необходимость отказаться от повседневного языка ради поиска редких, необычных, удивительных слов и выражений. Тем же занят Фронтон: заботу о детали он доводит до работы над каждым словом, чтобы речь оставляла впечатление новизны каждого выражения, а не только нескольких отдельных оборотов. Оратор пускается в настоящую охоту за словами, считая самое редкое слово самым лучшим и заранее присуждая ему превосходство над общеупотребительными словами, даже если на самом деле это не так. Цель остается прежней — понравиться публике и завоевать ее восторг, и редкое слово — абсолютное оружие искусства, которое позволяет добиться победы.

И здесь на сцену выходит архаика, ибо где еще найти необыкновенные слова? Перед оратором два пути: или сложить их из любых элементов, или воспользоваться уже существующими словами, но не из повседневного и даже не из классического языка — тогда их знали бы слишком многие. Остаются древнейшие авторы, чей лексикон кажется

вышедшим из употребления, необычным — иначе говоря, непонятным — и полностью забыт. Кроме того, архаичные выражения предпочтительнее неологизмов, так как последние были предметом любви азианистов и не обладают достоинством весьма древнего употребления. К тому же древние слова благодаря своей необычности источают аромат новизны так же, как и неологизмы. Так архаика становится модной. Во все времена, начиная со II в. до н.э., у нее были сторонники, но они никогда не имели ни малейшего успеха. Сейчас главенствует именно она, возможно, поскольку изначально предстала как утонченная форма азиатского стиля. И вот весь век придирчиво изучает древних авторов, забывая, что их язык сам по себе ничем не примечателен (это просто язык их времени), и только историческая дистанция и эволюция латинского словаря превращают его в объект любопытства. Неважно. Ораторы II века до н.э. тщательно изучают авторов, живших до Цицерона, если только более молодые писатели, такие, как Саллюстий, не делают вид, что также обращаются к архаике. Фронтон приводит примеры из текстов Плавта, Энния, Невия, Лукреция и других менее известных авторов, у которых он может найти «сельские... комические... технические... или эротические выражения». И все же самым почитаемым остается Катон Старший. Уже Цицерон относился к нему с большим восхищением, но замечал, что ему недостает тонкости греческих авторов. Все же в классическую эпоху Катон считался слишком примитивным, и Цицерон удивлялся, что его современники наслаждаются древней простотой греков, в своем невежестве не замечая, что та же простота присутствует у Катона[62]. При Адриане справедливость восстановлена... и забытым оказывается Цицерон. Катон становится отцом и неоспоримым наставником латинского искусства красноречия. Его творения — первое чтение, рекомендованное Фронтоном Марку Авре-

лию, и он занимает в золотом списке латинских ораторов место, столетие назад принадлежавшее Цицерону. Что же до Вергилия, светоча эпохи Августа, о нем просто больше нет и речи. Таковы капризы моды.

В начале V века Макробий с некоторой временной дистанции различал четыре жанра красноречия: «Изобильный, где мастером был Цицерон, краткий, где царит Саллюстий, сухой, свойственный Фронтону, богатый и цветистый, где... наш друг Суммах показывает сегодня богатство своего таланта»[63]. Освещение вопроса в этом анализе весьма отличается от действительных противостояний в те эпохи, которые мы окинули взглядом. Забыты страсти, раздоры и все эфемерное. Нужно сказать, что крупный кризис III века возвестил конец литературы, и возрождение IV века прежде всего благоприятствует классикам. Цицерон, Гораций, Вергилий снова становятся образцами для подражания. Впрочем, уже во II веке из четырех видов красноречия, указанных Макробием, остались лишь два последних: азианизм, который, хотя и ценился меньше, всегда выдерживал испытания временем, и архаика, пережившая в то время свой звездный час. Но не стоит забывать, что эти литературные тенденции представляют собой лишь школьные успехи, поскольку с течением времени искусство красноречия лишилось права гражданства и укрылось за стенами декламационных залов. Триумф какого-либо стиля или теории часто проистекает лишь из известности некоего преподавателя, поддержки императора, симпатий определенной публики. История архаизирующего стиля служит тому доказательством. Но именно потому, что факторы успеха столь переменчивы и непредвиденны, можно говорить о значении моды в перевоплощениях латинского искусства красноречия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мода часто рождается из мимолетного увлечения, из рекламного хода. Она питается снобизмом и стимулирует честолюбие. И в этом смысле Рим, несомненно, был цивилизацией, благоприятствующей расцвету моды.

Город Ромула — это настоящий перекресток. Не столько немногочисленные палатинские пастухи, сколько иностранцы сделали из закоулка Лациума с нездоровым климатом могущественный и богатый город. Изменения в экономической и торговой жизни этрусков в VIII в. до н.э. заставили этот богатый и развитый народ обратить внимание на несколько холмов, возвышающихся над болотами. Здесь, у реки, в двух шагах от моря, встретились местные жители и те, кто принес им плоды своей цивилизации, этруски и греки с юга Италии. Так Рим с рождения стал многонациональным.

Вот почему у жителей города нет в полном смысле слова исконных традиций. В лучшем случае можно говорить о первоначальных качествах. Земледельческая фракция, создавшая патриархальную аристократию и представляющая лишь одну из составляющих населения, укоренила в римском менталитете простонародный здравый смысл и добродетельное упорство. Эта неколебимая суровость останется знаком римского народа и во многом будет способствовать его славным свершениям. Но свои традиции Рим выковывал в течение многих лет, по мере изменения предуготованных историей экономических и политических

условий. И прежде всего – по мере контактов с иностранцами. С самого начала они играли в городе важную роль. И вот с течением веков римляне овладевают Италией, затем Грецией, Востоком, всем Средиземноморьем... Рим уже не замкнут в границах Рима. Он поглотил все, пропитался духом завоеванных цивилизаций: Сицилия, Афины, Карфаген, Пергам, Александрия – все это Рим. Это и есть подлинная история города – история постоянной эволюции, сплава всех влияний, которые Рим сумел ассимилировать в череде побед и поражений, чтобы создать свой уникальный и неповторимый образ.

Именно эта способность к ассимиляции создала столь плодотворную почву для разнообразия мод. Если население постоянно обновляется, если вместе с новыми завоеваниями городом овладевают новые идеи, ремесла и искусства – трудно удержать равновесие. Но стабильность общества как раз и обеспечивается дозировкой и умеренностью внешних влияний, глубоко проникающих в римскую цивилизацию. Моду создает излишество в той или иной области, поддержанное честолюбием одних и, даже с большим успехом, осуждением других, в память о консервативной мудрости первых патрициев.

Нет ничего удивительного в том, что среди всех влияний, порождающих моду, первое место занимает влияние Греции и Востока. Дело не в том, что эти цивилизации хронологически очевидно старше Рима и, следовательно, достигли более высокой ступени развития и могут многое дать совсем еще новой столице мира, но, скорее, в том, что их красоты открываются Риму в тот момент, когда сыновья Волчицы, выйдя из детского неведения, достигли расцвета юности, возраста пылкого, еще наивного, но честолюбивого и жадного до наслаждений. У римлян разбегаются глаза от роскоши Востока, и они даже слишком поспешно преодолевают этапы своей эволюции. На италийской земле греческие и восточные нравы приобретают неожидан-

ные пропорции. Восхищение в сочетании с жаждой власти порождает моды, которые, возбуждая страсти, приводят к безудержным излишествам: неумеренно роскошные жилища расцветают в самых модных местах, гастрономические излишества разоряют сыновей благородных семейств, экзотический характер чувств заставляет опасаться развращения нравов, философия поселяет в политике зародыши революции, а поэзию больше никто не слушает, если она исполняется не греческим размером. Современность не всегда отличается хорошим вкусом, и сторонники старика Катона имели все основания опасаться, что мода разрушит древнюю римскую добродетель — даже если эта пресловутая добродетель отдает легендой...

Можно ли сказать, что с течением истории, где мода немало способствовала движению маленького города в Лациуме по пути интернационализации, Рим утратил свою индивидуальность? Утверждать это — значило бы зафиксировать его цивилизацию в неподвижности, не имеющей ничего общего с действительностью. Своим образом, запечатлевшимся в мире и оставленным нам, Рим обязан самому своему многообразию и поиску становления в непрерывном развитии. Тот факт, что он начал с обучения у этрусков, потом просвещался в контактах с Грецией, что его соблазняли эллинистические монархии, не заставил его свернуть с пути своего латинского предназначения и не лишил первозданной мощи. Создание уникальной в истории античности империи, сумевшей хранить мир в течение многих веков, — блестящее тому доказательство.

В своем историческом развитии римлянин всегда соприкасается с универсальным, но если его образ жизни многим обязан иностранным заимствованиям, то его дух сумел остаться римским. Вскормленный всем античным миром, он создал свой неповторимый характер, и нельзя назвать ничтожной роль моды, способствовавшей превращению римлянина в гражданина мира.

ПРИМЕЧАНИЯ*

Введение

1. «В защиту Росция», XLVI, 133 и далее.

Глава I

1. Денис Галикарнасский, I, 72, 3–4.
2. «Энеида», VIII.
3. Ср.: Платон, письмо VII, 353e.
4. Тит Ливий, XLV, 27–28.
5. Тит Ливий, XLV, 7, 8 и 28.
6. Тит Ливий, XLV, 29.
7. Флор, I, 13.
8. Плутарх, «Жизнь Марцелла», 33, 1.
9. Что, учитывая римский фунт, эквивалентно 88,290 т.
10. Плутарх, «Жизнь Фламиния», 1 и 12.
11. Денис Галикарнасский, «Древности», 19, 5.
12. Тит Ливий, XLII, 25.
13. «Ad Quintum fratrem III», 3, 4.
14. «Ораторское образование», I, 1, 12 и далее.
15. Сатира VI, 187 и далее.
16. Плиний, «Естественная история», VII, 59.
17. «Истории», XXXII, 12.
18. Цицерон, «к Бруту», 19, 77.

* Римскими цифрами обозначен том, песнь, глава или раздел, арабскими – более мелкие подразделы.

19. Цицерон, «Об ораторе», 68, 276.
20. Энний, Эпиграмма 2.
21. В изложении Авла Геллия, «Аттические ночи», XII, 4.
22. «Истории», XXXII, 10.
23. Плиний, «Естественная история», XXIX, 6, 12.
24. «Жизнь Катона», 22.
25. XXXIX, 6. Пер. Э.Г. Юнца.
26. «Истории», XXXII, 11.
27. Фрагмент 64.
28. III, 13.
29. Плиний, «Естественная история», XXXIII, 53.
30. Тит Ливий, XXXIV, 4.
31. Плиний, «Естественная история», XIX, 6, 24.
32. Плутарх, «Жизнь Катона», 8.
33. Катон, (Джордан), «Речи», XXXVI.
34. Ср.: Авл Геллий, «Аттические ночи», XIII, 24.
35. Плутарх, «Жизнь Катона», 8.
36. Катон (Джордан), «Речи», XL, 4.
37. Там же, 5.
38. Авл Геллий, «Аттические ночи», XVIII, 7.
39. Катон, (Джордан), «Речи», XL, 3.
40. Плиний, «Естественная история», XXIX, 7, 14, Плутарх, «Жизнь Катона», 23.
41. «Естественная история», VII, 30, 113.
42. Корнелий Непот, «Катон», 1.
43. Катон (Джордан), «О медицине», 1.
44. «Об ораторе», III, 34, 135.
45. Плутарх, «Жизнь Катона», 4 и 5.
46. Тит Ливий, XXVI, 22.
47. Тит Ливий, XXVIII, 42.
48. Плутарх, «Жизнь Тиберия Гракха», 14.
49. Плутарх, «Жизнь Павла Эмилия», 28.
50. Цицерон, «О республике», II, 1, 1.
51. Плутарх, «Жизнь Катона», 19.

52. Плиний, «Естественная история», XV, 5, 1.
53. Саллюстий, «Югуртинская война», LXXXV, 32.
54. Цицерон, «Об ораторе», II, 66, 265.
55. Ювенал, Сатира III, 100, 103.
56. Цицерон, «Об ораторе», II, 4, 48.
57. Цицерон, «Об ораторе», I, 22, 102.
58. Ср. прологи в пьесах «Trinummus», «Asinaria», «Менехмы» и т.д. То же у Теренция — «Адельфы», «Heauton-timoroumenos» или «Andria».
59. «Curculio», 289 и далее.
60. «Mostellaria», 20 и далее, ср. также: «Bacchis», 813, «Truculentus», 871 и т.д.
61. «Bacchis», 420 и далее.
62. «В защиту Флакка», IV, 9.
63. 162 и далее.
64. 500 и далее.
65. Атеней, XII, 67.
66. Плутарх, «Жизнь Павла Эмилия», 3.
67. Ср.: Тит Ливий, XXIX, 15.
68. «lex Orchia», 181 до н.э.
69. «lex Voconia», 169 до н.э.
70. Атеней, XII, 68, 547.
71. Сенека Ритор, 1, 2.
72. Тит Ливий, XL, 51.
73. Тит Ливий, XLI, 27.
74. Тертуллиан, «О зрелищах», 10.
75. Веллей Патеркул, I, 15, Августин, «О граде Божием», I, 31.
76. «Истории», XXXVII, 4.
77. Цицерон, «О предсказании», II, 12, 28.
78. Цицерон, «К Бруту», 20, 79.
79. Диодор, XXXII, 24.
80. Плутарх, «Жизнь Тиберия Гракха», 21.
81. Ср.: Тит Ливий, XXV, 39.
82. Полибий, «Истории», XXXVI, 6; ср.: Полибий, XXXV, 6; Плутарх, «Жизнь Катона», 24 и 27.

83. Плутарх, «Жизнь Катона», 15.
84. Плутарх, «Жизнь Катона», 20.
85. Ср.: Катон, «О сельском хозяйстве praef.», Плутарх, «Жизнь Катона», 25.
86. Плутарх, «Жизнь Катона», 24.
87. Авл Геллий, «Аттические ночи», IV, 20.
88. «О республике», III, 3, 5–6.
89. «Андрианна», 56.
90. Цицерон, «О республике», I, 18, 30.
91. Цицерон, «Об ораторе», I, 22, 51.
92. «В защиту Мурены», 6, 13.
93. «Катилинарий», II, 10, 22, 23.
94. Макробий, «Сатурналии», III, 14, 6–7.
95. «В защиту Флакка», 26, 62.
96. «Послания», VIII, 24.

Глава II

1. Плиний, «Естественная история», VIII, 72.
2. Ср.: Варрон, «de Re Rustica», II, 2, 18; Колумеллий, VII, 2, 3; Плиний, VIII, 190 и т.д.
3. Плиний, «Естественная история», VIII, 191.
4. Марциал, эпиграмма XIV, 129.
5. Плиний, «Естественная история», XIX, 9–13.
6. Плиний, «Естественная история», XIX, 14.
7. Флор, III, 11.
8. Марциал, VIII, 33, 15; 68, 7 и XIV, 24.
9. Тибулл, II, 3, 53; 4, 29; Проперций, I, 2, 2; II, 1, 5 и т.д.; Овидий, Гораций...
10. Тацит, «Анналы», II, 33.
11. Светоний, «Жизнь Калигулы», 52.
12. Ср.: Аммиан Марцеллин, XXIII, 6, 67.
13. Денис Галикарнасский, III, 61, 62, и Квинтилиан, «Ораторские школы», XI, 139.

14. Ср. также картину Вульчи: гадающий человек – царь или жрец?
15. XI, 3, 137 и далее.
16. Ср.: Цицерон, «В защиту Целия», 5, 11.
17. Гораций, Послания I, 19, 13, и I, 18, 30; ср. так называемую статую Сенеки в Лувре.
18. Макробий, «Сатурналии», III, 13, 4–5.
19. Гораций, «Сатурналии», II, 3, 31.
20. Макробий, «Сатурналии», II, 3.
21. Тит Ливий, XXIX, 19, 11–12.
22. «Ораторские школы», XI, 1, 3.
23. Сатира III, 171.
24. Авл Геллий, «Аттические ночи», XIII, 2.
25. Плавт, «Эпидик», 220 и далее.
26. Тертуллиан, «О Паллии», 4.
27. «Наука любви», III, 169 и далее.
28. Светоний, «Жизнь Цезаря», 43.
29. Светоний, «Жизнь Нерона», 32.
30. Ср.: Ветхий Завет, Исход 28, 5–8 и 39, 2–8.
31. Плиний, «Естественная история», XXXIII, 62, 63.
32. Тибулл, II, 3, 53; Овидий, «Наука любви», II, 299; Вергилий, «Георгики», II, 464; «Энеида», III, 483; IV, 262; VIII, 167 и т.д.
33. Светоний, «Жизнь Нерона», 50.
34. Ср.: Плиний, «Естественная история», XXXIII, 62, 63.
35. «Наука любви», III, 269.
36. «Псевдол», 145.
37. Плиний, «Естественная история», XXXV, 62.
38. Овидий, «Метаморфозы», VI, 70 и далее.
39. Плавт, «Авлуларий», 508; Марциал, «Эпиграммы», VIII, 28, 17.
40. Ср.: Тацит, «Анналы», XII, 41.
41. Ср.: Гораций, Сатира I, 2, 29; Плиний, «Естественная история», IX, 136.
42. Ювенал, Сатира VI, 482.
43. Ювенал, II – Овидий, «Наука любви», III, 169.
44. Тит Ливий, XXIX, 19, 12.

45. Светоний, «Жизнь Тиберия», 13.
46. Тацит, «Анналы», II, 59.
47. Светоний, «Жизнь Калигулы», 52.
48. II, V, 11, 27.
49. Авл Геллий, «Аттические ночи», XIII, 22, 1.
50. «Наука любви», III, 271, 272.
51. Плиний, «Естественная история», VII, 59, 211.
52. Светоний, «Нерон», 12; ср.: Ювенал, III, 186.
53. Цицерон, «К Аттику», II, 14 и 16; «В защиту Целия», 14, 33; «Катилинарий», 10, 22; Овидий, «Наука любви», I, 517 и т.д.
54. Плутарх, «Катон Младший», 53.
55. Гораций, Ода I, 12, 41 и II, 15, 11.
56. Цицерон, «В защиту Целия», 14.
57. Варрон, «Латинский язык», V, 129.
58. Цицерон, «In Pisonem», XI, 25.
59. «Наука любви», III, 434.
60. «De Brevitate Vitae», XII, 3.
61. Светоний, «Нерон», 51.
62. Овидий, «Метаморфозы», VIII, 319.
63. Тертуллиан, «De Cultu feminarum», 7.
64. «Сатурналии», VI, 500–501.
65. «Наука любви», III, 235 и далее.
66. Проперций, II, 18, 10.
67. «Наука любви», III, 149, 151.
68. Тертуллиан, «De Cultu feminarum», 7.
69. «Наука любви», III, 168.
70. Плиний, «Естественная история», XXVIII, 191.
71. Овидий, «Наука любви», III, 161 и далее.
72. Петроний, 110.
73. Сатира VI, 120.
74. Овидий, «Наука любви», III, 261 и далее.
75. Ср.: Овидий, «Medicamina faciei femineae», из которого уцелело несколько стихов.
76. Овидий, «Наука любви», III, 199 и далее.

77. Марциал, II, 41, 7.
78. Овидий, «Наука любви», III, 193.
79. Плиний, «Естественная история», XIII, 25.
80. Ср.: Плиний, «Естественная история», XIII, 4–25.
81. «Эпиграммы», I, 87.
82. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 12.
83. Ювенал, Сатира VI, 156.
84. Сенека, «De Beneficiis», VII, 9, 4 и «De Vita beata», 17.
85. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 85.
86. Плиний, «Естественная история», XXVII, 83, 98, 117, 128 и т.д.
87. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 1.
88. Ср.: Светоний, «Цезарь», 43.
89. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 17.
90. Плиний, «Естественная история», IX, 117.
91. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 1.
92. Авл Геллий, «Аттические ночи», VII, 12.
93. Лукреций, IV, 1225 и далее.
94. Лукреций, там же.
95. Овидий, «Наука любви», I, 503 и далее.
96. II, 1.

Глава III

1. XVII, 1, 6.
2. Атеней, XII, 542a.
3. Ср.: Ксенофонт, «Экономика», IV, 20 и далее.
4. «Метаморфозы», V, 1.
5. Ср.: Цицерон, «Катон Старший», 59.
6. Плутарх, «Спор о стоиках», XXI, 1044, c–d.
7. Плиний, «Естественная история», XXVI, 34.
8. «Элегии», II, 32, 11–13.
9. Ср.: D. Michel, «Alexander als Vorbild fur Pompeius, Caesar und Marc Antonius», Bruxelles, Latomus 94, 1967.

10. «Об архитектуре», V, 9, 1.
11. Плутарх, «Жизнь Катона», 19.
12. Плутарх, «Жизнь Марцелла», 33 и далее.
13. Плиний, «Естественная история», XXXV, 24.
14. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 7.
15. «Естественная история», XXXVI, 49.
16. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 109.
17. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 48.
18. «Оды», III, 1, 45–46.
19. Плиний, «Естественная история», XIX, 25.
20. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 189.
21. Ср.: Светоний, «Нерон», 31.
22. Ср.: Цицерон, «In Pisonem».
23. Ср.: «Epistulae», V.
24. Ср.: P. Grimal, «Les jardins romains», с. 229 и далее.
25. Ср.: J.N. Robert, «Les plaisirs à Rome», 2-е изд., с. 99 и далее.
26. Плутарх, «Жизнь Лукулла», 83.
27. «Ad Familiares», VII, 28; «Ad Atticus», IV, 10; «Ad Quintum Fratrem», III, 4.
28. Плиний, «Письма», II, 17, 11.
29. Сенека, «Письмо к Лукуллу», 86, 6.
30. Плиний, «Естественная история», XII, 13 и XXV, 116.
31. Плиний,«Естественная история», XXXVI, 154.
32. «К Луцилию», 55.
33. Плиний,«Естественная история», XXXI, 39.
34. «К Луцилию», 89, 21.
35. Стаций, «Сильвы», II, 2, 94–99.
36. Стаций, «Сильвы», II, 2, 84–90.
37. Текст – Плиний Младший, письмо V, 6–32–39.
38. Переписка «Ad Quintum Fratrem», III, 1.
39. Варрон, «De Re Rustica», III, 4, 2.
40. Варрон, «De Re Rustica», III, 13.
41. «De Beneficiis», VII, 10.
42. «Бог Сократа», 22.

43. «Эпиграммы», XII, 57, 18–25.
44. Авл Геллий, «Аттические ночи», XVII, 21–39.
45. Плиний,«Естественная история», XXXVII, 14.
46. Плиний, «Естественная история», XXXVII, 18 и далее.
47. Плиний,«Естественная история», XXXVII, 29.
48. Плиний, «Естественная история», там же.
49. Плиний, «Естественная история», VIII, 196.
50. Плиний, «Естественная история», XIII, 91.
51. II, 19.
52. «Сильвы», II, 2, 103–110.
53. VI, 847–853.
54. «К Аттику», I, 10, 3.
55. «К Аттику», I, 4, 3.
56. Плиний, «Естественная история», XXXV, 4 и 11.
57. Ср.: Плиний, «Естественная история», XXXIII, 157 и XXXV, 4.
58. Светоний, «Цезарь», 47, и Гораций, «Сатиры», II, 3, 64.
59. Марциал, «Эпиграммы», VIII, 6.
60. Стаций, «Сильвы», IV, 6.
61. Цицерон, «Деяния против Верреса», II, IV, XXIV, 54.

Глава IV

1. Плиний, «Естественная история», XXXIII, 47.
2. «Эпиграммы», II, 18.
3. Ювенал, Сатира XI, 149–150.
4. Плавт, «Меркатор», 397 и далее.
5. Сатира XIV, 303 и далее.
6. Плавт, «Хвастливый воин», 156 и далее.
7. Сенека, «Письма к Луцилию», XXVII, 24.
8. Полибий, «Истории», XXXI, 24.
9. Самое меньшее 400 000 франков, насколько возможно предложить эквивалент.
10. Ювенал, Сатира V, 53 и далее.

11. Марциал, «Эпиграммы», II, 63, 1.
12. Ср.: Плиний, «Естественная история», VII, 40, 1.
13. Плиний, «Естественная история», VII, 10.
14. Сатира VI, 286–299.
15. Овидий, «Наука любви», III, 267–268.
16. «Наука любви», III, 283–286.
17. Там же, 293–295.
18. «Заговор Катилины», XXV.
19. «Печальные элегии», III, 7.
20. Тацит, «Анналы», IV, и Плиний, «Естественная история», VII, 46.
21. «Послания», IV, 19.
22. Марциал, «Эпиграммы», II, 90, 9.
23. Ювенал, VI, 352–353.
24. «Наука любви», I, 67 и далее.
25. Там же, III, 421.
26. Марциал, Эпиграмма X, 30, 12–14.
27. Марциал, Эпиграмма XI, 80, 1 и Цицерон, «В защиту Целия», 15 и 20; Сенека, «Письма к Луцилию», 51; Ювенал, Сатира XI, 49; Овидий, «Наука любви», I, 255 и т.д.
28. «Послания», VIII, 17, 3.
29. «Оды», II, 6, 13–16.
30. Ср.: Сенека, «Письма к Луцилию», 123, 6 и далее; 87, 9; Плиний, «Естественная история», XXXIV, 163 и т.д.
31. Плиний, «Естественная история», XVIII, 107.
32. Макробий, «Сатурналии», III, 13, 13.
33. Плиний, «Естественная история», X, 50, 139.
34. Авл Геллий, «Аттические ночи», XV, 8.
35. Светоний, «Вителлий», 13.
36. «Письма к Луцилию», 122, 14.
37. Если возможно сравнивать, нужно считать, что один сестерций равен, самое меньшее, современным четырем франкам.
38. Сенека, «De Vita beata», XI, 4.
39. Ср.: Петроний, «Сатирикон», 31 и далее.

40. Ювенал, Сатира XI, 162–164 и 179–181.
41. «Послания», I, 15, 2.
42. Эпиграмма IX, 77, 5–6.
43. Макробий, «Сатурналии», III, 16 и далее.
44. Цицерон, «В защиту закона Манилии» (о полномочиях Гнея Помпея), 22.
45. Сатира III, 140–144.
46. Плиний, «Естественная история», XIX, 90, 91, 108.
47. Ср.: Светоний, «Тиберий», 34.
48. Плиний, «Естественная история», XXVI и Светоний, «Нерон», 37.
49. Эпиграмма III, 63.

Глава V

1. Овидий, «Наука любви», I.
2. «Тускуланы», II, 20, 46.
3. «Письма», VI, 34.
4. Валерий Максим, II, 4, 7.
5. Тит Ливий, XXVIII, 21, 2–3.
6. Тит Ливий, XXIII, 30, 15.
7. Тит Ливий, XXXI, 50, 4.
8. Тит Ливий, XXXIX, 46, 2–3.
9. Тит Ливий, XLI, 28, 11.
10. Светоний, «Цезарь», 10.
11. Дион Кассий, LXVIII, 15.
12. Дион Кассий, LXIII, 3.
13. Дион Кассий, LXVII, 8.
14. Ювенал, Сатира VI, 259 и далее.
15. «Persa», 198–199, и «Poenulus», 1011–1012.
16. Ср.: J.N. Robert, «La vie à la campagne dans l'antiquité romaine», с. 296 и далее.
17. Плиний, «Естественная история», VIII, 197; Сенека, «Письма к Луцилию», 41, 6.

18. Тит Ливий, XXXIX, 22, 2.
19. Валерий Максим, II, 7, 13.
20. Плиний, «Естественная история», VIII, 19.
21. Плиний, «Естественная история», VIII, 131.
22. «Ad Familiares», VII, 1.
23. «De Brevitate Vitae», XIII, 6.
24. Об играх Скавра, Помпея и Цезаря ср.: Плиний, «Естественная история», VIII, 20–22; 53; 64; 69–70; 96, и Светоний, «Цезарь», 39,3.
25. Светоний, «Тит», 7, и Дион Кассий, LXVI, 25.
26. Плиний, «Естественная история», VIII, 65.
27. II, 34.
28. Послание II, 1, 195–196.
29. Дион Кассий, LIX, 14.
30. Светоний, «Вителлий», 4.
31. Эпиграмма X, 48.
32. Сатира XI, 197–201
33. «Письма», IX, 6, 2–3.
34. «Сатиры», VIII, 146 и далее.
35. Светоний, «Вителлий», 4.
36. «Анналы», XIV, 20–21.
37. Сенека, «Письма к Луцилию», 15.
38. «Анналы», XIV, 20, 5.
39. Сатира III, 68.
40. Сенека, «Письма к Луцилию», 15.
41. Сатира VI, 355–356.
42. VII, 2.
43. Ср.: Гораций, «Послания», II, 170 и далее.
44. «Гецир», пролог.
45. VII–2.
46. Светоний, «Калигула», 57.
47. «Естественные вопросы», VII, 32.
48. Тацит, «Анналы», XIII, 25.
49. Ювенал, Сатира VI, 63–65.
50. «Диалог об ораторах», 29.

51. Тацит, «Анналы», I, 77.
52. Светоний, «Веспасиан», 19.
53. Дион Кассий, LXVI, 15 и LXXII, 17.
54. Эпиграмма X, 53.
55. Эпиграмма V, 24.
56. Петроний, «Сатирикон», 52, 3 и 61, 6.
57. Сатира VI, 82–113.

Глава VI

1. Минуций Феликс, «Октавий», VI, 2–3.
2. IV, 30.
3. Диодор, XXXVI, 6.
4. «Луций», 35 и далее.
5. Плутарх, «Жизнь Мария», 17.
6. Сатира III, 62–65.
7. X, 25–27.
8. I, 3, 23 и далее.
9. «Любовные элегии», II, 13, 11–14.
10. «Наука любви», I, 77–78.
11. Сатира VI, 489.
12. Сатира VI, 534.
13. Ювенал, Сатира VI, 522 и далее.
14. C.I.L. II, 3386.
15. Сатира II, 152.
16. Проперций, IV, 77; Катулл, LXVI, 7; Гораций, Ода I, 28, 2.
17. Светоний, «Октавиан», 95. Дион Кассий, XLIV, 43.
18. Тацит, «Анналы», VI, 21; Светоний, «Тиберий», 14, 6.
19. «Истории», I, 22.
20. Тацит, «Анналы», III, 22.
21. Светоний, «Нерон», 36.
22. Ювенал, Сатира VI, 55 и далее.
23. «Анналы», IV, 58.

Глава VII

1. «De Re Rustica», II, 4, 10.
2. «Естественная история», XI, 240.
3. «Эпиграммы», XII, 32, 18.
4. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 55.
5. Светоний, «Домициан», 14.
6. Цицерон, «Письмо к Аттику», I, 7–8.
7. Плиний, «Естественная история», XXXVI, 32; Цицерон, «Ad Familiares», VII, 23; XIII, 21.
8. Гарум — острый соус, очень широко использовавшийся в кулинарии. Он получается, в частности, путем вымачивания рыбьих потрохов.
9. Плиний, «Естественная история», XV, 102.
10. Плиний, «Естественная история», XV, 82.
11. Плиний, «Естественная история», XXV, 6; XV, 65.
12. Плиний, «Естественная история», XII, 56 и XVI, 197.
13. Ювенал, Сатира III, 83, и Марциал, «Эпиграммы», XIII, 29.
14. XIII, 28.
15. Плиний, «Естественная история», XV, 12.
16. Цезарь, «Записки о гражданской войне», III, 107; Тацит, «История», II, 98.
17. Флавий Иосиф, «Иудейская война», II, 10, 5.
18. Страбон, XVI, 780–782.
19. Страбон, XVI, 779.
20. «Естественная история», VI, 26, 6 и XII, 84.
21. «Естественная история», XII, 26.
22. «Георгики», II, 121.
23. «Естественная история», VI, 24, 3.
24. XXIII, 68.
25. II, 5, 12.
26. Плиний, «Естественная история», VI, 100 и далее.
27. Ср.: Jouveau-Dubreuil en «Dupleix ou l'Inde conquise», Pondichery, 1941.
28. Ипполит, «Отвержение всех ересей», I, 24, 1–4.

Глава VIII

1. «Аттические ночи», XII, 4.
2. Цицерон, «Брут», 260.
3. «Брут», 259.
4. Около семисот или восьмисот тысяч франков.
5. «Ad Familiares», XIII, 77.
6. Письмо VIII, 1.
7. Ср.: Катулл, стихотворение 28.
8. «Послания», II, 1, 108–110.
9. «Послания», II, 1, 124–131.
10. Сатира I, X, 9 и далее.
11. «Буколики», II, 28, 29.
12. «Тиберий», LXX.
13. Марциал, Эпиграмма II, 20, а также XII, 46 и т.д.
14. Петроний, «Сатирикон», 55.
15. Письмо VII, 4, 8–9.
16. «Послания», II, 1, 119–121.
17. Марциал, Эпиграмма III, 44, 6–8.
18. Ср.: Петроний, «Сатирикон», 90.
19. Эпиграмма III, 44, 9 и далее.
20. Эпиграмма I, 107.
21. Сатира VII, 22–32.
22. Сатира VII, 69–71 и 86–87.
23. Письмо I, 10, 1.
24. «Аттические ночи», 18, 13, 4.
25. Плиний, «Панегирик Траяну», 47, 1.
26. Речь идет об одном из римских холмов.
27. Письмо II, 3, 1–3.
28. Ср.: Филострат, «Жизнь Полемона» в книге «Жизнь софистов».
29. Цицерон, «Об ораторе», III, 98; «Оратор», 168.
30. Цицерон, «В защиту Целия», 33 и 37.
31. Ср.: Персий, «Элегии», I, 70 и далее.

32. Гораций, «Поэтическое искусство», 15.
33. «Ораторские установления», II, 4, 3–4.
34. «Сатирикон», 118.
35. «Das Fortleben der Romischen Elegiker in den Carmina Epigraphica», Tubingen, 1934.
36. «Диалог об ораторах», 13 и 7.
37. Тацит, «Диалог об ораторах», 7 и далее.
38. Письмо VII, 25, 2 и далее.
39. Марциал, Эпиграмма I, 2, 1–3.
40. Ювенал, Сатира III, 206–207.
41. «Сатирикон», 48, 4.
42. «Контроверсы», VII, 7, 13 и далее.
43. Сатира I, 4, 73.
44. Ср.: Ювенал VII, 39 и далее.
45. Письмо IX, 34, 2.
46. Письмо I, 13, 1–2.
47. Письмо VI, 17.
48. Письмо V, 17.

Глава IX

1. Ср.: Квинтилиан, 54 и I, 8, 6.
2. Ср.: Ювенал, Сатира VII, 231 и далее.
3. Элегия IV, 1, 131 и далее.
4. Палатинская антология, VI, 349.
5. Страбон, XIII, 2.
6. Баттос был царем Кирены, родного города Каллимаха – стихотворение 65, 16 и 116, 2.
7. 63, 50, 73.
8. 63, 6–11.
9. «Гимн Артемиде», строка 26 и далее.
10. Цитируется Лонгином в «Трактате о возвышенном», 10.
11. 11, 5–8 и 17–20.

12. 95.
13. 36, 1 и 20.
14. Ср. также 14 и 35.
15. 49.
16. Стихотворение 50, строки 1–17 (Катулл).
17. Стихотворение 1.
18. Катулл, стихотворение 3.
19. Катулл, стихотворение 5.
20. Там же. 38.
21. Там же. 56.
22. Там же. 42.
23. Там же. 43.
24. Катулл, стихотворение 54.
25. Катулл, стихотворение 57.
26. 16, 7–11.
27. Сатира I, 10, 19.
28. Письмо VII, 4, 1.
29. Письмо IV, 14, 1–3.
30. Там же. 16, 5–6.
31. Письмо V, 3, 1–3.
32. Ср.: «Заговор Катилины», XI; «Война с Югуртой», LXXXV.
33. Стихотворение 27.
34. Стихотворение 12.
35. «Брут», XLIX, 184, 185, 188.
36. Тацит, «Диалог об ораторах», V, 4.
37. Там же, VI, 2.
38. Там же, VI, 4.
39. Там же, VII, 4.
40. XVIII, 2.
41. XIX, 2.
42. XIX, 3–5.
43. «Брут», VII, 26.
44. «Брут», XV, 57.
45. «Брут», XIII, 49.

46. Ср.: Авл Геллий, «Аттические ночи», XV, 11.
47. «Брут», XIII, 51.
48. «Брут», LXXXIV, 289.
49. «Брут», XXII, 85–88.
50. «Об ораторе», III, 38, 153.
51. «Ораторские установления», I, 6, 39.
52. Ср.: «Брут», XCV.
53. «Брут», LXXXIII и LXXXIV.
54. Светоний, «Август», 86.
55. «Брут», XC, 310.
56. Ср.: Ювенал, Сатира VII, 150 и далее.
57. Ср.: Сенека Ритор, «Контроверсы», VII, praef. 1.
58. «Диалог об ораторах», XXXV.
59. «Диалог об ораторах», XXI, 1.
60. «Ораторские установления», 5, 12, 17.
61. XX, 5–7.
62. «Брут», XVII, 67.
63. «Сатурналии», V.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Напрасно было бы пытаться составить библиографию, касающуюся только различных аспектов моды в Риме. Прежде всего потому, что не существует ни одной обобщающей работы на эту тему, даже если многочисленные исследователи часто упоминают о месте, которое занимала мода в римской цивилизации, так же как и в других. Далее потому, что настоящие источники нашей работы в большинстве своем обнаруживаются у самих древних авторов. Читатель, конечно же, заметил на страницах этой книги более пятисот ссылок на тексты греческих и латинских авторов и сможет обратиться к ним с той пользой и удовольствием, которые дает чтение античных текстов. Почти все они выпущены с переводом в знаменитой серии «Collection des Universités de France» издательства «Les Belles Lettres».

Мы приводим здесь лишь несколько работ, знакомство с которыми кажется нам ценным для более углубленных размышлений о моде и которым обеспечивает авторитет серьезный и научный подход авторов, ибо они были и остаются нашими наставниками в изучении классической античности.

(Каждый раздел открывается несколькими общими работами, за которыми следуют несколько наименований, тесно связанных с нашей темой.)

История

Серия «Nouvelle Clio» (PUF):
Albertini G. L'empire romain. 4e éd., revue par A.Chastagnol. P., 1970.
Carcopino J. Les étapes de l'impérialisme romain. P., 1961.

Grimal P. Le siècle des Scipions. P., 1975.

Heurgon J. Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres puniques. N. Clio. P., 1969. № 7.

Jerphagnon L. Histoire de la Rome antique. P., 1987.

Le Gall J., Le Glay M. L'Empire romain, le haut-empire. P., 1987.

Nicolet C. Rome et la conquête du monde méditerranéen:

1) Genèse d'un empire. P., 1978. № 8 bis.

2) Les structures de l'Italie romaine. 2e éd. P., 1979. № 8.

Petit P. La Paix romaine. 2e éd. P., 1971. № 9.

Piganiol A. La conquête romaine. P., 1974.

Remondon R. La crise de l'Empire romain. 2e éd. P., 1970. № 11.

Серия «Peuples et civilisations» (PUF):

Scullard R. Roman politics 220–150 BC. 2e éd. Oxford, 1972.

Syme R. La révolution romaine (trad. de R. Stuveras). P., 1967.

Экономика и торговля

Boulnois L. La route de la soie. P., 1963.

Filliozat J. La doctrine brahmanique à Rome au IIIe siècle et les échanges de l'Inde et de l'Empire romain. Pondichery; P., 1956.

Finley M.I. L'économie antique (trad. M.P. Higgs). P., 1975.

Rostovtzeff M. Social and Economic History of the Roman Empire. 2 vol. Oxford, 1926; trad. française Bouquins, Laffont. P., 1988.

Rouge J. Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain. P., 1966.

Архитектура, градостроительство

Bianchi-Bandinelli R. Rome, le centre du pouvoir (coll. l'Univers des formes). P., 1969.

Duret L., Neraudau J.P. Urbanisme et Métamorphoses de la Rome antique (coll. Realia). P., 1983.

Grimal P. Les jardins romains. 2e éd. P., 1969.

Gros P. Architecture et société à Rome et en Italie centro-méridionale aux deux derniers siècles de la République. Bruxelles, 1978, Latomus № 156.

Homo L. Rome impériale et l'Urbanisme dans l'Antiquité. 2e éd. P., 1971.

Pelletier A. L'urbanisme romain sous l'Empire. P., 1982.

Picard G.Ch. Rome et les villes d'Italie des Gracques à la mort d'Auguste. P., 1978.

Цивилизация, повседневная жизнь, история менталитета

André J.M. Otium. P., 1966.

André J.M. L'alimentation et la cuisine à Rome. P., 1981.

Auguet R. Les jeux romains. P., 1970.

Aymard J. Les chasses romaines. P., 1951.

Balsdon J.P. Roman women. Their history and habits. Londres, 1962.

Beaulieu M. Le costume antique (coll. Que sais-je?). P., 1967.

Carcopino J. La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire. P., 1939.

Daremberg Ch., Saglio E., Pottier E. Dictionnaire des antiquités grecques et latines. P., 1877–1918.

Etienne R. La vie quotidienne à Pompei. P., 1966.

Faure P. Parfums et aromates de l'Antiquité. P., 1987.

Fredouille J.Cl. Dictionnaire de la civilisation romaine. P., 1968.

Grimal P. La civilisation romaine. P., 1960.

Heurgon J. La vie quotidienne chez les Etrusques. P., 1961.

Heuzey L. Histoire du costume antique. P., 1923.

Hus A. Les Etrusques et leur destin. P., 1980.

Nicolet C. Le métier de citoyen dans la Rome républicaine. P., 1976.

Meslin M. L'homme romain des origines au Ier siècle de notre ère. P., 1978.

Marrou H.I. Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. P., 1948.

Paoli U.E. Vita romana, la vie quotidienne dans la Rome antique. P., 1955.

Piganiol A. Les jeux romains. Strasbourg, 1923.

Robert J.N. Eo Romam. P., 1980.

Robert J.N. La vie à la campagne dans l'antiquité romaine (coll. Realia). P., 1985.

Robert J.N. Les plaisirs à Rome (coll. Realia). 2e éd. P., 1986.

Turcan R. La vie à la cour des Césars. P., 1987.

Veyne P. Le pain et le cirque. P., 1976.

Ville G. La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien. P., 1981.

Wilson L.M. Ancient greek, roman and byzantine costume. Baltimore, 1938.

Религия

Bayet J. Histoire politique et psychologique de la religion romaine. 2e éd. P., 1969.

Beaujeu J. La religion romaine à l'apogée de l'Empire. I. La politique religieuse des Antonins. P., 1955.

Bouche-Lerclercq A. Histoire de la divination dans l'Antiquité. 4 vol. P., 1879–1882.

Carcopino J. La basilique pythagoricienne de la Porte-Majeure. P., 1962.

Cumont F. Astrology and religion among the Greeks and the Romans. N.Y., 1912.

Cumont F. Les religions orientales dans le paganisme romain. 4e éd. P., 1929.

Freyburger G., Freyburger M.L., Tautil J.C. Sectes religieuses en Grèce et à Rome (coll. Realia). P., 1986.

Le Gall J. La religion romaine (de l'époque de Caton l'Ancien au règne de l'empereur Commode). P., 1975.

Le Glay M. La religion romaine. P., 1971.

Lehmann Y. La religion romaine (Que sais-je? № 1890). P., 1981.

Scheid J. Religion et piété à Rome. P., 1985.

Turcan R. Littérature astrologique et astrologie littéraire dans l'Antiquité classique, in Latomus XXVII, 1968.

Литература

Bardon H. La littérature latine inconnue. 2 vol. P., 1956.

Bardon H. Les empéreurs et les lettres latines d'Auguste à Hadrien. 2e éd. P., 1968.

Bayet J. Littérature latine. P., 1964.

Bornecque H. Les déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le Père. Lille, 1902.

Granarolo J. Catulle, ce vivant. P., 1982.

Guillemin A.M. Pline et la vie littéraire de son temps. P., 1931.

Lafaye G. Catulle et ses modèles. P., 1894.

Legrand Ph.E. La poèsie alexandrine. P., 1924.

Marache R. La critique littéraire de la langue latine et le développement du gout archaisant au IIe siècle de notre ère. P., 1952.

Martin R., Gaillard J. Les genres littéraires à Rome. 2 vol. P., 1981.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Курсивом выделены имена литературных авторов и основные произведения.

Крупными буквами выделены имена великих исторических деятелей и основные исторические события.

753–509 гг. до н.э. Эпоха царей: латино-сабинских царей (РОМУЛ, НУМА, ТУЛЛ ГОСТИЛИЙ и АНК МАРЦИЙ) в 616 году сменяют этрусские (ТАРКВИНИЙ СТАРШИЙ, СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ и ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ).

509 Легендарный год основания Республики. Завоевание Италии.

488–486 КОРИОЛАН ведет войну с вольсками.

458 ЦИНЦИННАТ ведет войну с эквами.

406–395 КАМИЛЛ руководит осадой города Вейи.

281–272 Война с Тарентом и ПИРРОМ. Конец завоевания Италии.

264–241 Первая Пуническая война.

218–201 Вторая Пуническая война. ГАННИБАЛ в Италии.

217 Поражение римлян у озера Тразимены.

212 Взятие Сиракуз римлянами.

202 СЦИПИОН Африканский побеждает в Заме. *ПЛАВТ (251–184) пишет комедии.*

197 ФЛАМИНИЙ побеждает Филиппа II Македонского при Киноцефале.

195 Консулат КАТОНА. *КАТОН (234–149) пишет работы по истории, сельскому хозяйству...*

184 КАТОН становится цензором.

168 ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ побеждает Персея при Пидне.

166 *ТЕРЕНЦИЙ (185? – 159) пишет первую комедию.* В середине II века знаковой является фигура СЦИПИОНА ЭМИЛИАНА, сына Павла Эмилия, усыновленного сыном СЦИПИОНА Африканского.

155 В Рим прибывает посольство греческих философов, среди них КАРНЕАД. В Риме находится ПОЛИБИЙ, близкий друг СЦИПИОНА ЭМИЛИАНА.

149–146 Третья Пуническая война. Карфаген стерт с лица земли.

133 Трибунат ТИБЕРИЯ ГРАКХА (убит). Смерть АТТАЛА III, царя Пергама, завещавшего свое царство римлянам.

130 Создание провинции в Азии.

123 Трибунат ГАЯ ГРАКХА (убит в 121).

107 Консулат МАРИЯ (а также со 104 по 101).

88 Консулат СИЛЛЫ.

83 Массовые убийства и изгнания. Гражданская война.

82 Неограниченная диктатура СИЛЛЫ.

79 Отречение СИЛЛЫ (умирает в 78).

70 Консулаты ПОМПЕЯ и КРАССА.

63 Консулат ЦИЦЕРОНА и заговор КАТИЛИНЫ.

60 Первый триумвират: ПОМПЕЙ, КРАСС и ЦЕЗАРЬ, *КАТУЛЛ (87–54) сочиняет свои стихи.*

59 Консулат ЦЕЗАРЯ. *ЛУКРЕЦИЙ (98? – 55) пишет «О природе вещей».*

58–57 Трибун КЛОДИЙ разжигает волнения, пока ЦЕЗАРЬ находится в Галлии.

56 *ЦИЦЕРОН пишет «В защиту Сестия».*

53 Смерть КРАССА. КЛОДИЙ убит людьми трибуна МИЛОНА.

52 ПОМПЕЙ становится единственным консулом. *ЦИЦЕРОН пишет «В защиту Милона».*

49 ЦЕЗАРЬ переходит Рубикон. Гражданская война сталкивает ЦЕЗАРЯ и ПОМПЕЯ.

48 ЦЕЗАРЬ одерживает победу при Фарсале. ПОМПЕЙ убит в Египте.

46 ЦЕЗАРЬ окончательно разделывается с оппозицией сторонников Помпея. КАТОН совершает самоубийство в Утике.

44 ЦЕЗАРЬ убит в мартовские иды. *САЛЛЮСТИЙ (86–35) пишет «Заговор Катилины» и «Войну с Югуртой».*

43 Второй триумвират: ОКТАВИАН, АНТОНИЙ и ЛЕПИД.

40 Соперничество. Войны после разделения римского мира между тремя правителями. *ГОРАЦИЙ (65–8) пишет «Эподы».*

36 ЛЕПИД смещен. *ВЕРГИЛИЙ (70–19) пишет «Георгики».*

31 АНТОНИЙ терпит поражение от ОКТАВИАНА при Акции. *ГОРАЦИЙ пишет «Сатиры».*

27 ОКТАВИАН принимает имя АВГУСТ и учреждает принципат. *ВЕРГИЛИЙ пишет «Энеиду», ГОРАЦИЙ – «Оды». ТИБУЛЛ (50 – 19?) сочиняет первый сборник «Элегий», как и ПРОПЕРЦИЙ (47? – 15?). ТИТ ЛИВИЙ (59? – 17 н.э.) пишет «Историю Рима».*

19 Смерть ВЕРГИЛИЯ. *ГОРАЦИЙ пишет «Послания». ОВИДИЙ (43 – 17/18 н.э.) пишет «Любовные элегии» (15–0), затем «Науку любви» (1 или 2) и «Фасты» (4).*

14 Смерть АВГУСТА.

14–37 Правление ТИБЕРИЯ. *АПИЦИЙ записывает рецепты. СЕНЕКА (55 до н.э. – 39 н.э.) занимается риторикой. ВАЛЕРИЙ МАКСИМ и ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛ пишут исторические труды.*

37–41 Правление КАЛИГУЛЫ.

41–54 Правление КЛАВДИЯ.

54–68 Правление НЕРОНА. *СЕНЕКА пишет «О праведной жизни» и «Письма к Луцилию». Умирает в 65. Петроний пишет «Сатирикон». Умирает в 65.* СИЛИЙ ИТАЛИК (25–101) становится консулом в 68.

68–69 Правление ГАЛЬБЫ.

69 Сменяются ОТОН, ВИТЕЛЛИЙ и ВЕСПАСИАН.

69–79 Правление ВЕСПАСИАНА.

79–81 Правление ТИТА.

81–96 Правление ДОМИЦИАНА, *МАРЦИАЛ (40?–104?) начинает писать «Эпиграммы».*

96–98 Правление НЕРВЫ.

98–117 Правление ТРАЯНА. *ТАЦИТ (55? – 120) пишет «Анналы». ПЛИНИЙ Младший (62 – 113?) пишет «Панегирик Траяну». ЮВЕНАЛ (65? – 128) публикует «Сатиры».*

117–138. Правление АДРИАНА. *СВЕТОНИЙ (75? – 160?) ок. 120 публикует «Жизнь двенадцати цезарей». ФЛОР пишет историю.*

138–161 Правление АНТОНИНА. ФРОНТОН становится консулом в 143. *АПУЛЕЙ (125? – 170?) пишет свой роман.*

161–180 Правление МАРКА АВРЕЛИЯ. *АВЛ ГЕЛЛИЙ пишет «Аттические ночи».*

180–192 Правление КОММОДА.

193–211 Правление СЕПТИМИЯ СЕВЕРА. *ТЕРТУЛЛИАН (150/160 – 222) ок. 207 публикует «О зрелищах».*

211–217 Правление КАРАКАЛЛЫ.

218–222 Правление ЭЛАГАБАЛА.

222–235 Правление АЛЕКСАНДРА СЕВЕРА.

306–337 Правление КОНСТАНТИНА, который перед смертью обращается в христианство. *В это время пишут АММИАН МАРЦЕЛЛИН (330? – 400) и АВГУСТИН (354–430).*

410 АЛАРИХ, вождь вестготов, завоевывает Рим с суши. РУТИЛИЙ НАМАЦИАН становится префектом Рима в 414 и покидает город в 417.

455 АТТИЛА и гунны берут Рим с моря.

476 ОДОАКР овладевает Римом. Конец Западной Римской империи.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авл Геллий 281, 297
Агриппа 119, 238
Агриппина 80, 166
Адриан 75, 82, 85, 129, 137, 168, 171, 288, 296, 298–302, 357, 359
Азиний Поллион 133, 292, 311, 339
Александр Македонский 19, 25, 26, 84, 105, 110, 129, 151, 183, 223, 259, 271, 288
Аммиан Марцеллин 268, 271
Анакреонт 328, 332
Анний Плокам 272
Антиох II 100
Антиох III 18, 35
Антоний 75, 161, 196, 301, 302
Апеллес 148
Апиций 175, 176, 178
Аполлодор 256, 392, 355
Аполлоний Родосский 320
Апр 342, 343, 356, 357
Апулей 111, 142, 147, 249
Аристотель 132
Аррий 284
Архесилай 150
Архитас 243
Аттал I 105, 106, 110, 119
Аттал II 105, 108
Аттал III 106, 112, 115, 118, 145, 252, 322
Аттик Ирод 301, 302
Аттик Тит 98, 114, 133, 149

Балбилл 245
Бафилл 211, 212
Береника 93
Бландин 192
Брут Децим 128
Брут Марк 95, 124

Валерий Максим 37
Валерий Флакк 42
Варрон 81, 141
Вергилий 15, 71, 148, 178, 267, 288, 291, 295, 307, 308, 315, 326, 339, 341, 357, 360
Веррес 82, 97, 148, 151, 152
Веспасиан 245
Веспасий 213

Вителлий 174, 175, 200, 201
Витрувий 114, 121, 122
Волюзий 330

Габиний 85
Гальба 347, 348
Ганнибал 17, 20, 116, 151, 165, 223
Гермагор 342
Германик 82
Гермодор 101
Гесиод 160, 293
Гиперид 351
Гиппал 273
Гомер 29, 56, 160, 179, 238, 279, 293
Гораций 126, 151, 167, 168, 288–291, 294, 295, 307, 308, 312, 337, 339, 357, 360
Горопс 243
Гортензий 70, 141, 150, 173, 311
Гракх Гай 69, 297
Гракх Тиберий 24, 42, 55, 56, 100, 297, 345

Дамасипп 151
Дарий 129, 300
Демокрит 238
Демосфен 347, 350
Диоген Лаэрций 238
Диоген Синопский 54
Диодор 56
Диоклетиан 81, 230
Дион Кассий 32
Домициан 205, 245, 253, 298, 315

Иероним (святой) 66
Ипполит 275

Калигула 66, 82, 95, 138, 183, 199–201, 215, 228, 263
Каллимах 162, 320, 325–328, 333
Кальв 290, 317
Кальпурний Пизон 296, 314, 325
Карнеад 43, 51, 52, 298
Кассий 52
Катилина 60
Катон Младший (Утический) 60, 85, 100
Катон Старший 11, 34–43, 47, 51, 52, 56–59, 66, 69, 102, 116, 146, 161, 162, 183, 243, 280, 297, 346, 349, 355, 359
Катул Квинт 124
Катулл 232, 284, 288, 290, 293, 307, 318, 319, 324, 326–349
Клавдий 89, 183, 227, 245
Клавдий Максим 303
Клавдий Север 303
Клеопатра 196, 197
Клодия 164, 318
Коммод 200, 201, 215, 230
Конон 243
Константин 85
Корнелия 116, 143
Корнифиций 317
Космос Марциал 93
Котта 284
Красс (консул в 65 г. до н.э.) 24, 124, 143, 145, 181

Красс (оратор) 144
Красс (триумвир) 44
Критолаос 283
Ксенофонт 25
Ксеркс 300
Курий Дентат 33, 35
Курион 190
Курций Марк 102

Лелий 54, 347
Леллий 348
Лепид 100, 124, 189
Ливий Андроник 16, 22, 29, 31, 52, 206, 207, 211, 279, 280, 307, 319, 325, 326
Ливий Друс 144
Лидиас 150
Лидий 45
Лисий 347, 350
Лисипп 147, 151
Лицин Публий 189
Лоллия 95
Лукан 357
Лукиан 159, 229, 303
Лукреций 284, 287, 288, 359
Лукулл 132, 140, 143, 150, 195, 254
Лутаций Катул 215
Луцилий 56, 60

Макробий 360
Мамурра 126, 335
Манлий Торкват 42
Марий 143, 181, 230
Марий Гай 43
Марк Аврелий 169, 182, 275, 296, 302, 358, 359
Марк Антоний 303
Марк Фаворин 174, 175
Марцелл 21, 84, 117, 118, 197, 213
Марциал 97, 155, 165, 167, 168, 179, 180, 184, 200, 217, 250, 256, 293–295, 332
Меммий 284, 287
Мессала 291
Мессалина 89
Меценат 290–292, 295, 332, 351
Мирон 148, 151, 152
Молон 349
Мунд Деций 233

Невий 16, 44, 281, 359
Нерон 79, 86, 90, 93, 95, 127, 129, 133, 145, 146, 170, 183, 197, 199, 200–204, 214, 244, 292, 293, 296, 315, 321
Нигидий Фигул 237, 238, 243
Номентат 178
Нонний Виндекс 151

Овидий 78, 80, 85, 87, 88, 97, 98, 164–167, 187, 233, 288, 292, 307, 332
Огульвия 204
Октавиан Август 65, 70, 75, 79, 90, 98, 126, 133, 154, 167, 181, 182, 190, 196, 197, 211, 212, 222, 223, 238, 239, 243–245, 254,

257, 258, 260, 264, 289, 292, 306, 309, 315, 351, 352, 354, 355, 360

Павсаний 268
Панеций 54, 55, 222, 283, 345
Парфений Никейский 325
Паситель 150
Перикл 326, 351
Персей 19, 23, 25, 100, 108, 132
Петроний 146, 263, 307
Пилад (актер) 211, 213
Пиндар 326, 328
Пирр 33
Пифагор 237, 238
Плавт 24, 44, 45–47, 76, 80, 87, 91, 113, 192, 205, 207–209, 211, 277, 281, 304, 305, 307, 359
Платон 23, 179, 238, 303
Плиний Младший32, 61, 129, 131, 133, 138, 165, 179, 188, 200, 293, 294, 296, 297, 332, 338
Плиний Старший 92, 94, 95, 113, 118, 124, 134, 135, 145, 146, 165, 175, 250, 257, 265–268, 273, 286, 298, 300, 308, 312, 314
Плотин 275
Плутарх 18, 21, 24, 32, 40, 42, 56, 118
Полемон 301
Полибий 21, 26, 28, 30–32, 54, 56, 283
Поликлет 148, 151, 152
Поллий Феликс 136, 147
Помпей 93, 94, 111, 112, 114, 119, 129, 145, 181, 195, 196, 237, 257, 262, 269, 325
Помпилий Нумен 51
Поппея 90, 170
Посидоний Апамейский 237
Постумий 23
Постумий Альбин 51
Пракситель 151, 152
Проперций 114, 307, 325
Псевдо-Лонгин 356
Птолемей II 108, 271, 272, 321
Публилий 293
Росций (актер) 216

Саллюстий 11, 129, 163, 338, 349, 359, 360
Сапфо 162, 328, 332
Светоний 211, 292
Секст Помпей 85
Селевк I 105
Семпрония 164
Сенека 85, 93, 133–134, 142, 146, 147, 161, 167, 170, 176, 178, 195, 212, 235, 310, 311, 356
Сервилий Гемин 281
Скавр 126, 195
Скрибоний 244
Сократ 39, 50, 59, 132
Стаций 136, 147, 295
Стефан 150
Стефанион 213
Страбон 104, 257, 272

Сулла 111, 151, 177, 181, 195, 209, 216
Сципион Азиатский 28
Сципион Африканский 20, 23, 27–29, 33, 35, 36, 41, 42, 52, 57, 59, 60, 72, 82–84, 110, 133, 304, 346
Сципион Эмилиан 25, 26, 30, 42, 43, 54, 55, 58, 61, 97, 128, 144, 203, 208, 283, 284, 286, 297, 321, 344, 345–348

Тарквиний Старший 79
Тацит 165, 167, 203, 212, 244, 249, 293, 308, 342, 353, 357
Теренций 60, 206, 208, 209, 281, 305, 307
Тертуллиан 72, 73
Тиберий 66, 77, 82, 182, 183, 243, 244, 249, 257, 292, 351, 355
Тибулл 292, 307
Тигран 292
Тит 93, 190, 196, 215
Тит Ливий 19, 21, 27, 32, 198, 206, 211, 223
Траян 61, 87, 88, 138, 165, 190, 256, 297, 298, 300, 302
Тримальхион 178, 179, 217, 293, 308

Фабий Максим 40, 42
Фабий Пиктор 52, 225
Фабриций 144
Фалех 332
Феаген 243
Фемистокл 300
Феодор 355
Феокрит 162, 238, 291, 325
Феофан Мителенский 325
Фидий 19, 148, 151
Филипп V Македонский 17–19, 100
Филодем 325
Фламиний 18, 19, 21–23, 36, 58, 100, 189
Флор 32, 197
Фрасилл 244, 246
Фронтон 302, 357–359
Фукидид 350
Фульвий Ноблиор 29, 194, 203

Хилон 57
Хрисипп 111

Цезарь 71, 79, 87, 94, 95, 114, 126, 129, 131, 151, 169, 177, 181, 189, 190, 196, 197, 210, 223, 237, 245, 262, 284, 325, 335
Цинна Гельвий 288, 317
Цинцинат 33
Цицерон 7, 8, 24, 29, 40, 45, 60, 61, 65, 70, 72, 82, 98, 114, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 143, 148–150, 152, 164, 167, 169, 181, 188, 195, 210, 214, 216, 235, 237, 254, 284–286, 293, 297,

305, 306, 311, 321, 325, 330, 339, 340, 343, 345, 346, 347–352, 355, 357, 359, 360

Эвандр 15
Эвмен I 105
Эвмен II 105, 106
Эвн 229
Элагабал 66
Элий Галл 272
Эмилий Авиан 254
Эмилий Лепид 52, 100, 101
Эмилий Павел 19–21, 23, 25, 26, 42, 43, 49, 100, 108, 142, 144, 194
Эмилий Скавр 112, 113
Энколпиус 286
Энний 16, 29, 40, 280, 281, 307, 319, 326, 359
Эпикур 48
Эсхин 147, 351

Ювенал 24, 72, 87, 89, 90, 95, 155, 162, 167, 181, 191, 200, 201, 204, 215, 218, 232, 233, 235, 245, 255, 256, 295, 296
Югурта 181
Юлиан 85
Юлий Полиен 325
Юлия 182
Юний Рустик 303
Юстиниан 66

УКАЗАТЕЛЬ СХЕМ И ПЛАНОВ

с. 103 – Римский Форум
с. 107 – Акрополь в Пергаме
с. 115 – Портик Помпея
с. 123 – Дом Фавна в Помпеях
с. 125 – Дом Масок в Делосе
с. 149– Вилла папирусов в Геркулануме
с. 270 – Карта торговых путей на Восток и Дальний Восток в эпоху Антонинов (II в.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. *Пер. А. Якимова* 5
Глава I. Мода и история. *Пер. А. Якимова* 14
Глава II. Мода в одежде и украшениях. *Пер. А. Якимова* 62
Глава III. Мода и образ жизни (публичной и частной). *Пер. К. Щербино* 99
Глава IV. Жизнь по законам моды. *Пер. К. Щербино* 154
Глава V. Мода и игры. *Пер. К. Щербино* 185
Глава VI. Мода и религия. *Пер. Е. Сутоцкой* 220
Глава VII. Мода, экономика и торговля. *Пер. Е. Сутоцкой* 249
Глава VIII. Мода и литературная жизнь. *Пер. К. Щербино* 277
Глава IX. Мода и литература (два примера: поэзия и риторика). *Пер. Е. Поляковой* 317
Заключение. *Пер. Е. Поляковой* 361

Примечания 364
Библиографические указания 382
Хронологические сведения 387
Именной указатель 391
Указатель схем и планов 397

Жан-Ноэль Робер

Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой

Редакторы
О.В. Смолицкая, О.А. Прохоров
Дизайнер
П.С. Конколович
Корректор
Н.А. Смирнова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlo.magazine.ru

Формат 84x108/32
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 12,5. Заказ № 3907.
Тираж 5000 экз.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page-www.tverpk.ru. Электронная почта (E-mail)-sales@tverpk.ru

#SL